
БЕЛОРУССКИЙ
РОМАН
Михась Зарецкий
Стежки
дорожки

БЕЛОРУССКИЙ
РОМАН



Михась Зарецкий

СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ

РОМАН

Перевел с белорусского Лев Соловей

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕЛАРУСЬ»
МИНСК 1971

Бел 2
З 34

7-3-3
177—71

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лесницкий хорошо запомнил день, когда в городе были расклеены афиши — манифесты царя Николая и великого князя Михаила Александровича, когда началась вся эта тревожная суета,— в тот день солнце выглядело еще совсем позимнему — было какое-то ветреное, холоднсе, туманное. День стоял морозный. Улицы сплошь покрыты острым колотым льдом, а на панелях, выглаженных ветром, скользко, как на катке,— с трудом можно было пройти.

Люди не страшились мороза и толпами расхаживали по улицам, собирались группами возле столбов, у перекрестков, где слепили глаза необычными новостями белые бумажки — манифесты.

В тот день у Лесницкого (это он тоже хорошо помнил) настроение было какое-то неопределенное и легкое, прямо-таки непонятное настроение. Нельзя было толком понять: то ли чего-то хотелось, тянуло куда-то пойти, побежать, то ли было немного грустно, а быть может в душе росло ощущение свободы, зрело юношеское желание совершить что-то смешное и глупое...

Но ясно было одно: хотелось все время двигаться, ходить туда-сюда по улицам без определенной цели и направления — просто так, идти куда глаза глядят.

Лесницкий уже несколько раз прочел манифест, слово в слово запомнил знакомый текст, и тем не менее продолжал толкаться среди людей, чтобы еще и еще раз пробежать глазами знакомые слова,— на бумаге они казались ему более весомыми и значительными:

«Божиею милостию, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и пр. и пр. и пр...»

К Лесницкому боком протиснулась какая-то баба, укутан-

ная в бесчисленное множество одежек и платков, и промямлила из-под посиневшего носа:

— Паничок! Об чем это пишется... А? Что?.. Плохо слышу я...

Лесницкий прокричал в подставленное ухо:

— Царя сбросили... Нету уже царя у нас...

Старуха какое-то время смотрела невидящим взглядом мимо Лесницкого и беззвучно перебирала сухими губами.

— Царя... сбросили... А кто ж царем-то теперь?

— Никто! Совсем нет царя! — снова прокричал Лесницкий над ухом женщины.

— Нету...

Старуха с недоверчивой миной покосилась на Лесницкого и, повернувшись, черепахой поползла вдоль улицы. Видно, не поняла, не сообразила своей старой головой, что здесь к чему.

Лесницкий посмотрел ей вслед и улыбнулся. Потом перевел улыбку на лицо соседа, но неожиданно наткнулся на широкую седую бороду, кокарду, блестящие пуговицы и надменно гордую мину.

— Молодой человек, над этим не положено смеяться... Царь — божий помазанник, и не нам судить о его высоких поступках...

У Лесницкого все внутри вдруг загорелось юношеским задором. Он уже было хотел ответить незнакомцу колкостью, но, пока собрался с духом, старый чиновник нравоучительно кивнул головой, повернулся к нему спиной и быстро заговорил о чем-то с высокой солидной дамой. На Лесницкого с презрительными улыбками посмотрело несколько человек и среди них одна гимназистка. Зардевшись от неожиданного стыда, он тут же юркнул в сторону и скрылся в толпе.

Но не успел Лесницкий сделать и несколько шагов, как прямо перед ним вырос Халима. Широченной своей фигурой он перегородил дорогу и загудел утробным, приглушенным, но сильным голосом:

— Василю... Почтение...

Халима пожимал руку с особым фасоном — порывисто както и одной лишь пястью своей медвежьей лапы. Словно бы эта пясть его пожимает где-то там, а он и не знает, не интересуется этим. Поэтому всегда и получалось, что от его пожатия все вдруг приседали и кривились.

— Да полегче ты,— перекосился от боли Лесницкий.— Куда разогнался?

— Пойдем пройдемся... Ты чем занят?

— Ничем.

— Я тоже... В класс наведывался?

— Где уж там!..

— И я... Ну, пошли!..

Они вышли на Днепровский проспект. Казалось, здесь сейчас собрался весь возбужденный город, который трепетал в

ожидании чего-то еще более интересного и сенсационного. Среди общей серой массы людей на каждом шагу попадались яркие заметные фигуры офицеров. В большинстве своем шли они по улице быстро, словно бы спешили выполнить какое-то неотложное задание, причем делали вид, будто только одним им доподлинно известно, в чем тут заковыка и чего можно ждать от дальнейшего развития событий. Когда же в толпе появлялся генерал, его надменная физиономия обычно светилась такой государственной мудростью и заботой, что каждый встречный пялил на него глаза, как на какое-то редкостное заморское чудо, подобострастно улыбался и, наверное, сам себе думал:

«О, уж этот знает все... Этот наверняка оттуда, из самой ставки...»

И генералам все уступали дорогу.

Окруженные возбужденной и шумной толпой, ребята дошли до конца проспекта, где в губернаторских дворцах размещалась царская ставка. Там, как и прежде, было тихо, все оставалось в строгом порядке, как и прежде, не разрешалось собираться большими группами, а всем любопытным и зазевавшимся незамедлительно предлагалось проходить дальше. Вокруг стояли дежурные солдаты, изредка вдали мелькали рослые широкоплечие субъекты из личной царской охраны. Но почему-то казалось, что этот порядок, эта тишина сохраняются только внешне, там же, внутри, видно, все кипит и бьется в тревожных судорогах.

Халима обратил внимание на двух штатских, вертевшихся неподалеку от них,— оба живые, энергичные.

— Гляди... шпики... Тут всегда их полно... Чуть что подозрительное заметят — сразу на манжету...

— Как это на манжету?

— Запишут, и не увидишь.

Лесницкий широко раскрытыми глазами уставился на шпиков, так быстро раскрытых Халимой, и думал, как это можно записать, чтобы никто не увидел, и вообще что им здесь надо записывать, этим подозрительным ловкачам.

В ту же минуту один из них, что-то шепнув на ухо товарищу, направился прямо к ребятам. Лесницкий невольно отступил на полшага, а Халима, выпятив дугой свою широкую грудь, остался стоять на месте. Шпик заговорил с ехидной улыбкой:

— Что, любуетесь?

Халима буркнул:

— Любуемся...

— Ну и что ж интересное видите?

— Пока ничего.

— А что хотели бы увидеть?

— Может, что-нибудь и увидим. Сейчас много интересного происходит на свете...

— Вот как... Интересного...

Шпик вдруг стал серьезным, ехидная улыбка исчезла с лица, и он со злой подозрительностью уставился на ребят.

— Вы кто такие?

— Как видите, люди.

— Какие люди?

— Обыкновенные.

Халима с нескрываемой дерзостью отвечал шпику, тот даже позеленел от злости.

Все кончилось тем, что шпик полез уже было в карман за своим жандармским значком, как видно, имея твердое намерение задержать подозрительных молодых людей, но в эту минуту неподалеку послышался шум автомобиля, и тот бросился ему навстречу, решив, очевидно, что лучше лишний раз показаться на глаза начальству, чем возиться с какими-то нахалами.

Ребята тут же скрылись в толпе. Они отправились на квартиру к Халиме, где вместе с ним жило еще несколько товарищей. Собралась целая компания. Все делились своими впечатлениями, рассказывали друг другу о событиях последнего дня. Потом от нечего делать стали подшучивать над хозяйкой.

На стене висел царский портрет — они переворачивали его вверх ногами и звали хозяйку. Маленькая истеричная мещанка — набожная и добродетельная — с пеной на губах ругала ребят и поправляла портрет. А те молча ждали, когда она выйдет, и с громким хохотом снова принимались за свое. После четвертого раза старуха наконец решила убрать из комнаты портрет, но ворчать не перестала -- из кухни еще долго слышен был ее недовольный голос.

Веселая компания неизменно отвечала взрывом веселого смеха.

Вечером ребята собрались на квартире у Лесницкого. Сначала подтрунивали над Ниной — хозяйской дочерью. С нею, пожалуй, иначе и нельзя было,— уж так издавна повелось и вошло в обычай.

Вообще-то Нина девушка неплохая. У нее необычайно красивые, правда, немножко с хитрецой глаза и добродушная улыбка. Первое впечатление от нее — обыкновенная простушка, не очень умная, но и не глупая, кому-то будет хорошей женой. В то время ее такой и считали. Иногда любили пошутить, посмеяться, серьезно же поговорить не могли или не умели — во всяком случае не удосуживались. Поговаривали, будто влюбилась она в Халиму. Над этим много смеялись. А вообще в то время они ко всему относились без должного внимания: ведь ребятам было всего лет по двадцать, а может и того меньше,— о чем серьезном могла идти речь.

В комнате у Лесницкого было тесно. Сидели ребята на кровати, плотно прижавшись друг к другу, часть устроилась на лежанке. Однако, несмотря на тесноту, в этой комнатушке всегда царил какой-то особый холостяцкий уют, питавший чувства товарищеской общности.

Как только Нина удалилась на свою половину и ребята остались одни, сразу же посыпались анекдоты, шутки, послышался здоровый молодой смех. После того как Халима рассказал анекдот про генерала, а другой парень про царя, все незаметно перешли на серьезную беседу, заговорили о последних событиях. Начались споры.

Фактически спорили двое: Халима и еще один, на первый взгляд неприметный, тихий парень в очках на маленьком, пуговкой, носу, с серьезными и проницательными глазами, которые, казалось, пронзали навылет все, что попадалось на их пути. Когда этот парень прямо смотрел кому-либо в лицо и когда в его очках быстро бегали крохотные искристые огоньки, тогда его глаза казались старыми и добрыми. Тогда неизменно появлялось и росло к нему уважение и симпатия. Звали этого парня Никодимом Славиным.

Он говорил тихо и внешне очень спокойно, возможно только дрожащий голос выдавал его душевное волнение:

— Это созрело давно. Как в реке по весне... вода все поднимается, поднимается, поднимается, а потом и лед крошиться начинает... Может, как эта речка, и слезы народные так... Веками собирались, терпел народ... Больше уж некуда... вот и трещит... Не может долго продолжаться такое неравенство и угнетение. Чтобы люди были хуже скотины...

Что касается Халимы, то он не имел своей точки зрения на события в мире, вместе с тем не питал симпатии ни к старому строю, ни к революции. Поэтому ничего и не сказал по существу Никодимовых слов, а лишь стучал кулаком по столу и ругался:

— Евреи виноваты во всем, если б не они, все было бы хорошо... У них деньги, у них власть... Немцам Россию продали... Нет, брат, меня не убедишь...

Никодим слегка улыбнулся.

— Какой ты наивный, какой недалекий. При чем здесь они?.. Дело совсем в другом... Строй у нас невыносимый, сил никаких нету. А почему их не любишь, ты сам не знаешь, ведь так? Все мы люди...

— Пошел к черту!.. Не лезь!

Часам к десяти часть ребят разошлась по домам, остальные решили сыграть в двадцать одно. Вернулся с ночной смены на железной дороге сын хозяина Андрей; он тоже подсел к игрокам.

Лесницкий сразу заволновался. Он и до этого никогда спокойно не играл. Всегда распалялся, начинал дрожать, шел на риск. И, как правило, проигрывал.

Андрей, в отличие от Лесницкого, играл красиво. Никто не видел, чтобы он когда-либо встревожился за исход партии, чтобы изменился в лице. Он постоянно сохранял выдержку и оставался тактичным, был полон какой-то внутренней силы.

Лесницкий часто задерживал свой взгляд на Андрее и невольно завидовал ему. Хотелось и самому научиться так играть: с безразличным видом взять одну карту, вторую, затем сделать небольшую паузу, постучать пальцами по столу, проникновенно, с хитринкой, посмотреть на банкомета и со спокойной самоуверенностью произнести:

— Попробуй-ка, набери...

Лесницкий хочет сделать то же самое, и какое-то время ему кажется, что получается. Но проходит минута-другая, и все начинается сначала: опять мелко дрожат руки, опять спешка, волнение, и он с головой выдает себя банкомету. Волнение переходит в негодование,— он злится тогда на весь мир, даже на Нину, которая молча сидит напротив и пристально смотрит на него, прижмурив глаза... Может в душе и посмеивается над ним...

Лесницкий все больше и безрассуднее начинает рисковать, ставит на кон последние деньги. Подчас в его распаленной уставшей голове мелькает лицо отца, полное мрачного укора, проплывает хата со всеми домочадцами — небогатая крестьянская хата, откуда ему посылают последние гроши. В эти минуты больно сжимается сердце, все тело покрывается противным холодным потом. Но это быстро проходит. Вскоре опять все забывается, и он продолжает играть с прежним жаром.

В конце концов азарт пропал, исчез интерес, осталась одна мучительная боль, как будто голову стянули тяжелым железным обручем. Все тело охватила острая нервная дрожь.

Хоть бы скорее закончить, пусть даже с проигрышем — все равно. Можно будет прилечь на кровати, отдохнуть немного, остудить разгоряченный мозг.

Он, не считая, положил под карту все деньги, какие еще оставались, и тихим уставшим голосом сказал:

— На все, что под картой!..

Все как-то сразу притихли. В комнате воцарилась тревожная напряженность, банкомет напустил на себя официальную важность, выражение лица у него стало серьезным и строгим.

— Еще!

— Пожалуйста!

— Еще!

— Можно...

— Много... проиграл.

Лесницкий собрал все силы, чтобы не погрязнуть в море обидного, жгучего стыда, швырнул на стол карты, деньги и поднялся. Все настороженно уставились на него, никто не

смеялся — знали, человеку сейчас нелегко и всякая насмешка, как соль на рану.

Лесницкий лег на кровать.

У него было такое ощущение, будто он покинул душное, мрачное помещение, вышел на улицу и вдохнул приятной утренней свежести. В висках звонко стучала горячая кровь. Однако с каждой минутой удары все больше и больше слабели, на душе становилось мирно, покойно, словно бы в комнате, кроме него, никого уже не оставалось. Лесницкий смог спокойно, трезво обдумать все, что сделал. И тут же понял: дальше не на что жить, спущены все отцовские деньги до последней копейки.

От этой тревожной мысли заныло под сердцем. Заныло, засаднило, как будто живую рану кто-то бередил, рвал ее острыми когтями. Хотелось забыть про все на свете, хотелось только одного — тихой, чистой ласки... Той далекой материнской ласки, которая согревала его в годы счастливого беззаботного детства... Но быть может Нина подойдет, слово теплое скажет...

И, словно бы разгадав его мысли и желания, Нина встала, подошла и села рядом на кровати. Хотела, кажется, что-то сказать, но Лесницкий вдруг подхватился, как будто его укололи, лицо перекосилось от какой-то неясной обиды, и он сердито бросил:

— Я хочу спать, не мешайте мне.

Нина поспешно встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты.

Вслед за нею вскоре ушли и остальные. Лесницкий разделся и лег, с головою укрывшись одеялом.

В ту ночь ему довелось пережить немало тягостных минут, побороть болезненные чувства, мучившие его своей докучливой навязчивостью.

Чувства эти были настолько яркими и сильными, что порою принимали, как ему казалось, живые и реальные формы. Они заполняли утомленное, болезненное сознание Лесницкого то какими-то ужасными привидениями, то чем-то мягким, розовым, успокаивающим издерганные нервы, навевающим умиротворенную тишину и ласку. В эти спокойные минуты Лесницкий готов был уснуть, все тело охватывала какая-то странная слабость, перед глазами начинала стлаться белая пелена тумана. Но вскоре опять на душу наваливалась непонятная, странная тяжесть и с прежней силой принималась терзать сознание тревогой и отчаянием.

В пору молодости очень часто бывает так, что первая неудача в жизни вызывает глубокий душевный кризис. Кажется, свет клином сошелся, наступил решающий миг, который раз и навсегда определит весь твой дальнейший путь. Тогда какое-то время царит внутри странная путаница, окружающий мир кажется противным и неинтересным. Но потом как-

то само по себе все становится на свое место, сложные узлы распутываются, исчезают, казалось бы, неразрешимые проблемы.

В ту ночь Лесницкий уснул только под утро, так и не ответив ни на один из мучивших его вопросов, не разрешив своих душевных сомнений. Его одолел тяжелый и тревожный сон.

Однако спал он крепко и долго.

Проснулся Лесницкий около двенадцати часов дня. Разбудила его Нина, она убирала в комнате и что-то сбросила на пол. Возможно, нарочно это сделала, чтобы он поскорее встал, чтобы ей, одной в доме, было веселей.

Лесницкий бросил на нее мутный заспанный взгляд и, встретив знакомый блеск добродушных, с хитринкой, глаз, сонно улыбнулся, испытывая при этом знакомое чувство приятной слабости в теле. Он молча стал разглядывать девушку. Нина отвернулась, едва заметно улыбнувшись.

В эту минуту она показалась Лесницкому как никогда доброй и приветливой. Было в ней что-то общее со спокойным и мягким светом туманного дня, припавшим своим белесым лицом к окнам и заглядывавшим в комнату с ласковым теплом.

Нина снова посмотрела на Лесницкого и сделала вид, что сердится.

— Вы чего на меня уставились? Почему так поздно спите, как вам не совестно... Все добрые люди уже давно на работу ушли...

Лесницкий демонстративно зевнул и с безразличным видом произнес:

— А я себе думаю, чего это она в хате болтается... Все добрые люди давно ушли...

— Ну, я работаю... А вы лентяй... и картежник... До двух часов в карты играли...

Лесницкий вспомнил вчерашнее, и его словно бы кипятком окатили. До этого он как-то совсем забыл, что было вчера, что бездумно проиграл и теперь остался без копейки в кармане. И вот сейчас вдруг все всплыло в памяти и болью отозвалось в сердце. Стало обидно, все вокруг показалось каким-то чужим и далеким, захотелось выйти на улицу и идти, идти неизвестно куда, только бы приглушить обиду и горечь. Нина уже казалась ему некрасивой и неинтересной. Болезненно-докучливым пятном бросился в глаза ее вздернутый, чуть приплюснутый нос. И улыбка у нее вдруг оказалась совсем неприятной и сама скучная — вечно хохочет, а чего — неизвестно.

— Ну что ж, буду вставать... Пожалуйста, выйдите прочь...

— А может поделикатней попросите?

— Выйдите прочь!
— Скажите на милость...
— Уходите, а то я при вас стану одеваться...
— Только попробуйте!
— Ну, раз... два...

Нина повернулась и быстро направилась к выходу. Возле двери задержалась и обиженным тоном сказала:

— Я знаю, почему вы злой... В карты все деньги вчера проиграли.

И вышла.

Лесницкий стал одеваться. На душе было тошно, ко всему еще этот противный стыд. Ведь Нина, не скрывая, смеется над ним. Да и все остальные будут смеяться, открыто подтрунивать над ним... А тут еще полное безденежье, придется где-то искать, одалживать.

Одевшись, Лесницкий тут же вышел из дому. Даже не умылся, не хотелось идти на кухню, где хозяйничала Нина.

На улице было тепло. В воздухе пахло весной, снег на улицах заметно осел, стал темным и ноздреватым. Обмытые тротуары почернели и полностью очистились ото льда. Вокруг носились знакомые запахи сырого дерева и полевых угодий, так живо напоминавшие бескрайние загородные просторы. Невольно заныло сердце — вспомнилось детство с его беззаботными шалостями, ширь лугов, таинственный шепот лесной глуши.

Это дыхание ранней весны обрадовало Лесницкого и немного успокоило его расходившиеся нервы. Как-то незаметно, сами по себе, исчезли нахлынувшие было заботы и волнения,— сейчас они казались уже не такими важными и значительными. Перед мысленным взором явилось такое знакомое родное село. Вспомнилось оно все, из конца в конец, с его низкими хатами, тишиной, ароматами цветов.

Вместе с тем возник вдруг и образ Мокрины — невысокой и чернявой,— ее и замужество не испортило, только, пожалуй, отложило на лице какую-то грустную, некрасивую улыбку. Однако Лесницкий, когда ездил на рождество и оставался с нею один на один (муж ушел на войну), любил смотреть на эту горькую улыбку и целовать Мокринины уста. В те редкие минуты он ощущал прилив болезненной и горькой нежности, от которой, казалось, разрывалось на части сердце... И он был счастлив. Быть может поэтому он уже не мог позже и представить себе Мокрину иной, без этой милой для него улыбки, возможно, и некрасивой — кто знает...

И сейчас она всплыла в памяти такой же — вместе с родной деревней, с задумчивыми полями, с березовой рощей, седым Днепром и еще быстрой искристой речушкой, испуганно прижавшейся к кудрявому ольшанику.

Деревня и Мокрина — любовь его горькая, крушиновая радость его...

В этот самый миг Лесницкий вспомнил про манифесты, про отречение царя, про все то, что творилось в огромной Москве или еще где-то. Захотелось слить все эти впечатления с деревней, с крестьянской избой своей, хозяйством... Чтобы проверить: хорошо это или плохо. Однако из этого ничего не получилось, потому как толком он ничего не знал и не понимал. Только, пожалуй, врезались в душу вчерашние слова Халимы, врезались каким-то тревожным опасением и беспокойством.

Тем временем Лесницкий, сам того не замечая, прошел уже несколько улиц и оказался в каком-то незнакомом переулке, который шагов через сто упирался в широкие пустые огороды. Здесь все напоминало деревню, и он невольно остановился, целиком отдавшись живым и ярким воспоминаниям. Из глубокой задумчивости его вывели громкие голоса мужчин, неожиданно появившихся на пороге дома, возле которого он задержался. Лесницкому стало не по себе от того, что его заметили и, наверное, подумали бог знает о чем. Он повернулся и хотел было уйти, но неожиданно кто-то из мужчин окликнул его. Он вздрогнул, поднял глаза и увидел Андрея, хозяйского сына.

Андрей медленно подошел к нему — сам плотный, розовощекий, с красивым крупным лицом, с приветливой и вместе с тем самодовольной улыбкой.

— Ты чего здесь, Лесницкий?

Лесницкий не знал, что ответить. И решил лучше сказать правду.

— А знаешь, просто шел без всякой цели, задумался и сам не представляю, как забрел сюда...

— Сейчас домой?

— А мне все равно...

— Так пойдем вместе.

Андрей был в хорошем настроении — это сразу бросалось в глаза. Всю дорогу он рассказывал Лесницкому про политические новости, причем высказывал такие мысли, которые не могли не удивить, потому что были для него совершенно новыми.

— Теперь дела обстоят так... Революция началась, настал момент, когда дальше идти некуда... Дума хочет все повернуть таким образом, чтобы продолжать тянуть ту же песню... Чтоб и войну вести, как и прежде, и чтобы кто-то наживался на ней... И правительство подобрали, лучшего не придумаешь при желании... Да только ничего не выйдет, ей-богу, не выйдет... Дело решит народ, который сейчас почувствовал свою силу, который понял, что ему надо, за что следует бороться... Это им не шуточки... Как считаешь, а?

Лесницкому было стыдно, он ничего толком не мог ответить. И тут же мысленно дал себе зарок всерьез заняться по-

литикой и как следует все изучить. А когда Андрей задал еще один вопрос, ему стало совсем не по себе.

— А сам-то ты за какую партию стоишь?

Лесницкий перед этим слышал, что хвалили кадетов. Точно он не знал, чего те добиваются, но если хвалят, значит и ему можно им посочувствовать.

— Я думаю, что наиболее правильно все же поступают кадеты. Они мне нравятся.

Андрей молча улыбнулся. В его улыбке ясно мелькнула тень сожаления — Лесницкий хорошо это заметил. Ему еще больше стыдно стало. Где-то в глубине души зашевелилась даже черная зависть к Андрею. Нигде не учится, почти неграмотный, а ведь все знает и, самое главное, твердо убежден в своих выводах, имеет обо всем свое мнение, в чем-то заинтересован, во что-то верит. Да и он сам мог бы что-то делать, мог бы принять участие в этих странных и непонятных событиях. Быть может и он был сейчас на собрании, может и он уже оказался в партии... Разве что спросить у него?

— Слушай, Андрей... Где ты был сейчас?

Тот помолчал с минуту, будто и не слышал вопроса, затем, махнув рукой, безразличным тоном ответил, словно говорил о каком-то пустяковом деле:

— Да так... Собирались наши ребята...

Лесницкий больше не расспрашивал. Дальше шли молча. И только когда подходили к дому, Андрей вдруг остановился и с мягкой добродушной искренностью сказал:

— Ты, Лесницкий, вчера проиграл все до последней копейки. Твои деньги я выиграл. Я тебе возвращаю их.

Лесницкий залился краской от стыда, пробовал было отказываться, но ничего не вышло. Андрей достал из кармана деньги и, решительным жестом остановив Лесницкого, сунул ему в руку.

Уже позже, когда пришел домой, Лесницкий понял, какую непростительную ошибку допустил. Его охватил еще больший стыд. Подумалось, что он теперь молокосос против Андрея,— Андрей поступил с ним, как с мальчишкой. Решил было тут же вернуться, отдать назад проигранные деньги, но передумал: несерьезно все это будет выглядеть. Сжал только кулаки и едва не заплакал от стыда и обиды.

После этого случая Лесницкий старался больше не встречаться с Андреем — стал питать к нему какую-то неосознанную тупую враждебность.

Революция проникала в город довольно медленно, туго. Набожное, монархически настроенное городское мещанство читало газеты, распускало всевозможные, подчас совершенно невероятные слухи и, охая, жалуясь на быстро растущую дороговизну жизни, ждало чего-то необычного, что неминуемо наступит и безжалостно разрушит всю эту неопределенность,

тревожно ворвавшуюся в тихие переулки вместе с февральским восстанием.

Царь, подписав отречение, приехал в ставку и сидел там, окруженный сочувствием преданных слуг и всего «благородного» мещанства. О нем говорили в каждом «приличном» доме, говорили с сожалением и печалью, передавали в различных вариантах его слова, полные великодушия и христианской благости, окружали его ореолом святого мученика.

И вместе с тем чувствовалось — кое-где неприметно, тайно проводится отвратительная, страшная работа — работа мрачных сил старого жандармского строя. Часто слышались слова «жид», «жидовская власть», а в мещанской среде раздавалось злобное шипение, прокатывался по темным подворотням угрожающий шепоток. Кто-то что-то делал, готовился...

Однажды вечером, около десяти часов, к Лесницкому зашел Халима и предложил без промедления пойти с ним по одному секретному и весьма важному делу. Халима выглядел очень серьезным, нахмуренным, и его грубое, словно вытесанное из камня лицо казалось от этого особенно резким. На нем и следа не было того хорошо знакомого юмора, который обычно придавал его облику приятную мягкость, а временами даже и красоту.

Лесницкий не мог скрыть удивления.

— Куда так поздно?

— Собирайся живее, там увидишь. Только побыстрее. А если не хочешь, можешь оставаться, полезай на печь и сиди себе спокойно.

Тон был такой, что Лесницкий не посмел отказаться, быстро собрался, и они пошли.

Ночь была сырая, темная. По переулку носился влажный ветер — мягкий и густой, как вата. Ветер закручивал их своим черным крылом, надежно закрывая со всех сторон, как будто хотел спрятать от посторонних взоров. И тогда казалось, что вокруг ни души, и ни один человек их не увидит, что шагают они не по улице, а перенеслись куда-то в глухое, бескрайнее поле и без всякой дороги, вслепую, идут вперед, в широкие объятия бури. Во всяком случае такое впечатление было у Лесницкого. Возможно, потому, что решительно ничего не различал в промозглом мраке ночи и шел за Халимой, полностью доверившись его интуиции. И еще почему-то казалось ему, что ветер как бы нарочно поднимает шум, чтобы заглушить все происходящее где-то там, вверху. А там, видно, и на самом деле что-то разгулялось. Может быть, это злые, страшные тучи вперегонки носятся по черному небу, грозясь хлынуть на землю густым шумным дождем?..

Ребята шли молча. Халима нырнул во мрак с какой-то непонятной поспешностью, словно хотел скрыться от Лесницкого или подразнить его, заставить пробежать бегом, чтобы не оставаться одному.

Лесницкий раз за разом попадал ногой в бесчисленные лужи и тогда злился на Халиму, упрекал, что тот совсем не обращает на него внимания, будто совсем забыл о его существовании, о том, что он здесь, рядом. Однако обида быстро проходила, стиралась ощущением торжественной таинственности, ожиданием чего-то необычного и важного.

Халима остановился в узком незнакомом переулке возле старых покосившихся ворот.

— Здесь... пришли...

Голос у него был настороженный, тихий. Лесницкий спросил дрожащим шепотом:

— А как зайти?

— Сейчас.

Халима негромко постучал в калитку. Им быстро отворили и провели через грязный двор и такую же грязную кухню в полутемную комнату, освещенную небольшой газовой лампой. Там уже находилось несколько человек. Среди них, к своему удивлению и радости, Лесницкий узнал троих своих одноклассников и одного учителя. Остальные были незнакомые и выглядели какими-то подозрительными оборванцами с лицами настолько смешными, насколько и серьезными.

Лесницкий присел на кровать. С большим усилием воли он сохранял на лице серьезную мину,— все внутри у него разрывалось от неожиданного прилива игривого веселья. Радостно было от мысли, что он явился сюда по какому-то важному делу, иначе зачем бы всем выглядеть такими серьезными? И боязно не было, все же много своих, даже один из учителей явился. Только бы поскорее обо всем узнать, острое любопытство не давало покоя.

Наконец учитель, пошептавшись о чем-то с соседями и откашлявшись, заговорил торжественно и высокопарно:

— Господа! Мы не будем вести здесь долгих разговоров... Всем, должно быть, известно, зачем мы тут собрались... Я полагаю, каждый, кто дорожит нашим отечеством, кто... гм... кому небезразлично, кто будет править великой Россией... гм... я, господа, уверен, что наша святая обязанность встать на защиту наших святынь от антихристов, от христопродавцев, от...

Он вдруг резко взмахнул рукой и закричал:

— Кто сбросил царя, монарха российского? Кто его мучит теперь, издевается над ним, как над последним преступником? Кто это пьет нашу кровь, а?.. Мы знаем — кто, мы видим, чьих это рук дело... За Россию, за отечество свое мы... мы кровь проливали, а они...

Его речь производила заметное впечатление. У слушателей горели глаза, они напряженно смотрели в его возбужденное лицо, с жадностью ловили каждое слово. Немного испортил дело один из оборванцев, который, не дождавшись конца выступления, как-то спокойно ударил кулаком по столу и авторитетно заявил, мотнув головой:

— Бить... Бить их надо!..

Вышло очень смешно и нелепо. Тут же выяснилось, что оборванец сильно пьян.

Как только учитель закончил, из угла подал голос какой-то неприметный мещанин в поддевке, с тростью в руках. Он включился в разговор сразу, будто говорил и до этого, только его прервали, и теперь намеревался еще надолго задержать внимание своих слушателей. Говорил слащаво и нудно:

— Недавно ездил я в Москву, и мой шурин, что служит на почтамте, рассказывал и совершенно уверенно засвидетельствовал, что есть в России общество, которое ведет линию на то, чтобы объявить в России еврейское царство, а нас всех, православных, захватить в плен и сделать обрезание, а кто не согласится, поставить на работу, чтобы на них, значит, мы трудились... И вот, значит, у этого общества есть огромные деньги, миллиарды миллиардов, которыми они подкупают на свою сторону начальство — министров всех, генералов. Да вот только царя не подкупили. Давали ему, говорят, сорок вагонов чистого золота, а он ни-ни, говорить даже не стал. «Как, говорит, продам я свою Россию, народ свой верный, православный». За это они и сбросили его, за это он и муки терпит...

Рассказчика прервал тот же самый пьяный, снова ударив кулаком по столу:

— Долой их всех!..

Потом заговорили наперебой,— каждый спешил высказать свои взгляды, каждый старался как можно сильнее подогреть и себя и других.

Наконец учитель сделал вид, будто хочет еще что-то сказать, и все притихли — ждали самого главного... На этот раз учитель говорил тихо, почти шепотом, сильно наклонив вперед свое худосочное тело:

— В среду будет у них манифестация... Я предлагаю на этот день созвать народ и встретить их где-либо в удобном месте... Встретить как надо... Можно и афишки... ребята напишут... Чтоб с оружием, как следует, а?

— Хорошо!

— Согласны!

— Вот здорово будет...

Почему-то все теперь говорили шепотом, близко наклонившись друг к другу.

Назначили время и место, распределили свои обязанности и молча разошлись.

Лесницкий возвращался домой один. Быстро, не глядя под ноги, шлепал он по лужам, широко размахивал руками и сверлил мрак сосредоточенными, напряженными глазами. Чувствовал себя подлинным героем. Куда там! Ведь принимает участие в настоящем сговоре, будет руководить политическим выступлением, его могут убить, и он тоже может кое-кого прикончить...

О, уж у него рука не дрогнет... Только дайте ему возможность добраться до какого-нибудь антихриста. Какие они все противные!..

И чтобы как-то подогреть себя, Лесницкий попытался представить самого, как говорили, зловредного антихриста — хромого Пейсика, у которого обычно покупал табак. Пейсика ему легко удалось представить, однако ненависти к нему не было решительно никакой. Это удивило Лесницкого, он был не в силах дать объяснение своим мыслям и желаниям...

Под яркими теплыми лучами весеннего солнца звонкими ручьями сбегал в низины старый побуревший снег. Ручьи бежали весело, стремительно — они наполняли городские площади и улицы живой, задорной музыкой, от которой приятно замирало сердце. Грудь жаждала чистого живительного воздуха; хотелось взлететь к бескрайним голубым просторам неба, чистым и ласковым облакам, тихо плывущим высоко над помолодевшей землей.

Возможно, от этого весеннего обновления над городом витала особая торжественность, быть может, поэтому все ходили с праздничным настроением, готовы были загореться бурной, искренней радостью.

Лесницкий хорошо запомнил тот день, полный света и тепла, он принес ему много нового, неожиданного, удивил необычайно сильными впечатлениями.

Накануне Лесницкий почти не сомкнул глаз. Бесконечно долгая ночь прошла для него в тревожных мыслях, в смятении чувств, лихорадочно неспокойных и неясных, в каком-то диком бреду. Обычно такое случается в молодости, когда душа полна нетронутой свежести, когда все существо готово вспылать от любой, самой крохотной искринки.

Завтра будет то, о чем договорились. Возможно, произойдет что-нибудь страшное, возможно, убьют. Но он не боится, пусть себе... Зато завтра он станет героем, обязательно станет героем. Уж он покажет этому хвалько Андрею, на что он способен... Он тоже знает, что надо делать, тоже имеет свой политический интерес...

И всю ночь напролет Лесницкий представлял себя героем, не знающим пощады к врагам, видел себя храбрым и отважным борцом, не склоняющим голову перед лицом подстерегающей его опасности.

Утром на следующий день в назначенном месте стал собираться «народ». Первым явился Лесницкий, за ним Халима. Минут через десять пришли еще трое ребят. Ждали учителя, но он не появился. Зато минут через двадцать приковылял тот самый флегматичный босяк, который на сборище бахвалился разделаться со всеми антихристами. Как и тогда, сегодня он был тоже пьян и еле держался на ногах.

Все собравшиеся чувствовали себя далеко не лучшим образом. Стояли они на углу перекрестка, это давало им возможность выходить то на одну, то на другую улицу и тем самым избегать встречных пешеходов. Переходы эти совершались как-то сами по себе, без всякой договоренности. Каждому в душе хотелось спрятаться в какую-либо щель, в подворотню, хотелось избежать людских глаз. Поэтому каждый инстинктивно жался туда, где его труднее можно было увидеть, где на него не стали бы обращать внимания. Говорить не хотелось — больше молчали. Чего-то еще ждали, а чего — никто толком не знал.

И вот совсем неожиданно, откуда-то издалека, долетели звуки оркестра, отчетливо послышался глухой, мерный бой барабана. Прошла минута-другая — и обрывки музыки слились в стройную мелодию марсельезы, в боевую, торжественную гармонию.

Из-за угла, за квартал от ребят, вдруг вылилась на всю ширь улицы огромная толпа и поплыла прямо на них. Над морем голов пламенело множество флагов, они широко и вольно развевались в лучах яркого весеннего солнца, полыхали с какой-то необыкновенной торжественностью и скрытой силой. Звуки оркестра переплелись теперь с дружным и мощным хором людских голосов, с шумом возбужденной улицы.

Не дойдя шагов двадцать до перекрестка, где притаились ребята, манифестанты остановились. На балконе появилась группка людей, один стал что-то выкрикивать, и народ то утихал, то рвал воздух громовым «ура-а-а!».

Ребята молча переглянулись. Халима насунул шапку на лоб, почему-то сердито перекосил лицо и решительно заявил:

— Пошли! — Все направились к толпе. Поспешили только для того, чтобы поглазеть на происходящее да послушать, что говорят люди. Однако чувство было такое, словно бы шли навстречу неизвестному врагу.

И вот здесь как раз случилось то смешное и трагичное, чего, наверное, никто не ожидал.

Когда ребята приблизились вплотную к толпе, вдруг над притихшим в эту минуту народом медленно поплыли звуки похоронного марша. Его подхватило несколько истерически-напряженных голосов, за ними вплелись другие, и постепенно всю улицу захватил этот широкий грустный напев.

К ребятам подошел рабочий в кожаной потертой куртке, с красным, торжественно разгоряченным лицом и громко крикнул:

— Шапки долой! Долой шапки!..

Лесницкий шапки не снял только из-за своей молодецкой гордости, но рабочий, очевидно, не поняв этого, сбросил ему шапку легким ударом ладони по затылку.

Тут на помощь Лесницкому поспешил пьяный босяк, ко-

торый все еще неотступно следовал за ребятами. Незаметно вынырнув из-под руки Лесницкого, он не спеша размахнулся и ударил рабочего в лицо.

Все, что произошло в следующий миг, только промелькнуло перед глазами у Лесницкого: босяк с задранными вверх ногами, красное лицо, множество других лиц и рук, и уже в белом тумане — нос кнопкой и очки на старческих добрых глазах.

Упал он от первого же удара в висок, и его больше не трогали. Поэтому через минуту-другую он пришел в себя и с большим удивлением обнаружил, что находится в чужом богатом дворе, окруженном со всех сторон высокими домами.

Он сидел на какой-то каменной лестнице, рядом стояли его товарищи. Славин поддерживал под руку, а Халима прикладывал к его виску ком грязного, мокрого снега, пропитанного конским навозом.

Неподалеку, опершись на одну руку, сидел его защитник и сплевывал кровавую слюну. На лице у босяка было полное спокойствие, больше того, оно даже светилось какой-то непонятной радостью. Видно, что драка была для него привычным делом.

После того как Лесницкий пришел в себя, его под руки вывели со двора и повели на квартиру к Славину,— жил тот недалеко, всего через один квартал.

У Славина в небольшой комнатушке царил полный беспорядок. Казалось, там не было ни одной вещи, которая находилась бы на своем месте. Кровать стояла у самого окна, в то время как стол — возле темной, глухой стены. Причем и то, и другое стояло как-то боком, криво, словно бы проявляло недовольство хозяином и демонстративно отказывалось подчиняться ему. На кровати навалом валялась целая куча книг. Как только непрошеные гости переступили порог, он тут же стал перекладывать их на стулья, чтобы Лесницкий смог прилечь. Потом переложил их на сундук, освобождая стулья для остальных ребят.

В комнате стоял полумрак — одно крохотное окошко выходило во двор. И этот полумрак, и холостяцкий беспорядок в помещении, и деликатное, приветливое отношение к нему со стороны ребят быстро подняли настроение у Лесницкого. Он почувствовал себя как больной, к которому вдруг стало быстро возвращаться здоровье. Все казалось ему приятным, как будто и помещение, и вещи, находившиеся в нем, были своими, родными. Когда Лесницкому рассказали, как его спасал Славин, он громко и искренне расхохотался. Даже слезы радости выступили на глазах — в эту минуту он готов был расцеловать своего спасителя с его кнопочкой, с очками, с его удивительной бесхозяйственностью.

Спустя каких-либо полчаса ребята разошлись. Остался только Халима, который все время сидел в углу и почему-то

упорно молчал. Славин присел возле Лесницкого и стал что-то тихо и не спеша говорить ему. Его мягкий голос убаюкивал и вместе с тем не давал уснуть. Это было какое-то странное состояние, какая-то сладостная дремота, сквозь которую совершенно четко доходили до слуха и слова, и мысли говорившего. Вероятно, такое состояние бывает у человека, находящегося под гипнозом.

Славин говорил о революции, о горе народном, о борьбе, о гибели в этой борьбе десятков, сотен и тысяч лучших людей, о стремлении к светлому будущему, к всеобщему счастью.

— Мы живем в знаменательное время. Эти дни станут незабываемыми для нашей страны, да и не только для нашей — для всего мира. Происходит грандиозное пробуждение народного духа, народной воли, это — великое народное воскресение. Сколько было слез, сколько страданий, сколько невинной крови!.. Ты только подумай, Лесницкий, прислушайся к музыке этих слов: свобода, равенство и братство... Слышишь ли ты, сколько величия и красоты — гордой, высокородной красоты в этих словах... А что они означают? Знаешь ли ты, Лесницкий, что они означают? Они говорят о том, что твой отец — мужик, лапотник — сто́ит вельможи, князя, генерала, сто́ит кого хочешь... Все — граждане, все — свободные, равные, все — братья... Ведь не зря же все так рады, не зря же у всех такой светлый праздник... Ты же видел, каким счастливым блеском горели глаза у этих людей, каким искренним восхищением светились их лица... Знаешь, Лесницкий, революция — это большой всенародный праздник, это самое светлое, самое святое и торжественное воскресение... Я наблюдал, как сегодня христосовались. Один говорит: «Народ воскрес!» А другой отвечает: «Воистину воскрес!..» Какой огромный заключен смысл в этих выражениях!..

Славин на минуту умолк. И, словно бы использовав эту его паузу, Халима вдруг встал, встал тяжело и неуклюже, с шумом и стуком, и, не проронив ни единого слова, вышел из комнаты. Вышел злой и возбужденный, это было видно по тому, с какой силой хлопнул он дверью.

Славин бросил на Лесницкого удивленный взгляд.

— Что с ним?

Лесницкий пожал плечами.

— Вожжа под хвост попала. Наверное, разозлился, что не смог сегодня устроить скандал...

— Какой скандал?

— Да, да... Ведь ты ничего не знаешь... Расскажу, братец, только под большим секретом...

И Лесницкий, стыдясь, поведал Славину всю историю с их намерением выступить против «антихристов», историю с ее романтическим началом и трагикомичным концом.

Славин внимательно выслушал, затем рассмеялся, вместе с ним рассмеялся и Лесницкий. Потом Славин снова загово-

рил строгим тоном, казалось, он продолжал начатый разговор:

— Трудиться надо... Руки чешутся, жаждут серьезной работы. Пройдет совсем немного времени, и работа найдется. Мы теперь очень нужны народу...

Лесницкий засиделся у Славина до вечерних сумерек. Пили чай из донельзя закопченного чайника, причем оба из одной чашки — по очереди. Под рукой у хозяина больше ничего не оказалось, да и жил он один, без чьей бы то ни было опеки.

А вечером Славин потащил Лесницкого на митинг.

В довольно богатом и просторном зале уже было полно народу. Прохаживаясь туда-сюда в поисках свободного места, Лесницкий вдруг увидел Андрея и Нину. Нина весело улыбнулась и кивнула ребятам головой, приглашая сесть рядом. Лесницкий со Славиным приняли приглашение,— рядом с Ниной действительно оказалось два незанятых кресла.

Когда Лесницкий здоровался с Андреем, тот бросил на него долгий и многозначительный взгляд, как будто хотел этим особо подчеркнуть, что между ними давно уже существует полное понимание. Лесницкий ничего странного в этом не усмотрел, они и на самом деле давно знакомы, а эта встреча на митинге вроде бы еще больше сближала, еще шире раскрывала друг перед другом их души. Лесницкому все это было очень приятно, и он почувствовал, что неприязнь, зародившаяся к Андрею несколько дней тому назад, сейчас теряет свою остроту, быстро угасает, уступая место симпатии и искренней дружбе.

Вот только эта его немного странная улыбка. Она почему-то невольно вызывает у Лесницкого настороженность, как бы заставляет ждать чего-то от Андрея. Так и кажется: он что-то знает, знает то, о чем никто больше и не догадывается, но вместе с тем для всех представляет большой интерес. Знает и сознательно умалчивает, ни слова не говорит. Мол, на все свое время, сейчас нельзя, сейчас еще рано...

Когда начался митинг, Андрей стал объяснять Лесницкому, кто выступает, в какой партии состоит тот или иной оратор, обстоятельно рассказывал о его жизни. Лесницкий не мог скрыть своего удивления,— откуда Андрею так хорошо известны все эти подробности. И с каждой минутой в глазах у Лесницкого рос его авторитет.

На митинге выступало много людей. И несмотря на то, что все говорили почти об одном и том же, слушать было интересно, потому что поднимались злободневные вопросы, в решении которых были горячо заинтересованы все находившиеся в зале. Вокруг стояла напряженная тишина.

Лесницкий мельком бросил взгляд на Славина и, несмотря на торжественную серьезность момента, не мог сдержать

улыбки. Невольно казалось, что лицо у того, словно зеркало, в полной мере отражало восхищение, царившее в зале. Лесницкому вспомнились Никодимовы слова:

«Революция — это большой всенародный праздник...»

И на самом деле, его лицо ярко отражало этот торжественный праздник. Оно выглядело сейчас каким-то удивленно-вытянутым, восково-чистым, блестящим. А добрые старческие глаза его, казалось, медленно плыли в светлой радости, будто хотели согреть всех своим радужным теплом. И смешным-смешным от этой торжественности выглядел Славинский нос — крохотная кнопочка.

Своего апогея всеобщее восхищение достигло в тот момент, когда на сцене появился Матрунин, известный революционер, который недавно был выпущен из тюрьмы и сейчас вернулся в свой родной город.

Андрей, коротко рассказав о нем Лесницкому, добавил затем:

— Я знаю его, хорошо знаком с ним. Я и тебя обязательно познакомлю.

Матрунин говорил тихо, медленно. Но было видно, что за его слабым, дрожащим голосом скрывалась огромная внутренняя сила, большие чувства. Слова его были очень доходчивыми и затрагивали самые тонкие душевные струны слушателей; его проникновенная речь полностью завладела людским вниманием, в зале с каждой минутой росло нервное напряжение.

Оратор вспомнил про тюрьму, вспомнил про страшные издевательства и муки, которые ему довелось испытать и которые оставили в его сердце острую ненависть к царскому строю. Наконец, голос его стал дрожать и судорожно прерываться, и это, очевидно, не всем понравилось. В разных концах зала послышался недовольный ропот и даже резкие выкрики возмущения.

Матрунин закончил свое выступление совсем неожиданно, почти на полуслове. Говорил, говорил, а потом взял да и махнул рукой.

— А, все равно не выскажешь больше, чем люди сами понимают и чувствуют сердцем...

Его проводили шумной овацией. Громко аплодировали, кричали, стучали ногами, кто-то пробовал взобраться на трибуну, кто-то пытался затянуть песню. Под боком у Лесницкого кричал резким голосом Славин:

— Прошу слова! Слова!.. Прошу слова!..

Его никто не слушал и не обращал на него никакого внимания. Видимо, Славин и сам толком не знал, зачем надрывает горло. Просто так, наудачу.

В этот момент Лесницкому снова почему-то вспомнилась многозначительная ухмылка Андрея. Неужто его не трогает все это, не волнует? А может быть ведет так себя только по-

тому, чтобы скрыть волнение и не показать своей слабости? Трудно его понять. Он как-то всегда прячет свои сокровенные мысли за этим внешне мягким выражением крупного лица, за лукавой ухмылкой.

Вдруг Лесницкий вздрогнул от неожиданности. На трибуне оказался уже знакомый ему рабочий в потертой кожаной тужурке, с которым он сегодня утром имел такую несчастливую встречу. Рабочий заговорил твердым и звучным голосом, раз за разом выдыхая из своей могучей груди тяжелые шершавые слова.

Нельзя сказать, чтобы он выступал красиво. В его речи было мало изысканных выражений, мало было и праздных слов о революции. Да он, по-видимому, и знал-то о них понаслышке. Почему-то стал говорить о войне, о дороговизне, о голоде. Публику это немного удивило,— уж слишком заметным оказался диссонанс между его выступлением и общим настроением в зале. Все с явным безразличием ждали, когда он закончит, не мешали ему и не прерывали, как предыдущих ораторов, бурными аплодисментами и выкриками.

Лесницкому показалось, что рабочий несколько удивлен таким приемом и как будто начинает уходить от грубоватой, но искренней уверенности, с какой он начал было выступление. Неожиданно для самого себя Лесницкий почувствовал, что в глубине души вдруг зашевелилось сочувствие к этому простому неуклюжему человеку; вместе с тем росла, ширилась неприязнь ко всем, кто так холодно встретил его хотя и не отточенные, но очень правдивые и душевные слова. И Лесницкий уже заранее в мыслях готовился как можно громче бить в ладоши.

Однако заключительные фразы оратора — заученные революционные лозунги, произнесенные осипшим уставшим голосом, заметно оживили слушателей. И в конце концов рабочего проводили с трибуны такими же дружными аплодисментами, криком и топотом ног.

Митинг закончился поздно. Уставший народ покидал зал медленно, не спеша, словно нехотя. В дверях столпилась масса людей, образовалась пробка. Сзади, с шумом и криком, напирали новые толпы.

У самого выхода Лесницкий увидел Халиму. Тот стоял, прислонившись к стене,— злой и мрачный, как черная тень. Лесницкому бросилась в глаза его правая рука, перевязанная какой-то не совсем чистой тряпкой, на которой явственно проступали кровавые пятна.

Лесницкий подошел к Халиме, не скрывая своего удивления и тревоги.

— Что с тобою случилось? Что здесь делаешь? Почему кровь на руке?

— Ничего...

Не сказав больше ни слова, Халима оторвался от стены,

чтобы уйти вместе с Лесницким. Казалось, он и стоял здесь, специально поджидая его.

Наконец вышли на улицу. Лесницкий пригласил Халиму ночевать к себе. Тот ничего не ответил, однако пошел вместе со всеми. Славин тоже направился в их сторону. Рядом с ним шагала Нина и все время о чем-то горячо спорила. Но как только она увидела Халиму, сразу умолкла. Еще там, в зале, Лесницкий заметил, как ее лицо, покрывшись тенью непонятной тревоги, стало глубоко задумчивым и серьезным.

Халима шел широким, нарочито-размашистым шагом. Каждое его движение говорило об упорном мрачном озлоблении. Его молчание было тяжелым, неприятным. Казалось, вот-вот выльется оно в какую-то неожиданную и дикую выходку, что-то очень нехорошее. Лесницкий все время пристально следил за ним, и чем дальше, тем больше проникался опасением и неосознанным страхом.

Однако все закончилось громким смехом. Когда они прошли уже где-то полдороги, Халима резким броском вперед настиг Славина, беседовавшего с Ниной, сердито оттолкнул его в сторону, сам молча взял ее под руку и, словно бы ничего не произошло, пошагал дальше своей неуклюжей походкой.

Андрей, тоже молча, легонько поддел локтем Лесницкого, и оба едва сдержались, чтобы не расхохотаться на всю улицу. А растерявшийся Славин так и остался стоять на месте, очевидно, не в силах сообразить, почему именно на нем, а не на ком другом, вылил свою злость Халима. Ребята, продолжая смеяться, принялись его утешать. Наконец и он заулыбался — беззлобно, как будто вся эта странная история совершенно его не касалась. Чтобы не злить еще больше Халиму, они замедлили шаг, пропустили того вперед с девушкой, а сами немного отстали, весело подшучивая и смеясь. К всеобщему удивлению Халима через некоторое время вдруг остановился и стал их поджидать.

— Ну, Никодим, теперь уж ты берегись,— скрывая улыбку, пошутил Лесницкий.

И надо же: Халима и на самом деле ждал-таки Славина. Он подпустил его на шаг к себе и проворчал то ли с угрозой, то ли с презрением:

— Революция — говоришь, праздник? А?.. Праздник? Воскресение?.. Не при-зна-ю!..

И, круто повернувшись, пошел дальше.

Славин теперь уже совсем был обескуражен. Ничего решительно не понимал и Лесницкий. Только, видно, до Андрея что-то дошло, потому что он вдруг громко и не к месту захохотал. Этот смех не понравился Лесницкому,— что-то в нем было резкое и холодное, даже мурашки по телу пробежали.

Славин дальше не пошел. Распрощался с ребятами доволь-

но сухо, поспешно и повернул назад — задумчивый и мрачный.

А Халима согласился-таки остаться ночевать у Лесницкого. Нина промывала кипяченой водой ему руку; он добродушно ругался и рассказывал, как пошел вечером в школу и там — в одиночестве — стал выбивать кулаком стекла в окнах...

— Если хорошо изловчишься, получается неплохо... А раз поспешил, и вот результат налицо — и он показал глазами на кровоточащую рану.

Нина, делая перевязку, весело смеялась и поминутно заглядывала Халиме в глаза. Лицо ее светилось радостью. А Лесницкому было не по себе — неприятно и немного завидно. Ведь тот ничего хорошего не сделал, а ему такое внимание, забота, все равно, как герою. И Андрей неожиданно посмотрел на него с какой-то особой теплотой, словно бы человек и на самом деле совершил необычный героический поступок. Что же касается Нины, так она, наверное, и сама толком не знала, чем бы еще услужить парню. До чего же неприятно на все это смотреть со стороны... Да и сама она, кажется, совсем неинтересная. И некрасивая, совсем некрасивая...

Лесницкий нахмурился и, низко опустив голову, застыл в глубоком молчании. Настроение готово было совсем испортиться. Но потом спохватился, понял, что вести себя так нехорошо. Да и удержаться от смеха тяжело было, глядя на грубовато-смешливую физиономию Халимы.

Когда с перевязкой было покончено, где-то еще около часа все вчетвером сидели в комнате у Лесницкого и вели оживленную беседу — с веселыми шутками и непринужденным смехом.

Спать легли поздно.

Лесницкий получил из деревни письмо, написанное нескладной рукой младшего брата. В письме было не меньше пятидесяти приветов (в самом конце — и от Мокрины); сообщалось также, что за корма продали телушку, что хлеба хватает, есть и скоромное, что ходят слухи о прибавке земли, что вернулся сосед Аксент с войны без ноги, а Рыгор, здоровый, шатается без дела и не хочет идти на войну, что надо где-то раздобыть леса — совсем сгнил овин и так далее. Спрашивали, скоро ли наступит мир и какой будет новый порядок. А в самом конце, уже от себя, наверное, брат приписал, что просверлил за гумном три березы и что березовик в этом году очень сладкий, думает собрать дежу на квас. А Мокрина очень просила передать поклон, и она сильно скучает, ждет его...

Уже был на исходе март. В городе стояла весна — мягкая

и туманная, полная влажных запахов. Широко разлился Днепр. Лесницкий ежедневно ходил смотреть, как грозно и вместе с тем величественно несется мимо полая вода, как шумит и трется она о стены полузатопленных домов, как угрожающе налетает на высокие, задиристые волнорезы у мостов.

Дома, в деревне, Днепр разливается широко и привольно, настолько широко, что противоположный берег становится едва различимым. Тогда очень странными выглядят одинокие деревья, торчащие из воды, словно бы они совсем случайно забежали в воду и теперь стоят растерянные, не зная, что делать. Приподнимают над водою свои полы,— боятся намочить полные жизненных соков ветви. А Днепр как бы шутит с ними, играет, трется в ногах, нашептывает что-то в своем игриво-ласковом восхищении.

Днепр хорошо чувствует свою силу во время весенних паводков. С Днепром тогда шутки плохи. Про весенние выходки Днепра надо вот послушать рассказы старого перевозчика Савки, который Лесницкому приходится даже какой-то дальней родней. Он, если захотите, пересчитает на своих заскорузлых, кривых от весел пальцах, сколько поглотил Днепр человеческих жизней за шесть десятков лет, время, хорошо сохранившееся в емкой памяти деда. Ой, немало наберется этих жертв!..

Лесницкий любил приходить к берегу Днепра, чтобы в свежем дуновении ветра, в мягком шепоте водных просторов уловить дыхание далекого села, оживить в затосковавшей душе дорогие воспоминания.

Но разве же это воспоминания? Совсем другое дело, когда прислушиваешься к ударам своего сердца, и в тон его сладостным замираниям медленно проплывают в сознании одна за другой неясные картины, отдельные вещи, слова, песенные напевы — до боли знакомые, родные, когда, казалось бы, уже нет ни мыслей, ни ясной и светлой мечты, а только аккорды глухих предчувствий... Когда взгляд останавливается на какой-либо одной точке, проплывающей по широкой глади, и потом неприметно исчезает и точка, и гладь, и все остальное вокруг, и когда кажется, что засыпаешь, укачанный музыкой паводка, и, словно во сне, мельтешат в тумане неопределенные обрывки чего-то болезненно-знакомого.

А подчас бывает и по-другому. Подчас Лесницкий приходит к Днепру, чтобы в умиротворенной тишине трезво обо всем подумать, чтобы поглубже осмыслить происходящие вокруг события, которые с каждым днем все плотнее и плотнее окружают жизнь человека и требуют весьма определенного и активного к себе отношения.

Иногда подолгу он задумывается, болезненно напрягает сознание — однако из этого решительно ничего не выходит. Вот если бы отыскать нужную точку, какую-нибудь опору, чтобы было на что опереться в своих рассуждениях. А то

ведь — одна лишь путаница, одна неясность. Так много вокруг происходит яркого, нового, а что несет с собою это новое — неизвестно.

Пробежал только один месяц, а сколько событий произошло за это время, сколько увидел и узнал такого, о чем прежде и не думал...

Уже состоялось много собраний и демонстраций, на которых было произнесено столько торжественных и красивых речей. Послушав их, невольно и сам привык думать о великом, красивом... О революции, освобождении, о народном счастье, о счастье для всего человечества. Привык к праздничному мироощущению — привык до слез, до щемящей боли в сердце...

Но не было осмысленного понимания всего, что происходило вокруг. Не было «точки», не было опоры для рассуждений.

В городе восторжествовало новое, новый порядок. Выехал царь, появились партии, обращения, афиши, пошли собрания, споры, речи, резолюции... Приезжали министры — они говорили еще краше, они так горячо и пламенно призывали встать на защиту свободного отечества, что невольно закипала отвага в груди и хотелось тут же ринуться в бой.

А из деревни пишут, что нету кормов и разваливается овин. Спрашивают, скоро ли наступит мир, каким будет новый порядок. А что он на это может ответить? Почему не хватает кормов и нету леса на овин. А ведь вокруг полно лесов, и земли много есть, и лугов, и всего... Зачем тогда нужен какой-то иной порядок? Где отыскать эту «точку»?

Шумит в безбрежных просторах старый седой Днепр, стелет свой широкий путь через поля и луга, леса и села... И путь этот могучий, неудержимый,— в нем сила земли, сила самой жизни. Путь его зачаровывает, влечет за собою мысли и мечты — в лучезарную неизведанную даль, в еще не познанный мир.

И вот стоит лишь на миг отдаться во власть этого неудержимого движения, мысленно взлететь в бездонную голубизну небес со своею мечтой, как сразу же исчезает все будничное, серое, мелкое и начинаешь зримо чувствовать радость свободы... Разгорается в груди радостное стремление к чему-то светлому, великому. И оно тогда кажется совсем близким и вполне достижимым. На какое-то время даже кажется, что наконец-то найдена «точка», что теперь все стало ясным и понятным.

Это — мираж. Это — самообман. Лесницкий давно убедился в этом. Лесницкий хорошо знает, чем все это кончается.

Исчезнет мечта, и на смену ей снова вернется будничное, серое, и снова — мрачная неопределенность... и нету заветной «точки», нету опоры для мыслей...

Однажды Лесницкий ходил любоваться разливом Днепра вместе с Ниной. Нина сама напросилась, когда узнала, что он идет к реке.

Они ушли далеко за город, где в окружавшей их тишине глубже ощущалось дыхание весны, где шире и свободнее бежала вода, гуще пахло теплой весенней влагой. Они любовались, как над бесконечной зеркальной поверхностью угасал день, как медленно и тихо опускался на землю вечерний мрак. Они молча слушали, как в затаенном шепоте волн, полном скрытой силы, рождаются ночные тайны и страхи, рождаются какие-то удивительные звуки — глухие и грозные.

Вначале они шутили. Лесницкий подсмеивался над Ниной, оба весело и громко хохотали. Но как только повеяло из приречных низин вечерней прохладой и по воде поползли таинственные тени, они невольно притихли, заговорили серьезно и спокойно. Опустившийся на землю сумрак располагал к дружеской и искренней беседе, обоим хотелось поделиться сокровенными мыслями, поведать о прошлом, вслух высказать свои чувства и желания.

Поэтому, когда Нина тихо и сердечно попросила Лесницкого рассказать ей что-нибудь, он охотно стал вспоминать множество случаев из своей деревенской жизни. Нина никогда не была в деревне. Ее решительно все интересовало. Она сидела молча — неподвижная, притихшая,— и наивно-широкие глаза светились любознательностью. Временами она о чем-нибудь спрашивала. Голос у нее был задумчивым, протяжным, словно она говорила сквозь какую-то плотную пелену. Когда же Лесницкий умолк было на минуту, она вдруг сказала, глядя в густой вечерний мрак:

— А ведь мама моя была из деревни... Она всегда любила рассказывать... И песни пела деревенские...

Лесницкий бросил на нее удивленный взгляд. До сих пор она ни разу и словом не обмолвилась о матери. Из-за такта он спросил:

— А сейчас где живет ваша мама?

— Померла она. Вот уже четыре года прошло... Совсем еще была молодая. Жилось нам тяжело, в вечной нищете. Ей надо было очень хорошо питаться и лечиться тоже... А тогда один только отец зарабатывал. Андрей еще не работал, мал был. Она померла от туберкулеза.

Лесницкий молча смотрел на Нину и не узнавал ее. Он привык видеть ее всегда веселой и беззаботной. Он ни разу с ней до этого не беседовал на серьезные темы, чаще всего только подшучивал над девушкой. И вот теперь этот голос ее — задушевный, печальный,— серьезное выражение больших, пытливых глаз — все это делало ее какой-то совершенно новой, незнакомой.

Нина тем временем продолжала рассказывать. В эту мину-

ту ей, наверное, как никогда хотелось кому-либо поведать о своей нелегкой жизни, своих бедах и переживаниях.

— У нас тогда был еще один брат, Владик — самый младший. Он тоже помер, через год после мамы. Его отдали были в ученики на кожевенный завод, и, видно, ему пошла во вред работа... Ой, как тяжело там было работать! Ужасно противный воздух, вредный для здоровья. И работа невыносимая. Сгорел на глазах... Славный, милый был парень. Все хвалили его, говорили, что очень смышленый. А тогда устроился на железную дорогу Андрей, стал зарабатывать... Вроде бы стало легче, как-то жили. Сейчас опять плохо — ужасная дороговизна, а денег не хватает, отец начал прихварывать, вынужден был оставить работу.

Последние слова Нина произнесла каким-то приглушенным голосом, в котором Лесницкий уловил нервные, дрожащие срывы. Ему стало не по себе, боялся, что девушка вот-вот разрыдается, и он не будет знать, что тогда делать. Однако Нина только тяжело вздохнула и, отвернувшись, молча смотрела в ту сторону, где в густом мраке грозно и жутко шумел паводок.

Лесницкий напряженно всматривался в лицо Нины, стараясь увидеть все то обычное, знакомое, что замечал каждый день. И, к своему удивлению, ничего не находил. Нина стояла перед ним какая-то чужая, незнакомая. Лицо ее, мягкое, нежное во мраке, казалось не таким юным, как всегда. Оно сейчас отражало горечь и боль, и это придавало ему какую-то особую трагичную степенность.

И Лесницкому вдруг показалось, что когда-то он уже видел ее лицо именно таким, как теперь, и это не что иное, как повторение далекого прошлого, но глубоко, крепко засевшего в памяти. И тогда образ Нины вдруг наполнился необыкновенной симпатией, и в выражении ее лица Лесницкий увидел что-то до боли знакомое и милое. Это уже было лицо не Нины, а другое — милое и близкое. Это было лицо Мокрины — маленькой, чернявой, это была ее страдальческая улыбка. И тогда показалось: вокруг родное поле, слева темной стеной надвигается лес, справа в Днепр впадает неширокая речушка. А за спиной, в какой-нибудь сотне шагов, начинается село, где с правой стороны, третьей, стоит его хата.

В хате сейчас готовят ужин. Там бедно и грязно, но, несмотря на это, все равно ощущается какой-то особый уют, пусть себе аляповатый, черный. Сейчас нужно уже идти туда, чтобы долго не ждали. Надо еще хотя бы несколько раз поцеловать ее и получше присмотреться к милой улыбке. И крепко-крепко прижать к груди — маленькую, чернявую... любовницу горькую, крушиновую радость его...

В эту минуту Нина поворачивается и обычным своим голосом спрашивает:

— Может пойдем уже? Свежо стало...

Она зябко повела плечами и плотнее закуталась в свое пальтишко.

Лесницкий снова узнает ее,— она стала такой же, как и прежде. Еще миг — и захохочет, начнет шутить.

Однако уходить Лесницкому еще не хочется, у него рождаются какие-то новые не то мысли, не то чувства. Ему кажется, все, о чем он думал в последние дни, постепенно обретает четкость и ясность, что намечается какое-то обобщение, какая-то стройность и порядок. Как будто начинает сливаться в одно целое и простой искренний рассказ Нины, и то, что происходит там, в далекой деревне, и Матрунин, вернувшийся из тюрьмы, и розовощекий рабочий в потертой кожаной тужурке — неповоротливый и твердый, как кувалда в кузнице.

Затем мелькают одно за другим: полное вдохновенной радости лицо Никодима, горячие порывы Халимы, многозначительная ухмылка Андрея.

Но как только вспомнил Халиму, сразу почувствовал легкую неприязнь к Нине, на сердце стало почему-то тяжело и противно. И он сознательно поинтересовался, хотя и знал, насколько неуместно об этом спрашивать:

— Вы Халиму давно видели?

Нина ответила просто и искренне:

— Почему давно? Он ведь каждый день наведывается к нам.

И тут же, словно бы спохватившись, добавила:

— Они с Андреем почти не разлучаются. Каждый вечер куда-то ходят...

Лесницкому стало еще тяжелее на душе. Он и сам видел, что в последнее время Андрей с Халимой очень подружились, почти ежедневно встречаются и подолгу наедине о чем-то беседуют. И Нина часто с ними бывает. А он как-то все в стороне остается,— со своей дружбой сам навязываться не хочет, а они тоже ее не ищут. И ему от этого очень неприятно бывает. Поэтому, когда Нина, не таясь, напомнила об этом, Лесницкий совсем помрачнел и, помолчав с минуту, довольно грубым, сердитым тоном сказал:

— Ну, пойдем... Поздно уже...

Шли молча. Почти до самого города Лесницкого не покидало плохое настроение. В голове роем вились неспокойные мысли, он никак не мог сосредоточиться, снова навалилась тяжелая меланхолия.

Нина шагала рядом и тихо сама себе улыбалась...

Андрей выполнил обещание: познакомил Лесницкого с Матруниным. Лесницкий был несказанно рад этому знаком-

ству. Когда Андрей подошел к этому известному революционеру, Лесницкий, шедший рядом, в первую минуту почувствовал себя сильно стесненным. Ему казалось, он забыл обо всем на свете и ничего перед собою не видел, кроме живых и проницательных глаз старика, ничего не слышал, кроме слабого, чуть напевного голоса. Когда Матрунин о чем-то было спросил, он тут же стушевался и как-то смешно, по-ученически заволновался, не зная, что ответить. Выручил Андрей. Он заговорил о чем-то с Матруниным — заговорил спокойно, уверенно, как с родным братом или хорошо знакомым товарищем.

Лесницкий, чуть отступив назад, стал внимательно рассматривать Матрунина. Он ему очень понравился. На гладко выбритом, маленьком лице Лесницкий заметил какую-то страдальческую мягкость, какое-то безграничное самопожертвование. Особенно четко все это просматривалось на его тонких, нервно сжатых губах, окруженных сеткой мелких морщин. Казалось, уголки его губ все время дрожат, то ли от глубокого горя, то ли от тяжелых и беспокойных мыслей. Можно было подумать, что его душа еще полна недавно пережитым и готова щедро все разделить с сегодняшней радостью. Быть может этот старый человек потому и казался таким симпатичным, что он как бы заключал в себе единство извечного горя и молодой, еще не совсем ясной и осознанной радости.

Прощаясь с Лесницким, Матрунин пригласил его к себе домой.

— Заходите вечером, поговорим о том, о сем... Я люблю молодежь, да я и сам еще молодой... Не беда, что голова поседела... Приходите, приходите...

Лесницкий и до этого знал, что у Матрунина часто собирается молодежь, что вокруг него образовался целый кружок сторонников — ученики вокруг учителя. Поэтому он с полной серьезностью принял приглашение старика и твердо решил как-нибудь наведаться к нему и, если получится, стать постоянным членом кружка. Кроме того, он подумал прихватить с собой и Славина. Тому наверняка будет приятно сходить туда. Да вдвоем и лучше. Потом можно обменяться мыслями, помочь друг другу разобраться в неясных вопросах. Вдвоем как-то смелее.

Дня два спустя они пошли к Матрунину. Ребята очень быстро отыскали нужную квартиру — ее на несколько кварталов вокруг знал каждый житель. Жил Матрунин в довольно красивом доме на одной из центральных улиц города. Только сейчас, придя к нему, Лесницкий узнал, что тот холостяк и не имеет никаких родственников. Жила с ним в его квартире какая-то молчаливая, сгорбленная старушка — очевидно, его экономка.

Лесницкому квартира Матрунина показалась сверх шикарной. Пожалуй, впервые в жизни он был в такой. Ковры на полу сковывали все движения, ступал он так неуклюже, что, казалось, ходил по скользкому льду.

В гостиной было светло и просторно, весело потрескивали дрова в голландке, разливая по комнате какое-то необыкновенно приятное тепло. Возле печки в кресле сидел сам хозяин, а вокруг него разместилось с десяток ребят. Одни стояли, другие сидели, некоторые медленно расхаживали по комнате,— было видно, все чувствовали себя здесь свободно и непринужденно, как дома.

Матрунин узнал Лесницкого и тепло поздоровался с ним. Славина Лесницкий представил сразу. Старик и тому горячо пожал руку, как будто давно ждал и теперь рад был видеть у себя дома.

В спокойной домашней обстановке Матрунин показался Лесницкому еще более симпатичным, чем при первой встрече. Да и все здесь было приятным. Даже ребята — незнакомые, чужие — выглядели такими добродушными и славными, словно это были его давнишние товарищи и друзья.

Когда Лесницкий со Славиным переступили порог квартиры, там уже шла оживленная беседа. Ребята расположились в углу гостиной и внимательно слушали выступавших. Вначале было трудно понять, о чем идет разговор. Часто упоминались слова «народ», «демократия», «свобода». Потом стало ясно, речь идет о современном положении, революции, судьбе России. Шел спор: должна ли быть в России демократическая республика, или просто республика, или же конституционная монархия. Искали различные пути для сохранения сильной армии, для сохранения порядка, для победы над немцами.

В те дни очень много велось разговоров об этом. Да и вообще в те дни много говорили, начиная с министров и кончая мелкими торговцами из бакалейных лавок.

Матрунин смотрел на молодежь и ухмылялся. Изредка он вставлял свою авторитетную реплику, но больше молчал и слушал. Видно, ждал, чтобы все высказались до конца, чтобы излили весь свой молодой пыл.

Наконец как-то само по себе вышло, что все разом умолкли и заговорил Матрунин. Говорил он очень долго, пожалуй, часа два, однако никому не надоел. Слушали его ребята с большим вниманием, никто не обмолвился ни единым звуком.

Матрунин был старым революционером-народником. Многие годы своей жизни провел в тюрьмах и ссылке. По всей вероятности, там и сформировался его идеал свободы и счастья, идеал, который мог родиться лишь в тяжелых условиях личного горя, а также горя и мук миллионов обездоленных царской России. Этот идеал, без которого старик, очевидно, не представлял свою жизнь, вселял в него силы, делал мо-

лодым, открывал широкие возможности оказывать влияние на других, особенно на молодежь.

Сегодня он рассказывал о незабываемых днях борьбы, о том, как пламенно, всей душой любили они, старые революционеры, трудовой народ, как готовы были пойти за него на страдания и смерть, как преданны были своему опасному, но славному и благородному делу.

На Лесницкого слова Матрунина произвели сильное впечатление. Перед его мысленным взором проплывали полные необыкновенной романтики картины. Они захватывали его и воодушевляли — наполняли душу светлыми грезами. Он готов был немедленно отправиться на борьбу, готов был пожертвовать даже своей жизнью...

За народ... за свободу...

Глаза у него светились жарким пламенем молодого порыва, и как-то странно, трепетно сжималось сердце.

И когда Матрунин позже заговорил о событиях последних дней, о долге каждого из них пойти на службу народу, Лесницкий совсем было загорелся. Ему стало радостно от мысли, что наконец-то, кажется, прояснились все его сомнения, что сама по себе отыскалась «точка», которую он так долго разыскивал, и без которой никак не мог определить свое место в жизни...

За народ... за свободу...

Милым, дорогим образом промелькнула в мыслях родная деревня... Семья... Мокрина. И тут же все расплылось в чем-то широком-широком, в таком знакомом и любом, к чему нужно стремиться, чему нужно служить.

Это — народ. Это — та «точка», вокруг которой должна виться жизнь. Это — цель всех устремлений, мыслей и мечтаний. Теперь все ясно, все понятно.

И Лесницкого все больше и больше захватывает острая пламенная радость. Сердце его полнится бесконечными желаниями, от которых по всему телу разливается приятная томность. Он ничего решительно не замечает вокруг себя, его задумчивый взгляд устремлен в голубую даль, он ясно видит образы своих мечтаний — рисунок их четкий и прекрасный.

Ему кажется, что впереди свободно и вольно раскрылось безбрежное поле. Это — сама жизнь. И в этом поле — жизни густой сетью вьются стежки-дорожки. Их бесконечное множество, они пересекают, обгоняют одна другую и, как-то поспешно убегая, теряются вдали, словно бы хотят завлечь туда неосторожного путника.

Он выбирает одну из этих стежек и идет — смело, решительно идет в широкое поле-жизнь. Стежка ровная и красивая — на ней мягкий желтый песочек, а по сторонам свежие цветы. Он хорошо знает, куда она приведет. Он уже видит

впереди, где-то там, далеко-далеко, в голубой синеве, что-то очень знакомое, любое. Там — родное село. Там — народ.

Он спешит, потому что знает: там много слез, много горя и мук. Там — горькая и печальная улыбка Мокрины как туманом закрывает собою все вокруг.

Он спешит, потому что хочет отдать свои силы, даже жизнь свою за счастье народа. Он хорошо слышит и навсегда запомнит эти слова Матрунина.

«Народ веками стонал от угнетения. Народ долго и терпеливо ждал освобождения... И вот теперь он его получил. Но сейчас он большего ждет, большего от нас требует... Эта темная, забитая масса жаждет света, жаждет науки. Идите же все, учите народ, отдавайте ему свои знания, свои силы... Помните, люди умирали за то, чтобы вы — сегодняшние хозяева жизни — увидели волю, увидели светлую и большую радость. Трудитесь же так, чтобы с честью продолжить дело отцов своих...»

Да, они будут трудиться, они сделают все, что только будет в их силах...

Когда Матрунин закончил двухчасовую речь, ребята ответили дружным, громким взрывом шума, в котором улавливалось действительно горячее желание свершить что-то необычное и героическое. Матрунин, уставший, бледный, откинул голову на спинку кресла и замер неподвижно, с теплой отцовской улыбкой поглядывая на расшумевшуюся молодежь. По выражению его лица было видно: он рад, что слова его так живо захватили ребят, глубоко тронули их сердца, их мысли, их желания.

От Матрунина Славин потащил Лесницкого к себе домой.

Весенняя ночь была теплая, влажная. По центральным улицам во все стороны двигались людские толпы. Вокруг стоял шум и гомон. Но стоило Славину и Лесницкому свернуть в сторону от центра и пройти квартала два, как они сразу оказались в царстве ночного мрака и глухой тишины.

Из ближайшего переулка вдруг с шумом выкатилась небольшая группа людей. Они повернули на улицу и медленно пошли впереди.

Ребята притихли, прислушались. Разговор незнакомцев заинтересовал их.

— Он, говорят, поручиком служит... граф какой-то знатный... богач...

— Сволочь... известное дело...

— Ну и что?

— Приезжают, заказывают поезд — подарки, значит, солдатам на фронт...

— Нужны им очень их подарки... Пыль только в глаза пускают... Как бы не разбежались...

— Ну вот... Как только подготовили поезд, сразу подкатил этот панок — с форсом необыкновенным... Занял себе

мягкий вагон, и поезд тронулся. Все как положено... Но тут выяснилось, что в суматохе собачка его затерялась где-то в толпе на вокзале... И что бы вы думали? Дошел поезд до первого разъезда и — стоп... гони назад... Разъезд звонит сюда — так, мол, и так, собачка пропала, дайте жезл в обратную сторону... назад, значит, ехать... Дежурный туда-сюда, растерялся, не знает, как быть. Принять поезд — не миновать беды, а не принять — тоже пропал...

— Ну и чем все это кончилось?

— Да так... Отыскали того щенка и на паровозе отправили — хозяина догонять... Собачке, значит, паровоз предоставили... А на вокзале ждут отправки сотни людей, а может и тыщи...

Ночную темень разорвало несколько взмахов соленого, злого мата.

— Сволочи! Живодеры!..

— Роскошничают, мерзавцы... Пьют людскую кровь... Им — что, собачки на уме, а народу подыхай с голоду... Неделю пот льешь, а на день не заработаешь... Свободу дали...

— Свобода, да не для тебя...

— Свобода панским собачкам, ха-ха...

В ночную темень снова полетели проклятья. Затем опять послышался голос того, который рассказывал про собачку. Но ребята уже не могли разобрать слов говорившего,— те свернули в боковую улицу и ушли своей дорогой...

Лесницкий чувствовал себя как-то неловко. Тянуло поговорить о том, что слышали они со Славиным, но он не знал, с чего начать. Славин тоже молчал, думал о своем. Быть может, и ему хотелось поделиться сокровенными мыслями, да почему-то не решался.

И совсем неожиданно для себя Лесницкий вдруг почувствовал, что случайно подслушанный разговор стал неотступно преследовать его и заметно портить приподнятое настроение, с которым он ушел от Матрунина. Казалось, в душу кто-то плеснул черной, злой отравы, и она невыносимой горечью сжигает все чистое и светлое.

Хотелось избавиться от этого неприятного и навязчивого чувства и вернуть прежнее настроение. Однако сделать это было нелегко. Тогда Лесницкий решил первым нарушить тягостное молчание и спросил:

— Славин, как думаешь, кто были эти люди?

— Видно, рабочие... Скорее всего железнодорожники...

И опять молчание. Так и подошли к дому, где жил Славин. Только в его комнате, наверное, под влиянием классического хаоса, как всегда царившего там, медленно возвращалась приподнятость духа и непринужденная живость. Со смехом и шутками они принялись готовить чай, затем пили его с черствым хлебом, читали стихи Ясинского, которым очень восхищались.

Легли спать поздно. Славин никак не мог угомониться. Потом, будто вспомнив о чем-то, быстро встал, полез в ящик и принялся перебирать какие-то бумаги. Наконец нашел нужную тетрадь и, виновато поблескивая стеклами очков, неуклюже и смешно подошел к Лесницкому.

— Послушай, Василь, я хотел бы почитать тебе одно стихотворение...

Славин смутился, покраснел, стал нервно посапывать кнопочкой-носом. Лесницкий сначала удивленно поглядывал на него, потом не выдержал и громко захохотал.

— Ха-ха-ха!.. Чего ты, как девица красная?.. Не иначе, сам сочинил, а?

— Ты вот послушай...

Неожиданно для Лесницкого стихотворение оказалось совсем неплохим. Посвященное какой-то девушке, оно было написано с большим, теплым чувством и захватывало своим искренним, хотя и довольно наивным лиризмом.

Лесницкий высказал свое мнение. Славин смутился пуще прежнего.

— Да, да... Это верно. Но у меня еще есть... Правда, пишу я редко... от нечего делать...

И, уткнувшись в тетрадь, почему-то глубоко вздохнул.

Все последующие дни Лесницкий почти не разлучался со Славиным. Днем они вместе сидели в школе, а по вечерам или приходили к Матрунину, когда у того собиралась молодежь, или же оставались дома, проводя время за чтением и товарищескими беседами.

Эти дни еще больше разбередили Лесницкого, внесли еще большее смятение в его душу. Он вновь перестал видеть какие бы то ни было просветы в жизни и не мог толком разобраться в происходящих событиях, вновь потерял в мучительных размышлениях заветную «точку», которую так долго искал. Он был настойчив в своих исканиях, мучился и переживал, но все усилия оказывались напрасными.

У Матрунина он каждый раз принимал активное участие в спорах и каждый раз покидал его квартиру, как в угаре, с распаленным сердцем, с готовностью свершить что-то большое и трудное, с радостной уверенностью, что уж теперь открыты перед ним светлые и широкие пути в жизни. В такие минуты ему казалось, что он наконец-то отыскал заветную стежку-дорожку, которая выведет на правильный путь, что он отыскал ту «точку», без которой никогда не дождаться счастья в жизни.

Беседы со Славиным обычно подогревали это настроение. Им наедине всегда удавалось как-то незаметно уйти от невеселых, серых будней и целиком погрузиться в смелые, радужные мечты, в которых как бы растворялись и пропадали

все житейские проблемы, на каждом шагу возникавшие перед ними.

А суровая действительность неотступно давала себя знать. Она жестоко врывалась в построенный воображением Лесницкого мир, потрясала его, образовывала широкие щели, сквозь которые проникал в сердце холод неприветливой будничности и леденил пламенные порывы.

К тому времени уже заметно попритихли революционные страсти, упала торжественность победы. В городе жизнь входила в привычную колею. Оголенная ветром Февральской революции, но не затронутая в своей сущности, она все явственнее проявляла свои болезненно-отвратительные и страшные черты, все чаще и чаще выносила на поверхность свои глубочайшие, до сих пор неразрешенные противоречия.

Росла дороговизна, не хватало продуктов. Вместе с тем росло и недовольство городского населения, особенно в среде рабочих. К этому присоединялось всеобщее недовольство войной. Люди не хотели войны,— она несла голод и смерть. Ждали мира, добивались мира, все громче и настойчивее повторяли лозунг — «мир без аннексий и контрибуций». Солдаты покидали окопы и бежали с фронта. Железные дороги были забиты отпускниками и дезертирами, полно было дезертиров и в городе.

А в то же самое время официальные и неофициальные агенты Временного правительства кричали о защите отечества, об укреплении армии, на каждом шагу проводили добровольные сборы на оборону. По улицам маршировали различные «ударные» батальоны, «женские батальоны смерти», которые публика провожала насмешками и анекдотами. На площадях устраивались торжественные парады, где тоже призывали не жалеть жизни во имя отечества, где солдаты громко кричали «ура», чтобы потом, разойдясь в разные стороны, проклинать всех, кому нужна война, и думать, каким образом сбежать домой, к родным семьям.

Все эти события не могли пройти мимо внимания Лесницкого. Их просто нельзя было не заметить. Они свидетельствовали о том, что в городе творится что-то неладное, что вокруг борются какие-то силы, что борьба разгорается с каждым днем все сильнее и сильнее.

Глубоко осмыслить все это ему не удавалось, ибо оно шло вразрез с его мышлением и не согласовывалось с теми радужными мечтами, в плену которых он все время находился.

И вот, как ответная реакция на это положение, появилась у Лесницкого острая тоска по деревне, неукротимое желание поехать туда, чтобы избавиться от неприятного душевного груза, приобретенного здесь, в городе. Свои планы он теперь связывал только с селом,— город ему осточертел, как осточертело все, что мешало по-настоящему глубоко понять происходящее в мире.

Казалось, только там, в деревне, среди бескрайних полевых просторов, где так просто и тихо течет жизнь горемычных сельчан, что именно там увидит он все новое и красивое, что принесла с собою революция. Лишь там найдет он подходящие условия для работы и с радостью отдаст свои силы народу.

И Лесницкий с нетерпением ждал дня, когда будет закончена школа и он сможет уехать домой. Мысль о скором отъезде в деревню ни на миг не выходила из головы. Что бы ни происходило вокруг, что бы ни рождало его воспаленное воображение, он все объединял с этой мыслью. И она приносила ему облегчение, спасала от ненужных сомнений и неприятностей, возникавших на жизненном пути.

Своим новым желанием Лесницкий вскоре заразил и Славина. И вот начались у них каждодневные долгие беседы-воспоминания о родных углах, о самых разных сторонах сельского быта. Стали они говорить о том, чем каждый из них займется в деревне, сколько писем в неделю будут они писать друг другу.

Только с Ниной он не нашел общего языка, даже поссорился из-за этого. Он было напомнил ей, как они когда-то вдвоем ходили к Днепру, как рассказывал о родном селе, как она потом говорила о матери своей, которая тоже родилась в деревне и знала много народных песен. Ему хотелось полностью раскрыть перед ней свою душу и поделиться сокровенными желаниями.

И вот, когда Лесницкий уже было закончил изливать свои теплые чувства к родной земле, связанные с близким отъездом, когда, как мог, расхвалил село и выгоды деревенской жизни, Нина вдруг бросила свое занятие (она что-то шила), пристально уставилась на него и начала засыпать вопросами:

— Сколько у вас земли?

Он сказал.

— Сколько собираете хлеба?

Тоже ответил.

Затем пошли другие вопросы: сколько лошадей, коров, овец, большая ли семья, есть ли какие заработки... Когда Лесницкий на все ответил, Нина с минуту подумала и авторитетным тоном заявила:

— Да. Вы правильно говорите... В деревне сейчас жить намного легче и выгодней...

Лесницкий понимал, она нарочно, чтобы только побольнее поддеть, дала его словам такое грубое материальное объяснение,— стало до боли обидно и горько; он решил было все свести к шутке, однако из этого ничего не вышло, сорвался лишь незаслуженный упрек:

— Нина, почему все так грубо понимаете?

Девушка опять уставилась на него и уже серьезным, даже немного сердитым голосом бросила в ответ:

— Грубо, говорите? А зачем мне всякие сказки рассказываете, если сами прекрасно знаете, что у нас далеко не всегда есть на столе хлеб, что денег нету на лекарство отцу, что я не имею ни одной пары приличных туфель...

Лесницкому стало явно не по себе. Чтобы не показать своего смущения, он низко опустил голову и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

После этого целый день не говорил с нею и свои мысли затаил глубоко в сердце, не отваживаясь больше никому их высказывать. Даже Андрею, который поинтересовался, скоро ли их отпустят домой, коротко и сердито процедил сквозь зубы:

— Не знаю...

И больше ни слова. Ему показалось, Андрей что-то держит на уме, возможно, в душе даже смеется над ним. Андрей больше ни о чем не спрашивал.

После этого разговора Лесницкий с каждым днем все больше и больше замыкался в себе, становился молчаливым и диким. Он всякий раз при случае старался отмолчаться, уклонялся от встреч с товарищами, искал возможность остаться наедине с самим собой. Разве только со Славиным они еще продолжали иногда встречаться. Однако и у них на глазах таяла прежняя искренность и взаимопонимание. Теперь они уже не строили вместе свои планы на будущее, не вдохновляли друг друга, не поддерживали взаимно молодые порывы и устремления. Все получалось как-то сухо и неестественно. Лесницкого все меньше тянуло к Славину, хотелось побыть в умиротворенной тишине — тогда, как ему казалось, живее бежало время, более яркими представлялись душевные порывы и мечты, скорее приближалась пора отъезда.

Лесницкому теперь нравилось бывать в таких местах, где обычно собиралось много незнакомых людей, где легче было затеряться в общей массе и чувствовать себя более свободно и независимо. Чаще всего он наведывался в городской сад, бывал также на шумных центральных улицах, на многолюдных собраниях, митингах, диспутах. Иногда пристально вглядывался в незнакомые лица, прислушивался к оживленным спорам и беседам, стараясь почему-то все услышанное запомнить. Иногда же ему просто хотелось послушать общий шум-гомон, коллективный голос толпы. И тогда приятно кружилась голова, он слонялся, словно в полусне, ничего не видел перед собою, ничего не слышал, кроме общего глухого шума.

Бывало, случалось встречаться со знакомыми. Встречи эти ему были неприятны, и он по возможности старался остаться незамеченным.

Однажды — было это за несколько дней до отъезда в деревню — он совершенно неожиданно наткнулся на Халиму.

Хотел было быстро пройти мимо, но тот еще издали заметил и подался прямо к нему.

— Здравствуй, Василь... Что поделываешь?

— Здравствуй... А ты здесь каким образом очутился? — вопросом ответил Лесницкий.

— Да вот пришел поглазеть, как дурак ослов уму-разуму учит...

Василь невольно улыбнулся. Перед ними с лекцией выступал один из местных кадетов, которого считали — да и он сам, пожалуй, считал себя — самым толковым человеком в городе...

— Погоди, погоди! — воскликнул Лесницкий.— Выходит, ты и себя рекомендуешь, ведь тоже слушаешь дурака, не так ли?

Халима с серьезным видом поднял над головой указательный палец.

— Я — козел... Я пришел в этот зал, чтобы лбом сбросить это пугало... Хочешь, Василь, я сейчас сброшу его? Скажи, хочешь? Тут же пойду и прерву его красноречие... Хочешь?

Только теперь Лесницкий с ужасом заметил, что Халима крепко выпил. Он по опыту знал, что в подобных случаях от дружка можно всего ожидать.

— Ну какого лешего он тебе нужен... Пойдем-ка лучше пройдемся немного...

Халима сначала хотел было отказаться, но потом все же согласился.

Они вышли на центральную улицу. Халиму заметно водило из стороны в сторону, и он с пьяным упорством ворчал себе под нос:

— Наверное, думаешь, я здорово выпил, а?.. Василь... ты что-то сердишься на меня... Я выпил, потому как не могу больше... Вся кровь горит... Мне бы сейчас что-нибудь крушить, ломать... Я хочу революцию делать... Ты, Василь, считаешь, это — всё? Да? Ха-ха-ха... Черта с два... А рабочие где, скажи мне? А где крестьяне? А фабрики, заводы, земля? Ха-ха-а-а... Хитрецы... А зачем война? Кому, скажи на милость, она нужна?.. Ты на меня не злись... Я не люблю таких, как ты... Тебе все чтобы потише да поглаже... А мне — революцию дай, я драться буду!

Он так распалил себя, что готов был кричать на всю улицу. Лесницкий стал успокаивать:

— Халима, потише! Я и так хорошо слышу. Кроме того, я не злюсь на тебя...

— Именно... Помнишь, как мы против антихристов выступали... Я тебя пригласил, я на тебя надеялся... Правда, мы все были дураками... Я еще окна бил... помнишь? Теперь-то я — ого! — кое-что понимаю... Погоди-ка... Пойду сейчас объясню им...

Халима резко повернулся и пошел назад. Лесницкий попытался его задержать, но тот уже не слушал.

— Я скажу... Я выскажу все, что думаю... Пусть они знают...— кричал Халима.

И, не обращая внимания на уговоры Лесницкого, решительно подался назад, на лекцию.

Лесницкий пошел следом за ним.

Когда они переступили порог зала, докладчик уже закончил свою речь, и председатель, встав из-за стола, обращался к публике:

— Может, кто-нибудь хочет высказаться?

И вдруг Халима прямо от двери рявкнул:

— Я хочу!

Все с любопытством повернули головы. Председатель с явным недовольством переспросил:

— Кто там еще?

— Я хочу!

— Пожалуйста... Проходите сюда...

Халима широким шагом направился к трибуне, бесцеремонно расталкивая публику и грохоча на ходу своими огромными сапогами.

Все притихли.

— Товарищи! А знаете ли вы, что все это брехня? Не верьте, товарищи! Посмотрите хорошенько на нашу жизнь... За что мы все так страдаем?.. Голод, война, эксплуатация... Капиталисты...

Халиму прервали недовольным шумом и криком...

— Довольно! Прочь его! Долой!

Какое-то время он еще боролся с ошалевшей публикой, выкрикивая отдельные, видно, неприятные для нее слова. Потом безнадежно махнул рукой и под громкие вопли спокойно направился к выходу. Подойдя к Лесницкому, еще раз махнул рукой, скорчил презрительную гримасу:

— Разве им понять? Публика... Тьфу! Бур-жуа-зия... Пойдем, Василь, нам тут не место...

Когда вышли на улицу, Лесницкий пригласил Халиму к себе. Тот отказался. Проводить его тоже не разрешил.

— Не хочу... Я пьян, что ли? Будь здоров!

И вот остался у Лесницкого от этой встречи какой-то неприятный осадок на душе. Что-то совершенно новое услышал он от Халимы, да только как разобраться в словах выпившего человека. Решил вовсе не думать об этом, чтобы не забивать голову лишними сомнениями. Его мысли снова улетели в родное гнездо. Опять подумалось о скором отъезде.

Однако после этой встречи у Лесницкого родилось чувство симпатии к Халиме, которое оттеснило на дальний план прежнюю беспричинную неприязнь.

Лесницкий, Халима и Славин собирались в одну дорогу. Договорились ехать одним поездом, чтобы в пути было веселее.

Накануне отъезда Лесницкий со Славиным пошли проститься к Матрунину. Старик с искренним теплом пожал ребятам руки и просил поберечь себя, свои силы, здоровье, чтобы надолго сохранить молодую энергию для народа. Он напомнил о прежних беседах, об их обещаниях продолжить дело старых революционеров. Вместе с тем предостерег от возможных ошибок и чуждых влияний. Перед тем как отпустить, он даже благословил их и отвернулся, чтобы скрыть набежавшие слезы.

Ребята тоже расчувствовались. Возвращались домой молчаливые, и только миновав несколько кварталов, Славин не спеша высморкался и сказал:

— Замечательный человек...

Лесницкий вздохнул.

— Да, это верно. Таких, как Матрунин, не много встретишь на своем пути.

Затем снова шагали молча, отдавшись во власть своих мыслей.

Возле дома Лесницкого с минуту тихо постояли, договорились встретиться на вокзале и, пожав друг другу руки, быстро разошлись.

Поезд отправлялся в восемь вечера, но ученики стали собираться уже в шестом часу. На вокзале было полно народа. Среди огромной серой массы солдатских шинелей, среди бесчисленных узлов и мешков ребята носились, как юркие мыши, разрезая ровный застывший гул вокзала свежим смехом и криком. В станционном зале встречались друг с другом так, как будто полгода не виделись.

— А-а-а!..

— Степка!

— Микола!

— Билет уже взял? Не дают еще?

— Здравствуй, Сашка, друг мой милый!

— Привет, дружище, черт тебя задери! Ты уже здесь?

Лесницкий явился раньше всех своих попутчиков. Его пришли провожать Андрей и Нина. Билетная касса была еще закрыта, и они втроем стали у входа, чтобы легче было отыскать остальных ребят. Ждать долго не довелось. Вскоре они увидели Славина, который, ни на кого не обращал внимания, упорно продирался сквозь толпу и отчаянно защищал свои очки и котомку. Они окликнули его. С минуту он невразумительно ощупывал все вокруг себя подслеповатыми глазами, потом наконец увидел их и резко изменил направление. Подошел потный, измученный, но с мягкой и добродушной улыбкой на лице.

— А Халимы нет еще?

— Нет.

Славин отошел к стене, вытащил из кармана носовой платок и стал протирать стекла очков.

А через некоторое время пришел и Халима. Вид у него был по-настоящему походный. На нем была короткая поддевка, туго перетянутая солдатским ремнем, за плечами висел солдатский походный мешок, а сбоку задорно болталась металлическая фляга — видно, пустая. Он был весь мокрый от пота, но держался бодро и важно. Когда подошел, вначале не спеша поздоровался со всеми, затем спросил о времени отправки поезда и только потом уже стал снимать с плеча свою котомку.

У Лесницкого было на редкость хорошее настроение. Ему хотелось петь и смеяться, хотелось что-либо выкинуть из ряда вон выходящее. И только потому, что ничего подобного сделать нельзя было, в груди сильно забилось сердце, к горлу подкатил нервный комок.

Все окружающие его собеседники казались ему в эту минуту необыкновенно приятными и милыми людьми. На Нину он даже взглянуть не мог без нежной светлой улыбки. Такой хорошей и доброй она выглядела сейчас. И ребята тоже... Быть может лишь Андрей один по-прежнему немного волновал его своей неизменной многозначительной ухмылкой. Стоит, чуть-чуть склонив набок голову, и слегка подергивает ногой, внимательно рассматривает всех вокруг смелым задорным взглядом и едва заметно себе ухмыляется. А чего? — неизвестно.

Наконец стали давать билеты. В один миг возле кассы выросла длинная очередь, конец ее протянулся даже в соседнюю комнату. Ребята за разговором совсем забыли, что им тоже надо брать билеты и кинулись было занимать очередь, но Халима на полпути задержал их. Он не спеша перекинул через плечо свой мешок (наверное, для большей важности) и потребовал:

— Давайте деньги!

Все недоуменно переглянулись и полезли в карманы.

Минут через десять — пятнадцать он вернулся, весь потный, измятый, и с важным видом стал раздавать билеты.

— На все нужна смекалка...— гордо бросил он.

Все были рады, что не придется толкаться в переполненном зале.

До отхода поезда еще оставалось время, и ребята решили выйти на перрон подышать свежим воздухом.

Здание вокзала, посадочная площадка, железнодорожные пути — все было залито кроваво-красным отблеском: где-то далеко-далеко за городом, за силуэтами церквей и фабричных труб, умирал в густом багрянце огненный шар солнца. И оттуда, из этой сказочно-красивой дали, тихо веяло желанной весной и покоем.

По перрону стлался тонкий, нежный запах ранней сирени,— сирень дружно зацвела в окрестных палисадниках, и теперь местные красавицы грациозно расхаживали туда-сюда с большими пышными букетами в руках.

И заходящее солнце, и запах цветов, и приятное тепло весеннего вечера — все вместе наполняло сердце Лесницкого каким-то необыкновенно сладостным чувством, удивительно мягкой лаской. Ему вдруг снова захотелось петь, на этот раз тихо-тихо и напевно, как арфа, чтобы весна своим живительным дыханием зазвучала в душе неповторимо-очаровательной песней.

Стало обидно, что в эту минуту он одинок и находится вдали от знакомых крутых берегов Днепра, в зеркальных водах которого игриво сверкает заходящее солнце и звонко плещется рыба.

Вдруг ожила, зашевелилась толпа на посадочной площадке и дружно подалась ближе к путям,— вдали показался поезд. Поднялся шум, крик, люди готовились к штурму вагонов. Только теперь ребята поняли, что могут и остаться. Стали поспешно пожимать друг другу руки. Лесницкому бросилось в глаза, что Нина на какой-то миг дольше обычного задержала ладонь Халимы в своей, и лицо ее осветилось лучом грустной преданности. Халима же только посуровел, вырвал руку и резко повернулся, чтобы идти...

Лесницкому почему-то стало жаль Нину.

Началась посадка. Ребята во главе с Халимой кое-как протиснулись в дверь вагона, однако дальше тамбура пройти им не удалось. Много людей осталось на перроне.

Когда поезд тронулся, ребят охватило какое-то странное веселье. Они стали непривычно громко разговаривать, подпрыгивать от радости, петь песни, а Халима, заметив на окнах деревянные накладки, крепившие стекла, принялся их отламывать. Хорошо, что в тамбуре царил мрак и было полно народа — никакой кондуктор не мог протиснуться туда. Потом стали как-то устраиваться. Халима умудрился-таки пролезть в вагон. Славин присел тут же в углу, а Лесницкий остался стоять у окна.

На улице уже стемнело. За окном только мелькали искры,— казалось, они то ли кружатся в каком-то диком танце, то ли пустились вперегонки; Лесницкий, прислонившись лицом к стеклу, долго любовался ими. Затем ему стало казаться, что эти искры — живые существа, что, гоняясь в темноте, они толкают и опрокидывают друг дружку на землю, а некоторые из них с победным порывом поднимаются еще выше в ночное небо. И все куда-то спешат, трепещут в страхе, как бы не отстать.

Стоило же ему еще пристальней всмотреться в этот удивительный живой хоровод, как искристые огоньки сразу ста-

ли таять и исчезать в густой мгле. Правда, от этого ночной мрак как бы светлел, расплывался, и тогда воображение рисовало на нем самые фантастические и красочные картины. Перед возбужденным взором появлялись высокие горы, удивительные дворцы, море, песчаные дюны... Одна картина сменялась другой. Потом все это вдруг исчезло, и в поле зрения опять зарябили искры.

Наконец пропали и они,— очевидно, поезд повернул в сторону или ветер сменил направление. Осталась одна лишь черная пелена ночи.

Лесницкий продолжал смотреть в окно. Черная стена перед глазами давала ему теперь возможность уйти в самого себя, целиком отдаться своим чувствам, своим сокровенным мечтам. И вот, как из тумана, всплыла потерянная на миг в суете посадки милая радость. Сердце замерло в сладостной неге, все существо наполнилось ощущением скорой встречи. Перед мысленным взором возникли знакомые образы родных и близких.

С каждой минутой, с каждым ритмическим перестуком колес все дальше и дальше уходит город с его неумолчным шумом и напряженностью, с его извечными загадочными противоречиями. И это ощущение рождало внутри приятную легкость, приподнятость, какое-то радостное удовлетворение.

А там — деревня, такая милая и родная. Как ясно он представляет ее!..

Он снова пристально вглядывается в бездонную темень ночи, и перед глазами, словно наяву, проплывает отчий дом...

Вот старый отец облокотился на стол, подпер рукою голову и не спеша, важно рассказывает о сельских новостях, о хозяйственных делах и нуждах... Мать, орудуя ухватом возле печки, время от времени поправляет его, вставляет свое слово. И делает это таким тоном, как будто хочет сказать:

«Ты только его слушай... Что он знает? Но пусть себе говорит. Все равно завтра поутру уедет на мельницу, так я тебе как есть, со всеми подробностями, обо всем расскажу, да по-своему, как полагается...»

А вот и братик младший... Кажется, чего-то стесняется. Стоит молча у порога, низко опустив голову, и нежно гладит крохотного серого котенка. Хитер паренек! Стоит, вроде бы никому и не мешает, а ведь только того и ждет, чтобы старший брат поскорее заметил его, любимца всей семьи. Для этого-то и на руки взял котика. Уж он сможет поведать ему и как котилась кошка, и как одного котенка оставили, а остальных бросили в речку, и как он быстро растет, каким баловнем стал...

Но вот родной дом остается где-то в стороне, и перед глазами уже сельская улица. Он шагает по ней, а навстречу спешат старые друзья, весело улыбаются, протягивают руки. Его

все знают и он знает всех. Ведь росли-то вместе, в одни и те же годы. Правда, в первое время вроде бы чуток стесняются, но это только поначалу. Через день-два все пройдет, и они будут вести себя с ним, как и прежде...

Он идет дальше по улице и кого-то упорно ищет глазами. Непослушное сердце тревожно бьется в груди, заливает лицо краской. Ах вон они, молодцы, сидят на завалинке. И она там... да, да, вон она... белое лицо и темные глаза-вишенки. Он здоровается со всеми общим поклоном и не задерживается, проходит мимо. Только на нее бросает один незаметный взгляд. А она так мило и трогательно потупилась и, кажется, вся зарделась. Но исподлобья, как дикий, пугливый зверек, все же метнула глазом.

Сколько ласки и радости в этих дорогих глазах!

Милая Мокрина...

Милое село...

Горячее, растревоженное воображение Лесницкого рисует еще что-то неясное, туманное, но безгранично широкое и большое... То ли какое-то шумное собрание, то ли многолюдную процессию, а быть может просто необъятный простор со странными, непонятными пятнами... И он, Лесницкий, выполняет важное задание, отдает все свои силы, свою жизнь делу народа. Он преисполнен глубоким чувством ответственности, самопожертвования и героизма. Он — как Матрунин, как все старые революционеры...

Там, на селе, он знает, что надо делать, знает, к чему приложить свои силы. Там не так, как в городе. Там ему все ясно и понятно.

Эх, милое мое село...

И как приятно, что с каждой минутой, с каждым ритмичным перестуком колес все дальше и дальше уходит этот постылый город!

До чего приятно, что так стремительно мчится поезд, рассекая непроглядную темень ночи...

Эх, еще бы быстрее...

Чтобы — как птица, как молния...

Родное село! Милое мое село...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Зеленичи, родное село Лесницкого, растянулось узкой лентой вдоль берега реки. За гумнами, за неширокой — шагов на сто или двести — полянкой, по которой разбежались, гордо осев в земле, многовековые богатыри-дубы, залег в глубокую

берлогу седой Днепр, сторожко затаив в зеркальной водной глади свою напорную, стремительную поступь, предательскую силу своих мрачных и таинственных омутов.

С этой стороны берег обрывается высокой желтой кручей, на которой кое-где торчат черные ребра мохнатых корчей. Здесь Днепр грозно хмурится темной бездною. Здесь он, как коварный хищник, замедлил свой бег, прикинулся тихим, мирным, но в любой миг готов наброситься на неосторожную жертву и поглотить своей страшной пастью. А в погожие летние дни бездна выглядит сизо-прозрачной, ласковой и приветливой. Тогда хорошо видно, как в теплой воде живо суетятся резвые уклейки, как между ними важно прогуливаются, полные горделивой грации, молодые ельцы и голавлики. В такие минуты хочется окунуться в эту согретую щедрым солнцем бездну, чтобы разгадать ее чарующие тайны, чтобы позабавиться с ее юрким, ловким населением.

С противоположной стороны воды Днепра прячутся под низко нависшие ветви густого лозняка. Лозняк укрыл дальний берег плотным, густым пологом зелени; берег сам невысокий, ровный и напоминает один сплошной куст, подстриженный заботливой рукой садовника. А еще дальше, за зеленой прямой лентой, широко-широко разостлался шелковистый ковер заливных сенокосов. В летнюю пору травы на них в рост человека. Какое тогда раздолье игривым речным ветрам завивать податливую чуприну в мягкие бархатистые косы. А каким неповторимым изумрудным блеском переливается тогда в травянистых волнах солнце...

Красиво летом в Зеленичах!

Одной стороной село подступает к самому лесу. А лесу тому нет ни конца ни края. Он уходит далеко-далеко вниз по Днепру, и чем больше углубляешься в его нехоженые дебри, тем отчетливее ощущаешь дыхание его извечной дикости, тем сильнее очаровывает он глухим звоном своей тишины.

Летом в лесу бывает много ягод и грибов. В праздничные дни там всегда шумно от птичьих трелей и песен непоседливых молодиц, от смеха и крика деревенских шутников. Лесные опушки наполняются тогда молодой звонкой жизнью, и в этой жизни — бодрой, солнечной — удивительная гармония счастья и светлой радости.

По вечерам же, когда вокруг зажужжат ночные жуки и начнут свои бесшумные полеты острокрылые летучие мыши, когда на завалинке у вдовы Ходоры негромко и монотонно заворкочут деревенские бабки, а в компании молодцев, собирающихся в ночное, дед Левон затянет «Саву», когда на село опустится ночной покой,— над Днепром тогда высоко взовьется звонкая белорусская песня, широко-широко разольется в протяжных чистых звуках надрывная печаль глухой и забытой деревни.

Удивительно хорошо в такую минуту пройтись одному по

глухому старому лесу, затем выйти густым кустарником к Днепру и молча слушать, как в серой пелене тумана приглушенно бьются чудесные сказочные звуки, как медленно тают они вдали за рекой, где мирно дремлют росистые сенокосы, где на песню отзывается один лишь скрипучий крик коростеля.

И еще хорошо тогда пристально вглядываться в перевитые густым туманом и таинственным ночным сумраком воды Днепра, вбирать в себя их немую тайну, созвучную очаровательной тишине дремучего леса. В те мгновения в душе невольно оживают тени очаровательных картин и необыкновенных событий, тени наивных детских грез. Тогда кажется, что над притихшей речной гладью медленно исчезает туманная пелена, и наверх всплывает неповторимой красоты девушка. Она осторожно смотрит по сторонам, наверное, хочет выйти на берег, чтобы покачаться на гибких березовых ветвях.

Быть может, это русалка? А может — сказочная Дева-Полонянка, что в море с солнцем плещется? Может, за нею уже где-нибудь из-за куста следит горячим взором счастливый Иванька, чтоб поймать и отвести к злому пану?..

Вдруг под самым берегом что-то сильно плеснуло. Это, видно, со злостью ударил хвостом по воде страшный Змей. Это он, наверное, готовится вступить в драку с храбрым и отчаянным Иванькой?

И конечно же, это не сова перелетела с дерева на дерево,— это изо всех сил спешит на помощь Иваньке старый мудрец белорусских лесов — черный Ворон, это он несет воду целебную, воду животворную.

И уж наверняка это не зорька далекая сквозь туманы густые пробилась, чтобы выкупаться в чистой студеной воде. Это поблескивает перо золотого Дря-Птаха, это он утерял его, спасаясь от ловкого Иваньки...

Эх сказки, наивные детские сказки!

Может быть, эта печальная девичья песня тоже сказка? А может, это лишь сон далекого детства?

Удивительно красиво летом в Зеленичах!

. . . .

В свободное от работы время Лесницкий обычно направляется к паромщику Савке, берет у него черную от старости, ужасно тяжелую и неповоротливую лодку и едет кататься. Выводит лодку на середину реки, кладет вдоль бортов весла, поудобнее откидывается на спинку кормы и плывет вниз по течению, всего себя отдав таинственной и могучей силе Днепра.

Испытываешь какое-то несказанное очарование в этом спокойном неторопливом движении по зеркально-голубому речному простору. Особенно в тех местах, где с обеих сторон

к воде вплотную подступает лес. Там — куда ни глянешь — все полно необыкновенной, сказочной красоты — тихой, приветливой, согревающей душу глубоким покоем, какой-то светлой умиротворенностью, ласковым солнечным теплом. На крутой высокий берег прямо от воды взбегают белоногой стайкой красавицы-березки, чтобы поглядеться в чистое блестящее зеркало Днепра. И такая у них удивительная и милая скромность, так просто и целомудренно бросают они свое отражение в синюю глубину вод, что невольно кажется, будто сильный, могучий Днепр становится еще добродушнее, будто расплывается он в ласковой старческой улыбке, будто все вокруг начинает радостно, тихо смеяться.

И человеку тоже хочется тихо улыбаться, хочется быть веселым и жизнерадостным. В умиленном сердце неожиданно рождается большая искренняя любовь ко всей этой красоте и очарованию, хочется обнять могучую грудь седого Днепра, обнять все, что видит глаз, что сияет такой изумительной прелестью.

Всего себя отдав на волю спокойно-широкого течения реки, Лесницкий обычно любил глубоко уходить в воспоминания о прошлом. И как бы в тон общему настроению, царившему в природе, вспоминалось только хорошее, светлое,— все, что очаровательным сном прошло по жизни и теперь превратилось в сказку.

Вспоминались далекие годы детства. Они так крепко срослись с Днепром, что, казалось, он только на Днепре и жил, что, кроме Днепра, ничего больше и не существовало в мире. Возможно поэтому он так сильно и полюбил старого седого дедушку, возможно поэтому и находит в нем такое милое очарование...

В детстве было славно. Вспоминается, как носились они — малые егозы — по берегу над самой водой, над мрачными, страшными омутами, как пачкались с ног до головы в сизую липкую тину — ловили рыбу. Тогда только и было забот, что накопать червей, мух наловить да отыскать хорошее тихое местечко, чтоб никто тебе не мешал, чтоб наловить больше других. А сколько радости, счастья было, когда после долгого, терпеливого ожидания, после острого и тревожного напряжения забьется, бывало, в руках серебристая плотвица или растопырит колючки свои, как поповская собака, шустрый ерш!

А уж в самую жаркую пору лета дружной компанией отправлялись вверх по течению, за небольшую речушку, что, прикрываясь густым кустарником, звонко бежит к Днепру. Днепр делает большую широкую луку, едва не на версту разгоняется в сторону, словно забыв, что надо вначале навестить село, и только потом, вспомнив, поворачивает вдруг назад, почти на прежнее место. У этой луки берега густо заросли лозою, среди которой кое-где попадались высокие кусты

черной смородины и цепкие ветви ежевики. И вот, когда созревали ягоды, у ребят наступала милая, веселая жизнь. Они тогда не покидали заросли, устраивали в них потайные ходы — проводили там целые дни, как кроты в своих подземных норах. Нередко случалось, что кто-нибудь из ребят, забыв в играх обо всем на свете, бултыхался в воду, сорвавшись с предательского куста; к счастью, в тех местах возле берега было не очень глубоко,— неудачник, весь мокрый, на четвереньках карабкался по крутому склону под громкий хохот друзей...

А еще вспоминается Лесницкому осенняя пора. Сильные ветры оголяли прибрежный кустарник, делали его пустым и прозрачным, открывали взору скрытые до этого в густой зелени причудливые полусгнившие корчи. На той же луке, когда пасли лошадей, они раскладывали костры, плели из гибких лозовых прутьев лукошки, мастерили из ветвей трубки и раскуривали в них подсушенные у огня листья ольховые. Пекли еще картошку в золе, боролись друг с другом, пели хором песни, которые сами же и сочиняли.

Но Днепр уже был не тот, что летом, выглядел он каким-то чужим и неприветливым, всегда морщился, дул на берег промозглой сыростью и холодом. Словно бы злился, что его все еще продолжают беспокоить в это позднее время, когда он собирается на несколько месяцев — до весеннего солнца — отойти ко сну, надежно укрывшись тяжелым ледяным одеялом. И понятливые ребята страшились тогда Днепра, не тревожили, держались от него подальше. Кто знает, что он надумал в темные осенние ночи, что прячет под своими глубокими седыми морщинами.

Воспоминания о далекой осенней поре оживили в сознании Лесницкого еще одну яркую картину, один волшебный сон, в котором так странно переплелись черная горечь с нежданной и большой радостью. Было это уже значительно позже, было это совсем недавно. С того времени прошло лишь три года. Однако и этих трех лет оказалось достаточно, чтобы освободить пленительный сон от неприятной и обидной горечи, покинув при этом одну только милую сердцу радость.

Лесницкий, помнится, как-то совсем случайно вернулся из школы. Он уже не помнит точно, как это получилось. Вероятно, несколько дней выпало праздничных, и он решил наведаться домой.

Стояла чистая, светлая осень. Было тепло, солнечно и все время тянуло на улицу. Хотелось куда-то идти — далеко-далеко, в одну сторону, в одном направлении. Он вышел из дому и направился к синеющему вдали лесу. Вначале шел берегом Днепра, любовался его неприступно-злым величием, затем долго слушал звонкие песни ветра, прилетавшие с той стороны, с голых пустых сенокосов.

В лесу он встретил Мокрину. Она сидела под широкой раскидистой сосной и тихо плакала. Корни дерева доходили до самого речного обрыва и, однажды вырвавшись из земли на свет — возможно это случилось во время весеннего паводка,— теперь беспомощно свисали над водой.

Увидев Лесницкого, Мокрина подхватилась и хотела было бежать, но он успел задержать ее.

И вот тогда наружу вышло все, что до этого у обоих таилось глубоко в душе. Было тогда много горячих слов, много было слез. А потом были и поцелуи.

Заливаясь горючими слезами, Мокрина рассказывала ему о своем горе.

Бедняжка! Ей так не хотелось выходить замуж! Она совершенно терялась, не зная, что делать. Все было в ее воле — она могла и отказать, но и так уже не было жизни.

Лесницкий старался как-то ее успокоить, говорил что-то, пробовал давать советы. Однако он, наверное, не понимал в ту минуту всей глубины ее горя. Он просто любил ее, девушка плакала, и ему до боли было ее жаль. Сейчас он толком и вспомнить не мог, говорил ли ей тогда выходить замуж или нет. Быть может, говорил и то и другое. Но ей было приятно, что он утешает ее, уговаривает. Потом она даже рассмеялась все еще мокрыми от слез глазами.

А как ей стало приятно, когда, заметив, что она дрожит от холода в своем бедном стареньком платьице, он укрыл ее полою своей ученической шинели. Ее, горькую наймитку, которую хозяин гонит из дому!

Милая! Она несмело поглаживала его блестящие пуговицы, она играла ими, как малый ребенок новой красивой игрушкой...

Все это было совсем недавно. Всего лишь три года прошло. Однако время до дна испило былую горечь, и теперь те дни вспоминаются, как сладостный сон, как очаровательная сказка...

Затем Лесницкий уехал учиться, Мокрина вышла за нелюбого замуж и год с ним прожила, пока его не забрали в солдаты. Тот страшный год замужества и отложил на ее устах горестную печать — печать душевной муки и отчаяния.

Ох, эти воспоминания!.. Как они прекрасно и ярко окрашивают события прошлого, как старательно очищают их от черной грязи, от ненавистного житейского мусора. Какой чудесной и светлой кажется в мире этих воспоминаний сама жизнь!

И как приятно, как славно предаваться им, когда твой челн беззвучно скользит по зеркально-голубой глади Днепра, среди притихших деревьев и жаркого солнца, среди звонких птичьих голосов! Как сладостно тогда сжимается сердце, как перехватывает дыхание от этих живых, ярких ощущений!

Воспоминания, в конце концов, возвращают Лесницкого в лоно повседневной действительности. Но возвращают почему-то всегда одной только дорогой — цветистой, раскрашенной. Видно, и повседневная действительность поэтому кажется в такие минуты розовой, поэтому и не возникают в сознании ее грубые проявления, как будто забывается на миг все тяжкое и неприятное, так часто встречающееся в жизни и наполняющее душу тупым безразличием.

Как-то сами по себе, помимо воли, вьются мысли вокруг Мокрины; перед глазами медленно проплывает ее образ, распаляя в груди хорошо знакомое радостное и желанное волнение.

Особенно глубоко запал в сердце первый вечер, который провел он с нею по приезде в деревню. Последующие дни уже слились в одно горячее, упоительно-сладостное ощущение, заслонившее собою решительно все. А тогда, в тот памятный вечер, весь окружающий мир светился по-особому, какой-то удивительной свежестью, необыкновенным богатством красок, чувства были, как никогда, чистыми и трогательными.

По небу тихо плыл тогда чисто вымытый молодой месяц, а над Днепром высоко ввысь взмывали задушевные девичьи песни. Лес от лунного света выглядел каким-то насторожённым, полным таинственных звуков. Казалось, он к чему-то прислушивается, за кем-то следит. Невольно голоса их с каждой минутой становились все тише и тише. Потом они совсем перешли на шепот, и отдельные слова скорее угадывали по движению губ, побеленных матовым отблеском месяца.

При слабом ночном освещении он напряженно всматривался в ее лицо, стараясь уловить на нем едва заметную улыбку, и осыпал его поцелуями.

Он говорил ей:

— А вот этих крохотных морщинок на лбу раньше у тебя не было... Откуда они взялись?

И нежно целовал ее лоб, целовал эти крохотные морщинки.

— Глаза твои прежде тоже светились ярче. А сейчас они стали более глубокими и почему-то в них появился какой-то мрак...

И целовал ее глубокие черные глаза.

И смотрел на губы... В темноте с трудом различал печальную ее улыбку. Целуя в губы, едва слышно шептал:

— Ты моя крушиновая радость...

А она — тихая, покорная — смеялась и спрашивала:

— Почему крушиновая?

И не ждала ответа, ждала еще одного поцелуя.

Лес надежно хранил их светлые чары, щедро одаривал чудесными сказками. Лесницкий с шутливым видом пугал ее,

показывая на клочья тумана, призрачно проплывавшие над сонной рекой.

— Гляди, вон вылезают из воды утопленники... Они ищут нас, чтобы утащить с собою. Смотри, вон Гришка... Прошлым летом утонул. Видишь, протягивает к нам руки, идет в нашу сторону...

Она снова засмеялась.

— Да это ж туман плывет над рекой...

И жалась к нему — не от страха, от любви.

Таких вечеров, как тот, не много бывает в жизни. Наверное, поэтому и живут они долго в сердце, чтобы иногда всплыть в памяти и бросить сверкающий луч в серые будни жизни.

С того незабываемого дня и звенит в голове сладостный шум, с того дня жизнь пошла по-новому, стала какой-то странной — то ли яркой, солнечной, то ли грязной и мутной, как дождевой поток.

И как только Лесницкий начинает вспоминать об этом, как только в возбужденном сознании родятся обольстительные образы,— сразу же пропадает умиротворенное, спокойное настроение, появляется острое желание что-то делать, куда-то идти. Тогда он садится за весла и в напряженной работе пробует развеять этот прилив разбушевавшейся энергии.

Лодка быстро набирает скорость и птицей летит по водной шири Днепра. Кажется, все оживает вокруг, все наполняется заботой и стремительностью. Потому как сам полон этой стремительности, самому хочется мчаться в голубую даль, хочется острых ощущений, активной работы.

Но вот уже, вплетенный в молодой сосонник, к берегу спустился запущенный, дикий парк поместья Ловчино.

Верста. Теперь пора назад.

Лесницкий подгоняет лодку к берегу и медленным, черепашьим шагом поднимается в гору.

Незадолго до сходки к Лесницкому в хату зашла Мокрина. Ему это не понравилось. Он знал, его мать не любит Мокрину — за него не любит, чувствует, между ними что-то есть. А мать в то время была дома.

Мокрина с минуту постояла у порога, перекинулась словом-другим с матерью (та хозяйничала у печки), потом подошла к нему. На ней была обычная ее одежда — вышитое белое платье; выглядела девушка, как всегда, простой, тихой, как всегда наивно моргала своими ясными, словно у ребенка, глазами.

— Ты что делаешь — читаешь? Я, наверное, помешала тебе?

— Да нет, ничего... Присаживайся.

Он не знал, как вести себя с нею. До этого ему ни разу

не доводилось быть с ней на людях. Он чувствовал, как краска заливает ему лицо. А она села и молча уставилась на него. Потом взяла со стола книжку, стала медленно перелистывать. И он тоже молчал, с растерянным видом поглядывая то на Мокрину, то на мать.

Наконец Мокрина заговорила о деле:

— Может быть ты, Василь, тоже пришел бы на сходку? Сказали, что там будут говорить про солдаток, так может и ты что-нибудь бы добавил... Ведь тебя все охотно послушают... Сам знаешь, что за жизнь у меня. Все уже давным-давно отсеялись, а я все еще и не начинала... Что есть-то буду? Опять в наймитки придется идти...

Она обиженно потупила взгляд и умолкла. Казалось, пожаловавшись ему, ждала, что он немедленно что-то сделает для нее, сурово накажет всех, кто повинен в этом ее большом горе.

Лесницкому стало жаль Мокрину. И вместе с тем понравилось, что у него решили искать защиту, что с этой небольшой просьбы он-таки и сможет начать то великое дело, о котором мечтал, отправляясь в деревню. И он авторитетно стал успокаивать Мокрину:

— Конечно же, я приду на сходку. Я сделаю все, что только смогу...

В это время мать куда-то вышла по своим делам, и они остались вдвоем. Атмосфера сразу же изменилась. Обоим стало как-то не по себе: еще минуту назад они держали себя подчеркнуто сухо, официально, как будто впервые увидели друг друга, а теперь вот опять сидят рядом и снова близкие, снова, как и раньше. И оба растерянно смотрят перед собой: то ли продолжать начатую беседу, то ли поговорить о чем-нибудь другом.

Лесницкий наконец глянул на Мокрину, широко, открыто улыбнулся. Она ответила ему тоже улыбкой — такой знакомой и милой. Лесницкий наклонился к ней, поцеловал. И оба громко захохотали.

Домой Мокрина возвращалась успокоенная, уверенная в том, что нашла защиту.

Сходка собралась возле общественного амбара, который стоял в конце села на невысоком покатом пригорке. К приходу Лесницкого там уже собралось немного народу. На завалинке устроились хозяева постарше, наиболее почетные; остальные разместились на длинном, толстом бревне у стены, а кто и просто на голой земле. Молодежи почти не было видно — не в обычае это, чтобы всякая мелюзга да на сходках маячила. Являлись в основном серьезные, бородатые крестьяне. Но когда пришел Лесницкий, ему, подвинувшись, далитаки место на завалинке. Как-никак ученый, а не какой-то там деревенский лоботряс. На миг он даже растерялся, но, овладев собой, занял предложенное место.

Пока сходка не началась, крестьяне были заняты своими обычными житейскими разговорами. Лесницкий заметил, что люди как-то сами собой разделились на три группы: на завалинке сидели «уважаемые»,— они с серьезным видом говорили о погоде, о жите, о севе; вторая группа собралась вокруг Рыгора, который самовольно бросил фронт и долгое время скрывался по окрестным селам, сегодня он почему-то впервые появился открыто,— эти разговаривали вполголоса, но Лесницкий знал о чем: о войне, о порядках, о свободе, о большевиках; наконец третья группа столпилась возле Автюха — низкорослого деревенского скомороха с писклявым голосом, очень подвижного, курносого, с вечно взлохмаченными волосами. Автюхова аудитория вбирала в себя наиболее индифферентную часть населения, прописных деревенских скалозубов.

Лесницкий с интересом разглядывал всех и сам себе думал:

«Вот он, народ... То широкое поле для работы — большой и трудной работы, о которой так красиво говорил Матрунин... Но с чего начинать? Как подойти к делу? Вот взял с собою газеты, чтобы почитать... Но будет ли кто его слушать, нужны ли они здесь кому-нибудь?»

Лесницкий молча сидел среди стариков, не вмешиваясь в разговор. Они тоже не обращали на него внимания. В конце концов ему стало неприятно. Он поднялся и направился к группе Автюха. Вначале Автюховы шутки показались Лесницкому настолько неуместными, что вызвали в нем лишь удивление, но потом и его захватили, и он вместе со всеми стал громко смеяться.

Через несколько минут началась и сходка. Открыли ее чтением каких-то бумаг, не то из волости, не то из уезда. Сразу трудно было понять, приказы это или обычные воззвания. Писалось в них про свободу, про защиту отчизны, про пожертвования на армию, про выдачу дезертиров и так далее. Когда стали читать про дезертиров, все с улыбкой посмотрели на Рыгора. Автюх незаметно подкрался к нему сзади и громко закричал над самым его ухом:

— Держи-и-и!

Все собравшиеся дружно захохотали. А когда чуть притихли, староста сказал, разведя руками:

— Ну что вот с таким поделаешь... Хоть бы ты, сукин сын, бога побоялся да нас не подводил... Сидел бы себе на печи где-нибудь... А то ведь — пожалуйте вам! — на сходку явился!

Сельчане снова разразились дружным хохотом. Рыгор что-то кричал, поворачиваясь во все стороны, но его никто не слушал. Это был высокий, худощавый мужчина с мелкими чертами лица, заросший короткой и жесткой, как щетина, рыжей бородой. Выражение у него было резкое и злое, поэтому он и казался некрасивым. Особенно портила его болез-

ненная, полная едкого сарказма, ухмылка. Она выдавала в нем злого задиру, который никогда никому не даст спуску. Это был человек, которого вначале надо было как следует узнать, а уж потом избавляться от неприятного впечатления, обычно появлявшегося при первой встрече с ним.

Когда люди немного угомонились, Рыгор вдруг подался вперед и заговорил высоким, резким голосом:

— Ну что ж, хватайте меня, если хотите, выдавайте... Выслуживайтесь, может, что-нибудь и заработаете... может, землицы прибавят, леса на хату дадут... Попробуйте... А может, и в лакеи возьмут к пану на службу... ха-ха-ха...

Но тут он резко изменил тон — как будто собирался произнести речь. Казалось, сейчас он скажет самое главное. Все насторожились, замерли на месте, готовые слушать. А он закричал звонким, как металл, голосом:

— А ты сам иди-ка повоюй, если желание особое имеешь. Иди защищай эту «свободу»... покорми вшей, посиди по шею в болоте, подставь свой широкий лоб под немецкую пулю... Кому это надо, скажи, тебе надо? За тебя это головы кладут, а? Вон за кого! За того, к кому ты на поденщину ходишь... А если не ходишь, так пойдешь... Повоюешь еще с полгода... Дураки вы, мужики, вот что я вам скажу! Поэтому и ездит у вас на шее всякий, кто того пожелает...

Рыгор хотел еще что-то сказать, но тут поднялся невообразимый шум, и уже ни одного его слова нельзя было расслышать. Все разом загудели, стараясь друг друга перекричать,— как это часто бывает на сельских собраниях. Ничего толком нельзя было понять, о чем идет речь. Правда, веселые смешки скоро прекратились — люди спорили горячо и серьезно.

Лесницкий старался хоть что-нибудь разобрать в этом беспорядочном людском гомоне, уловить в нем хоть крупицу ясности, чтобы понять общее настроение толпы. Он с трудом протиснулся в самую ее середку и прислушался. Один говорил о земле, другой про коня, третьего занимала его старая хата, четвертого — овин. У каждого были свои хлопоты, свои беды и тревоги. Но получилось так, что все эти людские заботы как-то сами по себе, органически слились в одно целое, тогда картина человеческих мук и страданий обрела совершенно иной вид,— Лесницкий увидел перед собой широкое море крестьянского горя, нищету и унижения.

Это был голос народа.

Лесницкий слышал его. Ему вдруг показалось, что он — крохотная песчинка, затерявшаяся в безбрежной пустыне, маленький-маленький человечек, никем не замеченный в огромной массе суровых и возбужденных людей. Какими-то смешными детскими игрушками выглядели теперь его розовые мечты и смелые взлеты юношеской фантазии, с которыми он приехал в родные места. Над ними грозной силой сей-

час витал глас народный, этот неумолчный, грозный ропот.

А в это время растерявшийся староста старался успокоить своих сельчан. Он размахивал руками, что-то кричал и бесконечно бросал в толпу:

— Граждане! Граждане!

Наконец с большим трудом ему удалось навести порядок. Шум утих, и можно было продолжать сходку. Лесницкий вдруг заметил, что сзади, за мужчинами, стоит небольшая группка женщин и среди них Мокрина. Ему почему-то не понравилось, что она тоже здесь.

А староста продолжал:

— Так вот, мужчинки, значит, насчет солдаток... Что с ними делать будем? Здесь есть приказ, но и мы с вами не скотина, кое-что понимаем... Ясное дело, нельзя, чтоб подохли без куска хлеба... ведь воюют же, кровь проливают за отчизну, можно сказать, за свободу... (И он сам застеснялся своего неуместного красноречия). Так как, старички, а?

Все молчали. Только из дальнего конца толпы кто-то несмело и туманно выкрикнул:

— Ну что ж! Пусть будет так...

Второй добавил:

— Известное дело!

Остальные вроде бы ничего и не слышали — тихо шептались между собою.

Заговорили тогда сами солдатки. Они говорили все вместе монотонным, привычным к постоянным жалобам, голосом, в котором ясно звучала нотка недоверия и безнадежности. Словно бы говорили только потому, что уже привыкли говорить всюду, где можно высказать свои обиды, где их будут слушать, а тем временем думали про себя:

«Как бы не так... Дождешься их помощи... Надо что-то другое предпринимать, иначе пропадешь ни за что».

Возможно, кто-нибудь из них в эту минуту прикидывал иначе: как бы половчее повернуться, как бы получше повести глазами, чтоб понравиться кому-либо из мужчин — тем, кто побогаче,— с кем есть смысл погулять да потешиться...

Мужчины не остались безразличными, тоже стали шутить, улыбаться. Автюх, не теряя попусту время, уже рассыпался мелким бесом вокруг женщин, бездумно и глупо повторяя своим писклявым голоском:

— Бабы-бабы, бабоньки... Бабы-бабы, бабоньки...

Некоторые из солдаток поддались было на шутки мужчин, стали им отвечать тем же. Но вот вперед вышла высокая, худая, с длинным носом женщина, мужа которой недавно убили на фронте. Всем сразу как бы совестно стало, когда она заговорила. Вид у нее был какой-то застывший, трагичный. Отражалось это и на болезненно-синем, резко очерченном лице, и в голосе — грубом и суровом, полном нескрываемого презрительного укора.

— И как вам не совестно! А еще мужчинами называются, хозяевами... Какой же здесь смех? Над кем смеетесь? Разве мы виноваты, что сиротами остались... Позабирали у нас мужей, постреляли, как овец... Что ж нам теперь-то делать остается, а? Какой здесь смех? Вместо того, чтоб помочь вдовам, они шуточки решили строить... А у нас дома, может, детки хлеба в глаза не видят, а не то что...

Вслед за ней заговорила Мокрина, стала жаловаться на свою горькую долю. Серьезность и известная трагичность момента придали ей смелости. Лесницкий с нескрываемой тревогой замечал, как голос ее с каждой минутой начинал дрожать все сильнее и сильнее, как все больше наливались ее глаза слезами.

И вдруг она заплакала. Не так, как это обычно делают деревенские бабы, не заголосила, а как-то смешно, не умея, захныкала, будто ребенок.

Лесницкому стало не по себе. Он понимал, сейчас ему никак нельзя промолчать... Да и самому хотелось выступить, потому как слезы Мокрины острой болью отозвались в его душе. Но он очень боялся, как бы потом не смеялись над ним деревенские остасловы,— ведь многие знали или догадывались про их близкие отношения.

И Лесницкий продолжал молчать. Вспоминал свое обещание, данное Мокрине, и сгорал от стыда,— никак не мог побороть себя и выступить в ее защиту.

Неожиданно для всех снова подал голос Рыгор. Лесницкий услышал, как он сердито прикрикнул на Мокрину.

— Тише, дурочка! Чего хнычешь?

Затем повернулся к собранию и заверещал своим негромким голоском:

— Вот вам, вижу я, все смешечки... А за что, скажите, бабы мучаются, за что осиротели дети? Почему бы вам не помочь им, почему бы не прийти да не засеять им поле, а? Вам бы все только свалить на мужика. Все на его шею, так, что ли? Ничего себе! Мужик крепок, он потащит, ха-ха-ха! А кабы что мужику, так дулю ему с маслом... Вот оно как получается, ох-ох-ох!.. У них, видите ли, земля, у них богатство, а ты себе мучайся да помирай с голоду, семья корки хлеба не видит...

Его прервал староста.

— Не мути воду, Рыгор! Если решил сказать, говори дело, а не мели языком, как балаболка...

Рыгор разозлился не на шутку.

— Ты считаешь, я мелю языком, и все тут? Нет, братец, еще неизвестно, кто что какое... Вы вот послушайте меня, граждане! Послушайте, что я скажу... Мужчины! Сами видите, надо подсобить солдаткам... У Мокрины вон и клин еще на вспахан. Когда же сеять? Так вот и я засею ей все как есть. Только пусть собрание даст слово, что никто меня не за-

цепит, что ни один человек не покажет на меня... Ну как? Согласие будет аль нет? Пойду к Мокрине в примы... Как ты, Мокрина, даешь согласие или не даешь?

Мокрина тихо засмеялась. Лесницкий весь горел от стыда перед нею да еще от какого-то едкого, как щелок, чувства. Староста не знал, как отвязаться от Рыгора. Мужчины расплылись в улыбках, по-человечески теплых, искренних, без злых шуток и осмеяния.

Разве только насчет примов подпустили несколько добродушных реплик. Кто-то многозначительно кивнул в сторону Лесницкого, кто-то вспомнил про мужа. Потом со всей серьезностью стали обсуждать вопрос и назначили комиссию. Солдатки, довольные, весело улыбались. Возле них уже терлись наиболее разбитные мужчины. Мокрина что-то восхищенно говорила Рыгору. Лицо ее горело радостью, ясные глаза светились благодарностью.

Лесницкий покинул сходку с тяжелым и мрачным настроением, с неприятной болью в сердце. Ушел сразу, как только объявили собрание закрытым, хотя остальные не спешили расходиться, все еще продолжали шутить и смеяться. Мокрина тоже задержалась. Лесницкому показалось, что она даже не оглянулась, не заметила его ухода.

Было это в воскресенье, и Лесницкий поэтому не знал, как убить время. Домой идти не хотелось, не хотелось ни с кем встречаться. Надо было побыть одному, чтобы хоть немного успокоиться и привести в порядок свои мысли и растревоженные чувства. Не спеша он подался в сторону Днепра, нашел там укромный уголок и прилег под раскидистым ольховым кустом, задумчиво уставившись в тихую бездонную голубизну неба.

Высоко над головой медленно плыли белые облачки. От их легкого движения слегка кружилось в голове; казалось, сам летишь куда-то ввысь или катаешься на огромных и легкокрылых, как сам ветер, качелях, неслышно, словно тень, носишься в прозрачном воздухе.

Лесницкий лежал, подложив под голову руки, и чувствовал, как постепенно успокаивается сердце и перестает стучать в висках кровь, как покидают его неспокойные мысли. Словно он где-то далеко-далеко оставил все свои горькие обиды, тяжким грузом давившие на сознание.

Но это приятное ощущение длилось не больше минуты. Потом вдруг снова все ожило, всплыло наверх — и жгучий стыд, и волнение, и обида. Обида больно сжала грудь, захватила дыхание, к горлу горьким комком подступили слезы. Тогда он уткнулся лицом в траву и заплакал.

А чего заплакал — Лесницкий, пожалуй, и сам толком не знал. Просто показалось, что он совершенно не приспособленный к жизни человек, что не может осуществить своих замыслов, что живет он оторванно от мира и людей, что оди-

нок на всем белом свете и его никто не любит, не замечает.

Ему было невдомек, что в то время он только начинал свой самостоятельный путь в жизни. А ведь в начале этого пути подчас сколько бывает обидных и горючих слез! С ними человек растет, мужает, с ними формируется его духовный мир. Потом, с годами, бывает, конечно, смешно от всего этого, но в пору юности подобные минуты полны неподдельного, милого трагизма.

Выплакавшись до конца, Лесницкий снова устремил свой взгляд в чистое, голубое небо и стал трезво оценивать все, что с ним произошло.

Подумал о Мокрине. Как там она, наверное, крепко обиделась?.. Быть может, теперь и порядочным человеком не назовет? Ведь заступились за нее фактически чужие, посторонние люди... Рыгор этот непутевый... И только он, Лесницкий, слова не проронил в ее защиту. Одно лишь знал: наслаждаться ее лаской и любовью, и ничего больше. Зачем она ему? Пусть гибнет с голодухи...

Конечно, теперь уж она хорошо знает, что он за птица, до конца раскусила его!

От ужасного стыда и обиды опять заныло сердце. Захотелось повидать Мокрину, по душам поговорить с ней. Не оправдываться, ведь это было бы смешно... Просто узнать, как она сейчас относится к нему и что думает.

Лесницкий решительно встал и пошел назад в деревню разыскивать Мокрину. Но, прежде чем нашел ее, наткнулся на небольшую группу молодых и старых сельчан, столпившихся возле Левоновой хаты. В центре этой группы сидел на завалинке безногий Аксент и что-то рассказывал, очевидно, делился своими боевыми воспоминаниями. Чуть в сторонке стоял дезертир Рыгор. Лесницкий сразу увидел его мелкое невыразительное лицо, на котором играла знакомая едкая ухмылка.

Лесницкий решил подойти, послушать. Как только Рыгор заметил его, почему-то сразу сделал шаг в сторону, освободив место рядом с собою. Лесницкий подошел и охотно занял его.

— Все еще учишься? — безобидно спросил Рыгор.

— Да нет, уже закончил...

— Закончил? Значит, теперь будешь подыскивать себе подходящую службу?

— Нет, думаю пока задержаться дома на хозяйстве, рабочие руки нужны...

Рыгор как-то странно заулыбался.

— А что ты думаешь, сейчас, наверное, выгоднее работать в деревне, правда?

— Не в том дело, мне просто хочется немного пожить у себя дома...

Лесницкий вспомнил, что когда-то Нина задавала ему точно такой же вопрос. Конечно, та спрашивала от нечего

делать, чтобы подразнить, он это хорошо знает. А у этого явная зависть... Неприятный он человек!

А Рыгор опять с вопросом:

— Говорят, газетку выписываешь... Вот бы зайти как-нибудь да почитать...

— Выписываю... Заходи.

— А какую, если не секрет?

Лесницкий назвал.

— Ничего газетка. У нас, на фронте, большевики хорошие выпускали газетки. Уж если пропишут кого — только держись! Так проберут... Доставалось и помещикам, и буржуям, и попам... Любота!..

Кто-то с нетерпением его прервал:

— Оставь ты уже большевиков своих в покое... Носишься с ними, как с писаной торбой... Нашел небось по себе...

Рыгору только это и нужно было. Со всей накопившейся злостью он накинулся на беднягу.

— Конечно, ты лучше всех, ты самый большой умник... Уж ты-то объяснишь, где, что и как. Удивительно, что до сих пор тебя в министры не взяли... Эх ты, дурень набитый... Знаешь ли ты, что болтаешь?.. Заучил, как та мартышка: по себе, по себе, а сам-то понятия никакого не имеешь... Вот скажи мне, умник, кто за то, чтобы землю крестьянам отдать, а? Да только тебе не нужна земля, своей хватает, ха-ха-ха! Жди-погоди, когда тебе Керенский землицу даст...

Тот уже и не рад, что зацепил Рыгора, только махнул рукой:

— Вот еще! Буду я ломать себе голову, кто за что выступает...

— Вот и поломай, если она у тебя никуда не годится, понял?

Мужчины сочувственно захохотали. Лесницкий собрался было и свое слово вставить, но потом передумал, побоялся, что спор затянется и он не сможет разыскать Мокрину. Уже уходя, бросил Рыгору:

— Так заходи в свободную минуту.

— Хорошо, зайду...

Произнес Рыгор эти слова с какой-то странной нескрываемой иронией, словно бы хотел сказать: — Знаю, что не хочешь меня видеть у себя в хате, хорошо знаю, но все равно приду, можешь быть уверен...

Лесницкому стало обидно. Ведь он со всей искренностью приглашал, без всякой задней мысли.

На улице Мокрины не было видно, и Лесницкий решил зайти к ней в хату. Жила она одна (муж еще раньше отделился от родителей) в крохотной халупке в переулке. Поэтому он смело зашел во двор — был уверен, никто его не увидит. Разве только кто-нибудь дома у нее будет.

Мокрина в хате была одна. Она удивилась, увидев на пороге Лесницкого.

— Батеньки! Какими путями-дорогами ты забрел ко мне? А я подумала, кто это там в сенях топчется?

Она стояла над раскрытым сундуком. На скамейке была аккуратно разложена одежда.

— Ты что — в сундуке порядок наводишь? Может замуж собираешься?

— За кого замуж? Разве что за тебя?

— Зачем же? Отыщутся получше меня...

— Если за тебя, то пошла б...

И она кокетливо улыбнулась.

Лесницкий промолчал.

— Вот нашлась свободная минута,— продолжала Мокрина,— решила привести вещи в порядок. Ну, присаживайся... Ты у меня редкий гость...

Он присел на край скамейки. Она продолжала свою работу. В окно заглянуло багровое на западе солнце, его лучи легли мягкими, дрожащими пятнами на скатерть. Солнце на скатерти — на белой, восьминитьевой — сразу наполнило хату каким-то особым семейным уютом, а сердце Лесницкого — нежностью и теплом.

— Мокрина! Ты на меня не сердишься, что сегодня на сходке я ничего не сказал?

— Да нет. Ведь и так все обошлось хорошо... Рыгор — молодчина... Хороший он человек. Если б не он, может ничего и не вышло бы. Крысы эти противные — им хоть бы что... Смотреть тошно на них.

— Я промолчал только потому, чтобы потом не смеялись над нами. Сказали б, что вот защищает, заступается за нее, лишь для того, чтобы... ну, ты сама знаешь...

— Все это чепуха... Не будем об этом...

Мокрина тихо запела какую-то песенку. Красный луч солнца скользнул по ее плечу, осветил нижнюю часть подбородка и щеку. Щека стала розовой и бархатистой, словно абрикос.

— Мокрина! Ты придешь сегодня ко мне на свидание?.. Ты знаешь куда...

— Приду... Почему же...

Произнесла она эти слова так просто и искренне, что у Лесницкого сразу отлегло от сердца, и он бросил на нее взгляд, полный благодарности и любви. Затем подошел поближе и замер: долго молча смотрел на нее и восхищался. Мокрина прижалась к его груди и тихо прошептала:

— Ну, поцелуй меня...

Уходил Лесницкий от Мокрины совершенно успокоенным. Душа полна была светлых и радостных чувств.

И лишь где-то глубоко-глубоко в сердечных тайниках уловил он легкую тень разочарования.

С тех пор прошло недели две. Лето было в разгаре и щедро рассыпало вокруг тепло и радость жизни. Природа сияла красой и своим богатством. Земля под горячими солнечными лучами словно таяла, наслаждаясь в душной сладостной неге; эта нега захватывала людей и животных, лишала их силы и бодрости. Дни следовали один за другим — чистые, светлые, радостные.

И странное дело, они как нельзя больше соответствовали настроению Лесницкого — воедино сливались с тем испепеляющим жаром, в котором горела его взволнованная душа. Дни и ночи стремительно сменяли друг друга, заслоняя собою окружающий мир,— над всем витала какая-то тяжелая дрема, перед глазами расстилалась светлая туманная пелена.

Лесницкий знал, все это — болезненное, неестественное. И сознательно распалял себя, старался полностью отдаться на волю острых чувств, надеясь только ими жить, потому что невыносимым грузом давила неясность, тревожная действительность черной тучей преследовала человека по пятам,— и не было никакого просвета.

И Лесницкий постепенно стал приходить к мысли, что это счастье. Долго думал и удивлялся своим выводам: оказывается, все значительно проще и обычнее. На память приходили недавние душевные порывы, несбыточные мечты, и он с горькой иронией улыбался сам себе,— до чего все было несерьезным и наивным...

И старался не думать об этом, старался думать только об одном — о славной, преданной ему Мокрине, о ее милых и горячих ласках.

Но вот совсем незаметно пробежали две недели, пошла третья. И Лесницкий вдруг почувствовал, что вопреки его воле начинает рассеиваться и пропадать сладостный бред, все чаще и чаще в душу проникает ощущение какого-то тупого пресыщения, и становится — опять-таки вопреки воле — обычным то, что еще недавно не давало покоя, жгло огненным жаром, заставляло трепетно биться сердце.

И тогда почему-то стало страшно. Стало страшно за себя и Мокрину, стало страшно за свой покой, за то, что он до этого называл счастьем. Он с тревогой начал следить за собой, за каждым движением своих чувств, старался вернуть их остроту, искусственно поддерживать прежний огонь. Однако его усилия не приносили желанных результатов, продолжало нарастать чувство пресыщения, с каждым днем все больше холодало нутро.

Тогда Лесницкий стал настойчиво искать уединения. Когда ничем не был занят, шел в лес, забирался в самые глухие дебри и долго-долго бродил без всякой цели, пока не начинала кружиться голова и не наступало глухое бездумье. Было что-то болезненное в этой ходьбе, лихорадочное. Как будто Лесницкий хотел убежать от невидимого врага, хотел запу-

тать свои следы. Случалось, незаметно для самого себя он забредал в такую заболоченную глухомань, откуда, казалось, и выбраться невозможно было. И такие минуты доставляли ему удовольствие,— он ходил, блудил в поисках выхода, радовался, что нашел-таки себе занятие, что нашел, куда направить свои навязчивые мысли.

Однажды (было это тоже в воскресенье) забрел он в густой сосняк, вплотную примыкавший к парку усадьбы Ловчино. Там царила мягкая глухая тишина, насыщенная теплым смоляным ароматом. Казалось, молодые стройные сосенки замерли в торжественной молитве и боятся нарушить окружающий покой даже едва слышным шорохом, боятся ступить на бархатистый пышный моховой ковер. Стоят красивые, смиренные — застыли в святой неподвижности.

Лесницкий подсознательно уловил эту тихую торжественность. Он невольно замедлил шаг, осторожно ступал по густому податливому ковру и каждый раз вздрагивал, когда под ногу попадала сухая хворостина. Этот пахучий зеленый сосняк, эта мягкая лесная тишина, даже густой запах свежей живицы были полны какой-то глубокой таинственности — странной и нелепой среди ясного солнечного дня.

Совершенно неожиданно Лесницкий заметил девушку. Он сразу узнал ее — не раз видел, как вихрем пролетала она через село на своем стройном и быстром иноходце. Это была барышня Раиса — дочь помещика Янова.

Девушка не заметила Лесницкого. В ту минуту она целиком была поглощена своим делом — прикрепляла на груди какой-то голубой цветок, который, очевидно, только что нашла. У нее, кажется, ничего не получалось — мешало лукошко с грибами, которое она почему-то не догадывалась поставить на землю и продолжала держать под мышкой.

Лесницкий и раньше иногда встречал барышню и всякий раз любовался ее необыкновенной красотой. Но теперь, в этой необычной обстановке, в этом торжественном царстве лесного покоя, она показалась ему какой-то сказочной феей, очаровательной и недоступной богиней. Он стоял как вкопанный и любовался ею.

Тем временем фея прикрепила на груди цветок и уже было собралась идти дальше, но лукошко с грибами словно бы только этого и ждало. Оно выскользнуло из-под руки, и грибы веером рассыпались по траве. Барышня инстинктивно оглянулась по сторонам и прямо перед собой увидела Лесницкого. На лице у нее отразился испуг, удивление, стыд и обида — все вместе.

Лесницкий же упорно продолжал смотреть на нее и добродушно улыбался. Он видел, как она капризно закусила губу, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение, и сделала грозную мину.

— Что уставились? Собирайте грибы!

Она произнесла эти слова приятным, смелым и звонким контральто. Видно, привыкла, чтобы ей все беспрекословно подчинялись и выполняли каждый ее каприз. Стояла и задорно смотрела на него, сведя к переносице свои красивые брови, ждала, когда он начнет выполнять распоряжение. А Лесницкий, не трогаясь с места, продолжал смотреть на нее и улыбаться.

— Вы что, не слышали? Соберите грибы!

Он ответил ей не спеша, ровно, чуть растягивая каждое слово:

— Нет, я слышал... Слух у меня прекрасный, да только собирать грибы не стану... Не хочу!

— Грубиян!

В душе у Лесницкого все закипело. Захотелось вдруг сделать что-то неожиданно-смелое, удивить ее, сбить с толку. И вот он направился к Раисе широким твердым шагом, подошел почти вплотную и, глядя прямо в глаза, несколько раз наступил ногою на грибы.

Барышня отступила на полшага. В первый миг в ее взгляде ясно мелькнул испуг, но она сохранила спокойствие, потом лицо ее перекосилось от нахлынувшей ярости. Широко раскрытые зеленовато-голубые глаза блеснули злым огоньком. Она резко повернулась и пошла.

— Корзинку возьмите! — крикнул вслед Лесницкий.

Раиса даже не оглянулась — быстрой возбужденной походкой уходила все дальше — стройная и красивая, как молодая лань. Лесницкий провожал ее молчаливым взглядом до тех пор, пока не мелькнуло в последний раз среди кустов ее воздушно-белое платье, подпоясанное узким розовым ремешком.

Лесницкий стоял, ошеломленный этой неожиданной встречей с барышней. Какое-то время он почти физически ощущал ее присутствие, как будто она оставила здесь свою таинственную тень. Быть может, это ему только показалось, что на поляне все еще сохранялся приятный аромат ее духов, еще не развеялся в застоявшемся море смолистого воздуха.

Потом Лесницкий весело заулыбался и нагнулся, чтобы поднять лукошко. И вдруг на весь лес разразился диким хохотом... Среди грибов, собранных барышней, оказалась добрая половина валуев, ложных опенок, мухоморов и других ядовитых экземпляров. Лесницкий сожалел, что раньше этого не заметил. Уж он в свое удовольствие посмеялся б над ней.

Забрав лукошко, Лесницкий пошагал в сторону дома. На душе было весело, всю дорогу он насвистывал какую-то задорную песенку. Он был рад, что так бесцеремонно обошелся с помещичьей дочерью. Хотелось только самому как-то объяснить эту неожиданную лесную размолвку, найти ей логичное оправдание. Сделать это не представляло особого труда. На его памяти было два случая, когда в ее присутствии он был

сильно обижен, даже при ее участии. И вот теперь он отомщен. Она, конечно, забыла о нанесенных ему обидах да и вообще не знакома с ним. Где ей помнить о каком-то крестьянском мальчишке, некогда промелькнувшем перед ее глазами — сером, неприметном, как одно из бесчисленных деревьев в этом огромном лесу.

Но зато Лесницкий хорошо помнит все эти случаи. Произошли они, когда ему было лет десять или одиннадцать. Первый раз он встретил ее с гувернанткой на прогулке в лесу. С ними были две большие страшные собаки. Когда он проходил мимо, эти два пса с лаем накинулись на него, готовые разорвать в клочья. И вот, когда он, чуть было не обомлев от ужаса, стал отмахиваться от них своим тонким хлыстом, она сердито закричала (уже и тогда голос у нее был сильный и звонкий):

«Мальчик! Не бей Трезора! Мальчик, сейчас же брось палку... Слышишь?»

Во второй раз он тоже встретил ее в лесу. С нею рядом был тогда ее старший брат,— он учился в кадетском корпусе. Лесницкий собирал в лесу землянику, а это не разрешалось. И вот, когда кадет от скуки поймал его и отобрал ягоды, она от радости стала весело прыгать на одном месте, звонко хохотать и бить в ладоши. В ту минуту он сумел сохранить спокойствие, даже не попросил прощения. Плакал потом уже, когда отошел на порядочное расстояние, когда возвращался домой без ягод и без шапки...

Вспомнив о шапке, Лесницкий невольно улыбнулся и посмотрел на лукошко, которое сейчас держал в руке. Даже приятно стало, что лукошко осталось у него. Он, конечно, не представлял еще, что с ним будет делать, с этим лукошком, но знал, лукошко даст возможность еще раз повидаться с Раисой. И еще раз вволю позлить, посмеяться над нею.

О своей встрече с барышней Лесницкий в тот же вечер со смехом рассказал Мокрине. Мокрина молча выслушала и даже не улыбнулась — выслушала с должным вниманием и спокойной серьезностью. Только тень удивления мелькнула в ее тихих глазах, казалось, она хотела сказать:

«А что тут смешного?»

Когда же Лесницкий кончил рассказывать, Мокрина с задумчивым видом спросила:

— Слушай, Василек... Как ты думаешь, будут сейчас паны или нет?

— Как это — будут или не будут?

— Так ведь теперь же свобода какая-то...

Лесницкий стал объяснять, что пока ничего неизвестно, что все решит учредительный сейм, что сейчас в первую очередь надо думать, как бы поскорее разбить проклятых немцев, что права сейчас у всех одинаковые — и у помещиков и у мужиков. Говорил он быстро, только бы ответить... Знал,

Мокрина все равно не поймет его. Вид у нее был такой, как будто она слушала с большим вниманием, но в то же самое время, видно, думала о своем: она уставилась широко раскрытыми, глубокими глазами куда-то вдаль и тихо вздыхала. Когда Лесницкий упомянул про немцев, Мокрина спокойным тоном произнесла:

— В имении пленные немцы работали. Такие добрые люди... Красивые... деликатные...

Лесницкий прервал ее:

— Ты, Мокрина, не понимаешь, что тут к чему... Еще мало, что они добрые, деликатные... Здесь государственные соображения... Мы не можем поддаться Германии, потому как мы тогда экономически погибнем... А уж о свободе после этого и говорить не придется... Задушат свободу...

— Кто его знает...

И опять она задумалась, видно, хотела понять что-то своим небольшим бабьим умом. А спустя какое-то время, с наивной простотой снова поинтересовалась:

— Василек! А ты любишь панов?

Он улыбнулся.

— Что значит — люблю ли? Смотря каких панов... Вот, например, барышню Раису люблю, она красивая...

Мокрина словно бы и не слышала его шутки.

— А я ужасно не люблю их, я боюсь панов... Они всегда смеются, издеваются над нами, простыми людьми... Как будто они какие-то особенные, не такие, как все мы... Я уверена, что никогда бы не полюбила пана, ни за какие деньги... Пусть бы он был даже самый красивый на свете... А вот некоторые наши бабы таки влюбились в Карла... Говорили, Текля-солдатка ходила к нему на ночь в покои, сама напросилась... А ему что — баба хоть куда, такую поискать надо...

И Мокрина с детской наивностью захохотала. Ей стало смешно, что бабы Карла любят, ночевать к нему по своей воле ходят...

На этот раз Лесницкий не понял ее смеха. Громкий хохот Мокрины показался ему совершенно неуместным. Нашла над чем смеяться!..

И еще не понравилось Лесницкому, что Мокрина совсем не обращает внимания на его слова про барышню Раису. Видно, делает это нарочно, чтобы показать свое полное безразличие к панской дочери...

Лесницкий решил еще раз затронуть эту тему и заговорил про лукошко.

— Что же мне делать с ее корзиной? Хочешь не хочешь, а придется идти отдавать. Ничего другого не придумать, надо будет сходить разыскать ее.

А Мокрина уже волновалась вместе с ним.

— Может тебе, Василек, очень не хочется, так я могу передать... Я иногда бываю в поместье.

— Тут ты ни при чем.

Лесницкий всерьез начинал злиться. И Мокрина уловила это своим женским чутьем. Она обвила руками его шею, всем телом прильнула к его груди и заглянула в лицо своими чистыми преданными глазами...

— Василек! Чего ты сердишься? Не злись, Василек... Лучше поцелуй меня, милый...

Лесницкий поцеловал ее с какой-то нервной поспешностью. Пожалуй, он и сам толком не знал, приятны ему эти поцелуи или неприятны. Со стороны и понять было бы трудно, то ли он спешил, чтобы побольше получить удовольствия, то ли старался поскорее отвязаться от нее.

Было какое-то двойственное чувство.

Два дня после встречи в лесу из сознания Лесницкого не выходила Раиса. Все это время он ломал голову, все думал, как поступить с этим ее злосчастным лукошком. И наконец додумался.

На третий день после полудня он взял у паромщика лодку и отправился вниз по Днепру. С напряженной энергией работал он веслами, лодка неслась, как птица, стремительно обгоняя быстрое течение. Не прошло и получаса, как вдали, на левом берегу, засинел густой, тенистый ловчинский парк.

Лесницкий пристал к берегу. С большим трудом отыскал среди густых, низко нависших над водой, лозовых кустов свободное местечко, где можно было оставить лодку, привязал ее и сквозь сетку перепутанных ветвей полез в гору. Лозняк здесь так густо был переплетен косами хмеля, ежевики и волчьих ягод, что приходилось рвать руками эту глухую, непроходимую стену зелени, надежно преграждавшую путь вперед. А тут еще, как на беду, мешало это проклятое лукошко. Когда Лесницкому наконец удалось преодолеть эти прибрежные джунгли, он едва переводил дыхание.

Со стороны Днепра парк не был огорожен. Выбравшись на открытое место, Лесницкий сразу же оказался в начале ровной, широкой аллеи, которая противоположным своим концом упиралась в большак, проходивший неподалеку от белокаменной помещичьей усадьбы. С обеих сторон аллею плотно поджимали ровные ряды толстых столетних лип, которые своими густыми тенями создавали впечатление какой-то древней мрачности. Подобное впечатление оставляют обычно фамильные, почерневшие от времени портреты, развешанные в строгом порядке где-либо в пыльном, заброшенном зале.

Парк выглядел ужасно запущенным. Пожалуй, только на этой аллее и сохранились еще следы кое-какого присмотра. А уже за рядами лип сразу же начинались дикие, непроходимые дебри.

Лесницкий увидел за несколько шагов от аллеи старую полуразвалившуюся беседку. Когда-то она была увита живой зеленью дикого винограда, потому что и сейчас еще со всех сторон — от крыши до самой земли — свисали сухие желтые плети; лишь в отдельных местах кое-где каким-то чудом сохранилась пара-другая свежих зеленых листьев.

Лесницкий направился к этой беседке, зашел внутрь и опустился на обветшалую поломанную скамейку. Он сознательно так сел, чтобы его легко можно было увидеть со стороны аллеи. Затем вытащил из кармана книгу и стал читать.

Какое-то время Лесницкий и на самом деле читал, даже понимал прочитанное. Но вскоре мысли его оторвались от книжных страниц и устремились в другом направлении, завертелись вокруг другого предмета. В первую очередь он трезво и критично взглянул на самого себя, на свой поступок. И, странное дело,— готов был тут же кинуться назад к лодке и вернуться домой, пока не поздно. Действительно: забрался в чужой парк, в чужую беседку, где его никто не знает... Бог весть, что могут подумать люди, если увидят здесь... Чего доброго, прогонят, как вора. Еще собаками затравят...

Но вместе с тем давала себя знать какая-то упорная решимость, странная какая-то уверенность, что все обойдется, все кончится хорошо. Он был твердо убежден, что обязательно повстречает здесь барышню, и, само собою разумеется, одну, что будет иметь возможность наедине поговорить с нею. И словно чудо произошло,— все его предположения оправдались. Прошло минут сорок (пролетели они в остром нервном напряжении), и в дальнем конце аллеи показалась знакомая фигура в белом платье, подпоясанном узким розовым ремешком. Девушка шла быстрой, стройной походкой, энергично, но нешироко размахивая правой рукой. В левой она, кажется, держала книгу, которую прижимала к груди.

У Лесницкого сразу все замерло, только слышно было, как сильно застучала кровь в висках. Однако продолжалось это состояние недолго. Через минуту-другую он пришел в себя — стало легко и приятно. Лесницкий уставился в книгу и напряженно стал ждать. Вскоре послышались легкие девичьи шаги. Потом вдруг все стихло. Значит — заметила. Он еще ниже опустил голову, как будто ничего не слышал и не видел за чтением. Прошло так с полминуты. И тогда до него долетел ее сердитый, раздраженный голос:

— Вы что здесь делаете?

Лесницкий не спеша оторвал голову от книги, поздоровался (этого она как будто и не слышала) и ответил подчеркнуто безразличным тоном:

— Читаю брошюру «Монархия или республика»... А вы что делаете?

Раиса, по-видимому, не ждала такого ответа и такого во-

проса. Какой-то миг она не знала, что ответить. Но потом с нескрываемым сарказмом бросила:

— Было бы намного оригинальнее, если бы для этой цели вы явились в наш дом, когда там никого нет...

— Спасибо... Мне больше по душе тенистая прохлада этого одичавшего сада. Я впервые оказался в этом чудесном уголке и, искренне скажу вам, сожалею, что раньше не знал о его существовании... А вам нравится здесь?

Она окинула его презрительным взглядом, который как бы говорил: «Подумайте, он еще осмеливается со мною разговаривать...»

И произнесла с наивной угрозой:

— Слушайте, что вам скажу. Я сейчас же пойду к отцу и скажу, чтобы вас немедленно вывели отсюда.

Лесницкий улыбнулся.

— Не трудитесь. Лишняя забота... Пока вы доберетесь до своего дома, я уже буду на середине Днепра... В прибрежных кустах стоит моя лодка. Но скажите: неужели вам так неприятно мое присутствие? Если это так, я и без вашего отца отыщу дорогу назад... Я принес вам корзину, которую вы оставили в лесу вместе с грибами... Можете забрать ее!

Лесницкий встал, собираясь уйти. Последние слова он произнес искренним и немного возбужденным голосом, в котором невольно прозвучала нотка обиды.

Раиса остановила его:

— Я не гоню вас, если хотите, можете оставаться... Что же касается лукошка, то оставьте его себе, как воспоминание о нашей случайной встрече в лесу и... о вашей грубости...

Она быстро повернулась и сделала несколько шагов в сторону своего дома, но потом остановилась, подумала немного и произнесла уже другим — спокойным, даже, пожалуй, шутливым тоном:

— Вы мое место заняли... Я всегда читаю в этой беседке.

Лесницкий сделал движение, чтобы тут же освободить ей беседку. Но Раиса опять остановила его:

— Нет, нет... Можете не беспокоиться, я не собираюсь гнать вас отсюда...

С минуту она словно боролась сама с собой, затем сказала тоном вынужденной уступки:

— Ну что ж... Я и с вами могу посидеть, места здесь хватит. Ведь вам тут нравится, не так ли? А то еще расплачетесь.

У порога беседки она на какое-то время задержалась и, глядя на Лесницкого, спросила:

— А грубить мне больше не будете? Даете обещание?

— Почему же, я могу быть и деликатным, если меня хорошо попросят...

— Так вот, просите сию минуту прощения! Слышите? Целуйте руку!

Он с нескрываемым удовольствием поцеловал ее маленькую ручку.

— Не буду больше... так и быть.

— А теперь скажите мне, кто вы такой, как сюда забрались и где вы научились такой поразительной деликатности...

Лесницкий стал весело, с жестами рекомендовать себя. Он был в приподнятом настроении, подвижен, энергичен и словоохотлив и свой рассказ пересыпал довольно удачными шутками. Минут через пять Раиса Андреевна уже хохотала на весь сад, игриво поблескивая своими лучистыми, зеленоватыми глазами. А Лесницкого все больше и больше захватывало сладостно-щемящее чувство восхищения. Он не сводил глаз со своей соседки, упиваясь ее молодой и яркой красотой. Ему просто не верилось, что это он сидит в тенистой беседке парка и разговаривает с красавицей-барышней; она в ту минуту казалась ему какой-то особенной, недосягаемой. И странно: чем больше он с нею говорил, чем ближе они узнавали друг друга, тем острее становилось это чувство. Лесницкий все еще сохранял на устах мягкое прикосновение ее пухлой ладошки, он смотрел на эту крохотную руку — слабую, как белая лилия,— и не верил, что еще недавно целовал ее.

Прошел час, а может и больше, однако Лесницкому пролетевшее время показалось одной быстротечной минутой, одним радужно-ярким мгновением. И вдруг он заметил, Раиса вся побелела и как-то виновато засуетилась, словно хотела провалиться сквозь землю, исчезнуть, стать невидимкой. Инстинктивно он оглянулся,— по аллее в их сторону шел высокий, грузный мужчина. Лесницкий, к ужасу своему, сразу узнал его и от неожиданности вздрогнул.

К беседке приближался знаменитый «Карл», Карл Иванович Шемпель, брат покойной помещицы — матери Раисы Андреевны. Лесницкий не раз видел его и раньше, да только издали. Теперь он с жадным любопытством рассматривал его.

Карл Иванович был довольно красивым мужчиной лет сорока. У него были крупная, полная фигура, правильные черты лица с отпечатком суровой мужественности; и только глубоко сидевшие глаза светились каким-то зловещим огнем — смотрели на мир подозрительно и ехидно.

Когда же помещик подошел еще ближе, Лесницкий сумел разглядеть на его лице нечто такое, отчего первое впечатление показалось ему глубоко неполным и ошибочным.

Он заметил, что по всему лицу Карла расплылась какая-то неприятная паучья синева, какой-то сизый оттенок болезненности, отдаленно напоминавший синеватый налет на шапочках молодых боровиков. Этот нездоровый цвет покрывал все лицо,— он четко выделялся на губах, носу, щеках, даже, казалось, поразил глаза.

Успел хорошо разглядеть Лесницкий и лоб Карла Ивано-

вича. Он сплошь был испещрен сеткой глубоких морщин. Можно было подумать, что у помещика страшно болит голова, и от невыносимых мучений он все время морщится.

Карл Иванович двигался по аллее тихо, медленно, словно таинственный ночной призрак. Поровнявшись с беседкой, не спеша, будто нехотя, повернул голову и провел по ней долгим испытующим взглядом. Казалось, что он никого и не увидел внутри и только посмотрел в глухое пространство ничего не выражающими, пустыми глазами. Однако Лесницкий успел заметить, что под этим взглядом Раиса Андреевна вся как-то странно, неестественно сжалась, сделалась вдруг маленькой и виноватой. Это очень удивило Лесницкого,— он решительно ничего не мог понять.

Тем временем Карл Иванович дошел до конца аллеи и повернул по тропинке в сторону, в самую глушь заросшего парка. Раиса Андреевна, с трудом сохраняя спокойствие, встала со скамейки и заторопилась.

— Ну, идите уже. Мне пора домой... До свиданья!

Она выглядела очень странной и, казалось, в ту минуту совершенно не замечала Лесницкого. Какая-то неспокойная, тревожная мысль завладела всем ее существом. Прощаясь, Лесницкий хотел было поцеловать ее в руку, но она тотчас одернула ее, бросив на него сердитый, полный удивления взгляд.

— До свиданья! — повторила она.

Лесницкому стало не по себе. Он ничего больше не сказал, молча поплелся к берегу, где была спрятана лодка. В одно мгновение пропало радостное, приподнятое настроение, сердце сдавило что-то невыносимо тяжелое.

Отвязав лодку, он со злым остервенением стал работать веслами, изо всех сил стараясь освободиться от неприятных мыслей, безжалостно сверливших его мозг. Он и Раису пытался выкинуть из головы, но из этого ничего не получалось. Она как живая все время стояла перед глазами и наполняла душу тревожно-щемящей болью. Стало почему-то грустно и немного обидно.

Наступала пора сенокоса. Перед крестьянами села Зеленичи стояла большая и сложная задача — любыми путями добыть сено. Своих сенокосных угодий село не имело — издавна покупало корм скотине то у помещика, то у крестьян соседних деревень. Все последние годы зеленичские мужики косили широкую панскую луговину, подступавшую к самому селу. Приходилось, правда, значительно дороже платить, но зато совсем рядом: и привезти ближе, и надежнее укараулишь.

Нынче тоже уговорились брать у помещика. Уже прикинули, сколько платить, даже собирались послать к пану

своих выбранных, чтоб хоть немного тот сбавил цену, уже прикидывали, как будут делить сенокос между собою. И вот в это горячее время по селу вдруг пошел гулять слух, сразу всколыхнувший сознание крестьян, сильно обострив их чувства и, конечно же, в корне поломавший все их сенокосные планы.

Началось все с безногого Аксента. Он как-то ездил в город (все добивался себе пенсии) и, вернувшись оттуда, рассказал такую историю.

В городе, в заезжем дворе, повстречал он старого пьянчужку, который прежде служил в чиновниках, а сейчас за гроши писал «прошения» и всегда настойчиво искал любой повод выпить. Этот пьянчужка и Аксенту согласился написать заявление, после чего они, конечно же, достали бутылку самогона и вместе ее осушили. И вот тогда пьянчужка рассказал ему, что когда-то, лет, может, пятьдесят тому назад, в губернском суде разбиралось дело помещика Янова с крестьянами деревни Зеленичи, по которому помещик Янов отсудил у крестьян тридцать десятин сенокоса, раскинувшегося в луке Днепра, рядом с деревней Зеленичи. И еще рассказал старый пьянчужка, что дело то было темное, что тогда был проделан какой-то фокус с планами и что где-то, в какой-то «управе», порывшись как следует, можно отыскать настоящий старый план, по которому выходит, что лука принадлежит крестьянам села, а не пану.

Крестьяне, внимательно выслушав рассказ Аксента, только тяжело повздыхали и грустно покачали головами. Старики подтвердили, что когда-то лука на самом деле принадлежала деревне, потом был суд, тянулся он долго-долго, может, лет двадцать, и, в конце концов, пан все-таки отсудил. А как там было, какие там были «планты», этого уж они не помнят — много воды убежало, многое ушло из памяти...

Поговорили, повздыхали немного мужчины да бросили пустой спор. Только еще кто-то в конце буркнул себе под нос с нескрываемым сожалением:

— Вот бы луку эту сейчас... Ого-го!

А на следующий день с самого утра к Аксенту прибежал один молодой сельчанин и, сказав для приличия несколько слов о погоде, завел разговор о луке, о вчерашнем Аксентовом сообщении. Нетрудно было заметить, что крестьянин всю ночь провел без сна — настолько измученный был у него вид. Рассуждения его были такие:

— Если мужики когда-то пользовались этой лукой, значит, тут что-то не так. Пан никогда своего не упустит, никогда не отдаст то, что может отобрать у других. Тут дело ясное: мужики косили луку по праву. Пан позавидовал им, приглядел этот хороший кусок земли, что-то там сплутовал и отсудил себе.

Аксент с важным видом выслушал крестьянина и тоном большого знатока подобных дел заметил:

— Про это же я и говорю... Разве стал бы человек болтать пустое? Уж тут наверняка какая-то заковыка... Надо разобраться...

Они поговорили еще какое-то время, и крестьянин ушел, твердо убежденный в справедливости своих подозрений, довольный тем, что проявил умение вести такие мудрые беседы.

Не успел он, наверное, дойти до своей хаты, как на пороге у Аксента появился другой сельчанин, немного постарше, но такой же говорливый, как и первый. У него на лице тоже хорошо были видны следы бессонной ночи. В отличие от своего предшественника разговор о сенокосе он завел сразу, без всяких вступлений. Рассуждения его сводились к следующему:

— Не должно быть, чтобы панская земля оказалась оторванным куском среди крестьянской. Ведь это не меньше версты от луки начинается панская земля, а тут вокруг наша, деревенская. Значит, дело здесь ясное: пан позарился на самый лучший кусок земли и отобрал его каким-то жульничеством...

Аксент уже смелее намекнул на свои авторитетные знания в этом мудреном деле:

— А как же иначе!.. Разве стал бы я попусту молоть языком, если б не имел аргумента... Я, браток, тонко понимаю эту политику...

Третий крестьянин (следы бессонной ночи, сразу разговор о луке и т. д.) никак не мог понять, как это целое «обчество» совсем не имеет сенокоса.

— У подлиповцев есть, у пореченцев есть, в Криницах — целые огромные поля, в Падчерцах — тоже, как глазом кинуть... Нет, здесь что-то не так — темное дело. Не иначе лука по всем правам принадлежала селу, пока пройдоха помещик не набрался наглости да не отсудил. Ничего себе — такой лакомый кусок...

С этим соседом Аксент пошел еще дальше. С минуту он внимательным взглядом изучал сельчанина, как будто колебался: сказать ему или не сказать. И в конце концов выпалил, многозначительно склонившись над его ухом:

— Лука — наша. Уж это, милый мой, как дважды два — четыре... Кого-кого, а меня не проведешь вокруг пальца... Я все фронты прошел да живым вернулся, хоть и без ноги...

Крестьянин радостно подхватил:

— Про это же и я говорю... А то ведь — черт знает... платишь, платишь дьяволу лысому, а за что, за какое лихо, никто толком и сказать не может...

В тот день Лесницкого не было дома — ездил в соседнюю деревню. А поскольку с ним напросилась подъехать Мокри-

на, вернулся он уже затемно. Подъезжая к хате, услышал, что оттуда глухо доносится густой мужской гомон. В ярко освещенных окнах (обычно летом печей не топили) из стороны в сторону мотались силуэты взлохмаченных мужицких голов. Видно, в светлице была целая сходка.

Лесницкий завел во двор коня и, сгорая от любопытства, поспешил в хату. В первую минуту он, кажется, ничего не мог разобрать, так сильно было накурено. Его сразу тоже не заметили — все были захвачены каким-то горячим спором, в котором чаще других мелькали слова «лука» и «сенокос».

— Вот оно что! Сенокос покупать собираются...

Лесницкий кликнул брата и послал распрячь коня, а сам подошел поближе к столу. Его наконец увидели и неожиданно все разом стихли. Кто-то подвинулся, освобождая место на скамейке возле стола.

— О чем, мужчины, разговор ведете?

Один из соседей безнадежно махнул рукой, другой бросил недоверчиво и глухо:

— А! Все это пустое...

А дед Левон, мрачно опустив голову, постучал корявыми пальцами по столу и заговорил:

— Тут, Василь, дело такое. Ты, как один сказал, человек ученый, грамотный, науки всякие прошел... Опять же, законы знаешь, статьи разные... Вот мы и решили здесь все разом...

И дед в который уже раз стал рассказывать о смутной, неясной истории с лукой, о неожиданно и быстро распространившемся слухе. Все внимательно слушали. Кое-кто изредка вставлял свое слово, но тихо, для себя. И только Аксент раза два громко и авторитетно поправил рассказчика, поправил в какой-то мелочи, скорее всего лишь для того, чтобы дать понять, что он здесь — первоисточник всей этой истории.

Когда старик кончил говорить, все дружно повернули головы в сторону Василя, ждали его слова.

Лесницкий сосредоточенным взглядом обвел присутствующих. Со всех сторон на него уставились бородатые лица, в глазах у каждого ярким огнем светилось тревожное ожидание — слабая надежда сменялась опасением. Лесницкий сразу понял, что от него ждут положительного ответа, ждут, чтобы он, как человек, знакомый со всеми «статьями», во всеуслышание подтвердил их права и поддержал их веру в истинность привезенных Аксентом слухов. Хорошо понимал Лесницкий и другое: если он не сделает этого, его встретит общее недовольство и неприязнь сельчан. Но, с другой стороны, он видел, вся эта история с лукой построена на очень зыбкой почве, и лишь наивность крестьянских представлений да еще нервная взвинченность чувств могли придать такую серьезность случайной и непроверенной новости.

И Лесницкий решил со всей искренностью предостеречь

крестьян от излишней уверенности и розовых надежд и направить их усилия на путь осмысленных и трезвых рассуждений. Он уже раскрыл было рот, чтобы высказать свои соображения, как вдруг напоролся на острые, словно шилья, глазки Рыгора, которого он до этого почему-то не видел. Рыгор, как и другие, внимательно смотрел на него, но в глазах у того Лесницкий приметил кроме обычного любопытства еще и язвительный огонек недоверия, готовность спорить, ругаться, если Лесницкий почему-либо скажет не то, что он, Рыгор, считает правильным.

«Ну что ж, можем и поспорить»,— подумал Лесницкий.

— Вот что, мужчины,— обратился он к крестьянам,— я согласен с тем, что эта история, может, и справедливая, может, все так и было, как вы говорите. Но ведь тут есть еще и формальная сторона... Если бы про это знали раньше, если бы было время в этом разобраться, раскопать все подробно, разыскать документы тех лет,— тогда совсем другое дело. А теперь что вы успеете сделать? Через неделю-другую наступит пора сенокоса. Пан по своей воле, конечно, от луки не откажется — об этом и говорить бесполезно. А без суда такое дело не решить... Придется ждать до следующего года, а уж нынче как-то доставать за деньги...

Его слова, как, впрочем, он и ожидал, произвели на сельчан тяжелое впечатление. Какое-то время все мрачно и напряженно молчали — каждый ждал, что заговорит кто-то другой. Первым нарушил тишину Аксент. Говорил он каким-то обиженно-настойчивым и вместе с тем подчеркнуто авторитетным тоном:

— А то, что мы на фронте воевали да калеками остались, выходит, это так себе? А кто свободу отвоевал, а? Суд... Мало ли что скажет суд! В окопы небось без суда посылали, а теперь — суд! Думал ты про это?..

И он широко развел руками перед крестьянами. Те покрыли его слова довольным гулом. Как ни странно, но наивные, простые аргументы Аксента произвели на мужчин впечатление гораздо большее, чем трезвые рассуждения Лесницкого. Каждый готов был вместе с Аксентом так же широко развести руками, каждый готов был вместе с ним искренне удивляться:

— Как же так? Да разве можно? Дрались на войне, добывали свободу, а тут — суд!..

Авторитет Лесницкого сразу поколебался. Когда же он решил еще что-то сказать, чтобы пояснить свою мысль, его сразу прервали; в комнате поднялся страшный шум — каждый рвался с ним поспорить. В этом возбужденном людском гомоне Лесницкий тем не менее сразу отличил пронзительный, резкий голос Рыгора. До него долетали только обрывки его злобно-крикливых фраз, и поэтому казалось, что Рыгор

плетет какую-то невероятную чушь, говорит бог знает о чем, без всякой последовательности.

— Воевали... свобода... буржуи... земля... большевики... предатели... Керенский.

Лесницкий с большим нервным напряжением ловил каждое Рыгорово слово, стараясь обнаружить хоть какую-нибудь логическую связь в его выступлении. Порою даже казалось, что за словами Рыгора скрывается что-то недоброе по отношению к нему; он инстинктивно чувствовал: Рыгору явно не по душе было все им сказанное. От всех этих мыслей Лесницкому стало неприятно и обидно.

Немного успокоившись, крестьяне наконец повели серьезный разговор о том, с чего и как начинать, какие принимать меры, чтобы добиться-таки справедливости и отвоевать свои исконные сенокосы. Сошлись на том, чтобы вначале кто-либо сходил к пану: быть может, тот сам согласится вернуть им луку, может, в нем все-таки проснется совесть.

Все согласились послать Аксента, Левона и Лесницкого. Лесницкого, правда, не очень упрашивали. Ему сказали:

— Хотя ты с нами, стариками, не согласен, говоришь свое... Но было бы хорошо, если б тоже пошел с ними... Все ж человек ты грамотный, не то, что мы, темные люди...

Лесницкий согласился. Даже остался доволен. Как-никак крестьяне все-таки доверяют ему, посылают своим представителем...

И вдруг перед его глазами, помимо воли и желания, всплыл образ Раисы, весело улыбающейся, красивой барышни.

«Может и увижу...» — подумал Лесницкий.

Крестьяне расходились по домам радостные, довольные, полные светлых надежд. Лесницкий вышел вслед за ними на улицу и присел на завалинке подышать немного свежим воздухом. Однако и на улице он не нашел желанной прохлады. Укрытая плотными грозовыми тучами, ночь просто млела в густом влажном тепле. Даже едва уловимый ветерок, долетавший откуда-то с приречных лугов, и тот не приносил облегчения,— казалось, и он нес с собою насыщенное влагою тепло.

«Погода на перемену»,— решил Лесницкий.

Хлопнула дверь в хату. На улицу вышел отец. Тихо подошел, нащупал себе место и сел рядом с Василем на завалинке. Старик был в белой рубахе и белых штанах. Сидел он неподвижно, а в темноте почему-то казалось, что серое пятно его рубахи непрерывно мотается из стороны в сторону, как будто он ни минуты не находил себе покоя.

Отец сначала молча, в свое удовольствие, почесался, потом заговорил. Говорил очень мягко — тихим грудным голосом. Таким голосом могут разговаривать, пожалуй, только родите-

ли со своими детьми,— этот голос всегда успокоит, всегда поднимет настроение, развеет печаль.

— Кто их там разберет — может так, может этак. Старики когда-то говорили, что лука у реки всегда принадлежала крестьянам. Давно я про это слышал... Правда, говорили еще, будто бы в нашем селе жило много дворовой челяди. И вот когда была объявлена воля, то и они взяли в нашем обчестве себе наделы. А потом побросали и снова пошли на службу к пану... Может, из-за них и отсудил пан эту луку, никто не знает, никто уже не помнит... Подчас послушаешь своих, так оно и выходит, как на бумаге — наша, значит, лука... Но коль нету документов, что ты сделаешь... Без документов, братец, ни шагу не ступишь... Такое сейчас время...

Лесницкий слушал отца и никак не мог понять — то ли тот уговаривает его, то ли пытается оправдать. Ясно было одно — отец держит их сторону, крестьянскую, что он целиком разделяет их наивную уверенность, что он рассматривает слова сына, как ошибку, которую, однако, прощает по молодости лет. Правда, Лесницкого не раздражал такой взгляд отца. Спокойная, хотя и примитивная, отцовская мудрость и его тактичный подход, наоборот, успокаивали его, заметно сглаживали остроту расхождений. Одно лишь огорчало Лесницкого, то, что он никак не мог до сих пор открыто и прямо высказать старику свои мысли, свои сомнения, что если бы и захотел это сделать, то не нашлось бы нужных слов, не поняли бы они друг друга. И вот получается, сын смотрит на отца с какой-то странной поблажкой, прощает ему невольную ошибку, а отец, в свою очередь, смотрит на сына такими же глазами. Сын это замечает, возможно, даже понимает, и отец чувствует сердцем, наверняка чувствует, однако, ни тот, ни другой не говорит вслух. Не находятся нужные слова.

И вместе с тем сыну хочется что-то приятное сказать старику, чем-либо порадовать, чтобы тот почувствовал сыновнюю близость. И он говорит:

— Я, отец, буду стараться, буду делать все, что смогу, чтобы как-то отвоевать этот сенокос...

Старику не нравится, что Василь так быстро раскусил его тактику, но по-стариковски пытается играть в свою наивную дипломатию.

— Да я не о том... Я говорю, что их толком никак не поймешь. Может, так справедливо, а может, и этак... Закона нет, значит — каюк...

Василь слушает и молча улыбается. А сам себе думает: «Какой он добрый и чуткий! Сколько таится в нем крестьянского ума, сколько народной мудрости. Да только всегда молчит. Те кричат, слова не дадут сказать, а он молча все о чем-то думает... А ведь умнее, может, каждого из них. Натура такая спокойная, совестливая. Вот и меня приучил быть та-

ким же тихим, стыдливым, бояться людей... Плохо такому жить на свете, тяжело...

В дальнем конце села петухи подали первые голоса, завели свою извечную перекличку. Отец сразу подхватился.

— Спать пора, сынок, спать, петухи уже запели.

Лесницкий только сейчас почувствовал, как сильно слипаются у него глаза, как хочется спать. Он с трудом добрался до кровати, упал на нее, не раздеваясь, и тут же уснул как убитый.

Небо плотно закрыли тучи, но дождя не было. День стоял мягкий и сумрачный — какой-то мякинный день. В такую погоду обычно царит вокруг умиротворенная задумчивость, она окружает человека, где бы он ни был — в лесу, в поле, в дальней дороге,— ощущением благостного душевного согласия. В такие дни человек не испытывает желания отправиться в путь, выйти на широкий простор, оказаться захваченным стремительным жизненным потоком. Природа словно бы набрасывает на человека темную вуаль, чтобы только не увлечь, не очаровать его своими прелестями. Человек тогда как бы закрывается сам в себе, сам к себе приглядывается, сам себя созерцает в глухой молчаливой тишине. А еще в такие сумрачные дни он хорошо замечает другого человека, как будто видит его один на один в собственной хате и легко сближается с ним, без труда находит общий язык.

Когда крестьянская делегация от села Зеленичи направлялась в поместье Ловчино (шла лесом — тихим, затаившимся), мужики вели оживленную беседу, проникнутую дружеским согласием. Они хорошо понимали и сочувствовали друг другу. Хромой Аксент, как всегда, рассказывал про свои военные приключения, а Лесницкий с дедом Левоном охотно с ним соглашались, во всем поддакивали и искренне удивлялись его находчивости и удачам во время боевых походов. Такая — на ходу — мирная беседа подбадривала, заметно повышала настроение. Даже Лесницкий и тот начинал верить, что из этой их затеи может получиться толк.

На полдороге до Ловчина они вдруг услышали вдали глухой перебор конского топота. Через минуту-другую впереди показались двое всадников, галопом мчавшихся навстречу. В следующий миг они, как птицы, пронеслись мимо. Но времени оказалось достаточно, чтобы сердце Лесницкого забилось в неожиданном приливе пламенных чувств,— еще издали он узнал в первом всаднике Раису. Она показалась ему какой-то сказочной принцессой,— барышня и на самом деле выглядела на лошади необыкновенно красивой. Возбужденная быстрой скачкой, Раиса сияла розовыми щеками, в глазах горел огонь молодого девичьего задора. Она держалась в мужском седле гордо и смело, откинув назад голову на тонкой

красивой шее и целиком отдав себя во власть необыкновенного чувства радости, рожденного в могучих объятиях встречного ветра.

Лесницкий стоял, как громом пораженный. Он едва успел поздороваться, в каком-то нескладном поспешном движении снять шапку. Она ответила ему чуть заметным кивком головы и, даже не улыбнувшись, промчалась мимо, недоступная, как очаровательный призрак, как удивительный сон.

За нею черной мрачной тенью мелькнул Карл. Он на всем скаку как-то странно пригибался вместе с конем к самой земле и поднимал с дороги рассыпанные Раисой шпильки. Левон с Аксентом только охали от удивления и страха за отважного всадника; Лесницкий же весь задрожал от неожиданно нахлынувшей ярости. В эту минуту он ненавидел Карла за его ловкость, за его умение так деликатно и красиво ей служить, за то, что тот имеет возможность постоянно находиться с нею рядом. В растерянности стоя у обочины, он в тот миг совершенно забыл, что Карл — родной дядька Раисы, и видел в нем только счастливого своего соперника.

Топот копыт становился все тише и тише, и вскоре всадники скрылись за дальним поворотом дороги. Левон еще немного повздыхал, и все тронулись дальше. Сделали несколько шагов, и вдруг Аксент, резко повернувшись, выкрикнул:

— Погодите! А зачем мы премся туда? Ведь в поместье всем управляет Карл.

Постояли с минуту, подумали. И все же Левон настоял, что надо идти.

— Ну что ж, если решили идти, значит, идем... Может быть, со старым паном мы скорее решим дело, может, тот без него, без Карла... Этот же — скареда, скопидом...

— Верно! — согласился Аксент.

И они пошли.

В поместье им пришлось ждать минут двадцать, пока, наконец, навстречу вышел старый пан. Он показался в дверях своих белых покоев — худой, легкий, с седой жидкой бороденкой, с пенсне на тонком красном носу. Он даже не стал с ними говорить, сразу занекал, с отчаянной категоричностью замахал своими маленькими ручками.

— Нет-нет-нет... Нет-нет-нет... Я стар уже и в эти дела не вмешиваюсь... С Карлом Ивановичем, с Карлом Ивановичем... Да-да, с Карлом Ивановичем... Все это только с ним, да-да... А я, голубчики, решительно ничего не знаю... Нет-нет-нет... Уж вы с Карлом Ивановичем... с ним... да-да-да... Он скоро вернется, вы можете подождать, да-да...

И он так же неожиданно, как и появился, исчез в дверях, будто сбежал от непрошеных гостей. Делегация постояла немного, в отчаянии почесывая затылки.

— Что же делать будем? — нерешительно спросил Левон, первый нарушив молчание.

Лесницкий твердо настаивал, чтобы дождаться возвращения Карла:

— Не ходить же нам сюда несколько раз! Да и этот старый пан сказал, что Карл скоро вернется...

Решили дожидаться. Отошли от парадного крыльца, остановились возле старой конюшни в глубине двора. Левон с Аксентом сели на землю, Лесницкий остался стоять, только прислонился спиною к стене. Он уже не слушал, о чем говорили друзья,— все его мысли были заняты Раисой. Ему казалось, она стоит рядом с ним, тихо улыбается, хочет что-то сказать... И сердце наполнилось щемящей тревогой. Он отчетливо представлял возможную встречу:

«Вот она сейчас появится. Будет здесь проезжать, а может, совсем рядом пройдет. Заметит ли его, бросит ли хоть один взгляд, скажет ли слово?..»

И его возбужденное воображение рисовало самые различные варианты встречи, уже были подготовлены целые диалоги, полные возвышенных обращений и многозначительных намеков. Дальше — больше. Перед его мысленным взором разворачивались широкие — в ярких сказочных красках — полотна. То он представлял себя ловким и смелым наездником, проделывавшим перед нею самые невероятные фокусы, каких и Карл не знал; то он видел ее доверчивую, очаровательную улыбку, от которой огнем пылала душа...

— Чтобы мы уже навсегда закрепили ее за собою... Как ты, Василь, думаешь?

— Что, что вы говорите?..

— Если Карл согласится... Нам бы надо было тогда завести какую-нибудь форму, чтобы уж навсегда...чтоб снова не отобрал, а?..

Лесницкий, не подумав, тут же согласился:

— Да, конечно. Как же иначе...

Старый пан оказался прав,— вскоре послышался конский топот, а еще через минуту из темной липовой аллеи, что от большака вела к помещичьему дому, выехали уже знакомые всадники. Они галопом промчались через двор и остановились неподалеку от конюшни, где в ожидании стояла зеленичанская делегация. Лесницкий жадным взглядом уставился на барышню, с лихорадочным вниманием следил за каждым ее движением.

Карл помог Раисе слезть с лошади. Барышня с девичьей доверчивостью оперлась на услужливо подставленное плечо и легко, как козочка, соскочила на землю.

Она прошла мимо Лесницкого, даже не взглянув в ту сторону, где он стоял, поправляя на ходу измятое во время езды платье.

Карл увидел стоявших в стороне крестьян, остановился. Лицо его было злым и недовольным.

— Вы ко мне?

Он даже не повернулся к ним, а выжидательно продолжал стоять вполоборота, наклонив голову.

Левон поспешно снял перед паном шапку и поклонился в самый пояс.

— День добрый, паночку! Вот мы все решили прийти к вашей милости...

Пролепетал подобострастно и несколько раз толкнул в бок Лесницкого.

— Василь, ну что ты... говори...

Лесницкий сделал полшага вперед и стал говорить. Говорил он легко и свободно, будто обращался к пану не с просьбой, а рассказывал ему какую-то забавную историю. Он знал, что сельчанам, особенно Левону, это не понравится, что, по их мнению, надо бы просить, уговаривать, услаждать панское самолюбие. И не ошибся. Левон нетерпеливо поглядывал на него, злился и вот-вот готов был прервать его. Увидев это, Лесницкий нарочно заговорил еще смелее, даже со злыми нотками в голосе,— пусть себе, думал он, сердятся, пусть потом ругают: довольно терпеть оскорбления и обиды, сейчас все равные...

Карл молча, в той же позе, выслушал Лесницкого,— только морщины на его лице то разглаживались, то опять собирались в мелкую густую сетку; стоял он мрачный, угрюмый. Когда Лесницкий кончил, Карл повернулся к нему, всего его измерил своим холодным взглядом. Лесницкому удалось совсем близко заглянуть в леденящие, как сталь, совершенно черные глаза; казалось, они тонули в своей собственной бездонной глубине. Вместе с тем глаза Карла отражали мечтательную, какую-то непонятную мягкость. И вот это странное сочетание леденящего холода и неожиданной мягкости придавало им удивительную привлекательность. Пожалуй, только сейчас Лесницкий понял, почему некоторые бездумные деревенские бабы так быстро влюблялись в Карла и сами набивались на встречи с ним.

Карл заговорил тихим, низким и немного охрипшим голосом. Слово от слова он отделял небольшой, едва уловимой паузой.

— Вы, как мне кажется, интеллигентный человек, а говорите очевидную чепуху... Вы меня до слез насмешили (хотя на его лице не было и следа улыбки)... Вы хотите, чтобы я отдал кусок земли только потому, что где-то кто-то пустил по миру ничем не обоснованный слух... Вы разве не понимаете, насколько все это неуместно и глупо?

Карл собрался было уже уходить. Тогда не удержался старик Левон.

— Паночек! Как же нам дальше жить-то? Каждый год платим такие деньги!..

— Я тут ни при чем... Скажите лучше своим мужикам, чтобы поспешили с деньгами, потому что ко мне купцы уже приходили, продам кому-нибудь другому...

И пошагал к дому.

— Паночек! — успел еще крикнуть Левон. Но тот не обратил на него внимания.

Дед Левон молча стал напяливать на голову шапку. На его густо заросшем лице как-то смешно отражалась злоба и тупая растерянность. Глядя куда-то в пустое пространство, он произнес тихим голосом, в котором прозвучала одновременно обида, отчаяние, укор и ненависть — масса самых разных чувств.

— Надо было просить... просить надо было...

Лесницкий понял, это был упрек в его адрес, и уже было собрался спорить, но Аксент его опередил:

— Разве упросишь такую стерву... Себя только унижать будешь...

Левон согласился. Да он и сказал, наверное, только для того, чтобы потом выместить на ком-нибудь свою злость. По дороге домой Левон на чем свет стоит ругал ненавистного Карла. Ругал отборно, ни на минугу не успокаиваясь, нанизывая на бесконечную цепочку самые острые, самые резкие ругательства. Лесницкий с Аксентом слушали-слушали, крепились-крепились, но в конце-концов и они не выдержали — расхохотались на весь лес. Даже сам дед Левон улыбнулся.

В Зеленичах с нетерпением ждали «делегатов». И только увидели их — сразу поняли, по выражению лиц догадались, дела плохи. Но тем не менее заставили обо всем рассказать с мельчайшими подробностями — как что было, как принял пан, как с ним разговаривали, что и как он отвечал. Потом все дружно принялись ругать помещиков и делали это не хуже самого Левона. Тогда же вспомнили про волость. И ухватились за эту мысль.

— В волость надо! Айда в волость! Может там скорее разберутся...

Лесницкий знал, в волости будет то же самое, что и у пана. Однако не хотел нарушать общего согласия и перечить людям, не хотел разрушать ту душевную близость, которая уже установилась у него с крестьянами родного села. Он быстро запряг свою лошадь, и они втроем тут же отправились в волость.

До волости было верст семь. Делегаты приехали туда пополудни. Около часа пришлось ждать,— все волостные были на митинге. Они решили тоже зайти в школьное помещение, где проходил митинг, и послушать ораторов. Какой-то плюгавенький человечек во френче объяснял, какая разница между монархией и республикой и что такое учредительный сейм. Закончив свою речь, он почему-то обратился к присутствующим с предложением, чтобы кто-нибудь повторил то, о чем он рассказал. Сначала все молчали, затем кто-то из дальнего угла несмело подал голос:

— А война скоро кончится?

Плюгавенький заметил, что это «не по существу», но сказал, что необходимо и дальше бороться с врагом, необходимо под-

держивать армию, что на фронте сейчас идет широкое наступление и приближается день победы.

Задал вопрос и Аксент — просто так, скорее всего от нечего делать:

— А вот ежели некоторые инвалиды войны пришли без рук или без ног... Им будет оказана какая-нибудь помощь?

Плюгавенький ответил, что будет. И еще что-то говорил, да только Аксент уже не слушал.

После митинга «делегаты» подались в волость. Там им слово в слово повторили то же самое, что сказал и Карл: на одни лишь слухи они опираться не могут, а документов, подтверждающих претензии крестьян, ни у кого нет, да и вообще такие дела решаются только в судебном порядке. Когда же Аксент завел разговор про заслуги на фронтах, а Левон промямлил что-то про «свободу», то им прочли целую лекцию о борьбе с анархией, о гражданской дисциплине и высокой воле учредительного сейма, на что они вынуждены были отвечать туманными словами, которые, однако, ярко характеризовали их полную лояльность,— как например:

— Известное дело... Ну кто ж там что... Это само собою... Конечно, а как же...

В деревне и на этот раз ждали их с огромным нетерпением, да только снова по выражениям лиц поняли — дела дрянь... И опять выпытывали все до мельчайших подробностей. Потом ругались и начинали серьезное обсуждение вопроса. Говорили, спорили. до позднего вечера, а вечером снова собрались в хате у Лесницкого, чтобы продолжить беседу. Все село говорило об одном — о луке. Бабы подняли шум еще больший, чем мужчины, даже мальчишки и те во время игр вдруг начинали делиться заветной мечтой:

— Степка! Вот будет здорово, когда лука снова нашей станет, а? Тогда и смородина будет наша — никто не прогонит нас, хоть и по лугу будем бегать... Известное дело — свой луг...

В результате всех этих горячих споров и обсуждений было принято такое решение:

Аксенту без промедления отправляться в губернию, отыскать там того пьянчужку, купить ему четверть водки — и пусть выручает. Вместе с тем узнать в городе, что слышно про войну, про порядки,— останутся ли паны и дальше, будет ли какая прибавка земли... Нужные на дорогу деньги собрать со всех жителей деревни.

В тот вечер сельчане легли спать с твердой верой в успех своего справедливого дела.

Аксента проводили до переправы почти всем селом. Он шел в окружении толпы с видом человека, который отважился на весьма опасный, рискованный поступок. Вид у него действительно был важный,— он снисходительно поглядывал по сто-

ронам и отвечал на бесконечные предупреждения и советы сельчан.

— Я знаю, что надо делать — уж вы можете не волноваться. Разве мне впервой? Помню, как-то было дело... Послали было меня ребята — своя братва, солдаты — к самому генерал-енфантеру графу Песоцкому,— была жалоба на несправедливости разные... Прихожу я, меня допускают, значит... Так и так, ваше высокопревосходительство...

Сельчане слушали Аксента очень внимательно, не перебивали. Сегодня с полным уважением относились к каждому его слову, охотно и деликатно поддакивали. Известное дело, человек «обчественный», едет решать важный вопрос.

Те же, кто плелся сзади, кому не выпала честь вести разговор с Аксентом,— те тупо смотрели в землю, глубокомысленно сводили брови, морщили лбы и важно замечали:

— Гм... Кто его знает... Все может быть. Может, что-нибудь и выйдет...

На паром взошли только человек пять — самые заводные, активные. Остальные остались на берегу: что-то кричали, некоторые подкидывали вверх шапки. Затем шумной толпой двинулись назад в деревню.

Среди немногих, что провожали посланца за реку, был и Лесницкий. Все время он молчал, только уже прощаясь, тепло, по-дружески пожимая друг другу руки, сказал Аксенту:

— Если что — шли телеграмму.

Это Аксенту понравилось. Он многозначительно кивнул головой, словно хотел сказать:

«Дело ясное, я уже знаю... А они... пусть поговорят... Темный народ...»

И пошел, поковылял не спеша Аксент — подался искать для сельчан правду и справедливость.

Крестьяне молча погнали назад паром.На душе у всех почему-то осталась тихая печаль, как будто каждый провел в дальнюю дорогу близкого и дорогого человека. Усугублялось настроение, быть может, еще и погодой. День стоял серый, сырой, мрачный. Над Днепром шумел пронизывающий, неласковый ветер. Казалось, прилетал он откуда-то из чужих краев, из студено-туманной дали и — мудрый, трудолюбивый — стремительно мчался дальше, на лету прихватив с собой в неведомые просторы частицу человеческих желаний. Потому, видно, и ноет в такое ненастье сердце, потому и опадает в глубине души холодная тень нежданной разлуки, что пролетный ветер бездумно растрясает человеческие чувства и увлекает их обрывки в неведомый, загадочный мир.

По Днепру растревоженным роем неслись студеные волны. Они были иссиня-черные, с густым металлическим блеском. Лесницкому захотелось вдруг покататься сейчас на лодке, покачаться немного на этих неспокойно-бурлящих волнах. Он остался на переправе и, как только все ушли, попросил

у паромщика лодку. Однако вволю покататься не удалось. Волны сердито швыряли в разные стороны непослушную лодку, она тяжело ворочалась с борта на борт, все время стараясь повернуться боком под ветер. Минут десять Лесницкий боролся с ее капризным характером, совсем было выбился из сил, потом плюнул на все и разочарованный вернулся к парому.

— Лодка у вас, дедушка, как неповоротливое бревно.

Паромщик Савка флегматично согласился:

— Тяжелая лодка, неудобная...

Нос одной из лодок, на которых держался паром, был прикрыт соломенной крышей. В этой небольшой уютной будочке, спрятавшись от пронизывающего ветра, паромщик плел рыбачью сеть. Лесницкому почему-то не хотелось идти домой, и он решил побеседовать немного со стариком.

— Дедушка! Нельзя ли к вам в будку?

— Заходи, Василек, заходи. Погрейся чуток, уж очень злой сегодня ветер, просто беда... Местечко и для тебя отыщется, залезай, смелее...

Паромщик Савка любил Лесницкого. Быть может, тешила стариковское сердце мысль, что вот ученый, образованный парень, а не сторонится его, признает за родню, с уважением всегда относится. Любил старик поболтать с Лесницким, рассказать какую-либо забавную небылицу или удивительную старую историю. А Савка многое видел на своем долгом веку, ой многое! Не прошли без следа семь или восемь десятков лет жизни. Крепкая память надежно сохранила огромное множество интереснейших воспоминаний и событий, в которых здоровая жизненная мудрость переплелась с густой сетью древних преданий.

Сейчас Савка уже совсем стар, за последние годы он особенно заметно сдал. Годы согнули его в три погибели, забрали силы и вообще сделали из него печальную карикатуру на человека. У него, как у молодого котенка, все время слипались глаза,— он почти совсем ослеп; криво сжатые губы сильно выпирали вперед, и поэтому казалось, что старик на кого-то очень обиделся; бородка была совсем белая, куцая. И фигура такая же: одна нога, как палка, не сгибается в колене, другая сгибается, зато стопа вся искривлена. Идет старик, словно на костылях, с боку на бок переваливается...

А с паромом хорошо справляется. Да еще редко кто так ловко правит лодкой,— и годы нипочем.

Савка спросил у Василя, кого это и куда провожали всем народом. Лесницкий постарался ему все объяснить. Выслушав, старик только безнадежно покачал головой.

— Эх, сынок! Трудно с паном тягаться... Другой раз готов был и свое кровное отдать, только бы не судиться с ним. Не гляди, что много у него разного добра, все равно глаза таращит от жадности... Ох и любят же чужое добро. Готовы

последнюю нитку сорвать с мужика... Была, конечно же была эта лука у крестьян. Я хорошо помню. И суд помню, как был... Отсудил пан луку... Ясное дело, богатый да половчее нас всех оказался, хитрая голова... Что ты поделаешь с таким, когда он всюду — свой, всюду принимают его с честью, с почетом... Ты будешь у порога стоять, а перед ним с поклоном дверь отворят, самый большой начальник к себе позовет... Эх-хе-хе... Как только пошли по свету паны, не стало правды, пропала где-то, не найти ее никак. А была когда-то...

— Дедушка! Да разве было такое время, когда люди панов не знали?

— Было, было, а как же! Раньше, бывало, и не знали, что это за пан. Все работали в поте лица своего, земли хватало,— известное дело, людей тогда было мало на свете, все жили согласно, один другого уважали, бога боялись. А как же, сынок, было такое время, было, дорогой... Только люди не знали тогда этой науки, без всякой механики жили. Трудились все от мала до велика. Это потом уже, много позже, стал дьявол искушать людей, чтоб жили своим умом, а не божьей премудростью, взялся учить их разному лукавству. Тогда-то, кто похитрее-помудрее, и стал думать-гадать, как бы это обвести своего же брата вокруг пальца, как бы поживиться за его счет. Вот и стали тогда, кто послабее да поглупее, на тех хитрецов работать, сами же в нужде большой жить. А те взяли силу и уже под палкой погнали несчастных к себе на работу. Так и завелись паны-кровопивцы... Дьявол-искуситель все это подстроил, он поделил человеческий род...

И немного помолчав, дед добавил тоном добровольной уступки:

— А может, и не так... Кто знает?.. Вы, молодые, уже не признаете ни бога, ни черта... Может, и не так, никто не скажет...

— А как же, дед, дальше будет? Неужто паны навсегда останутся?

Савка снова сделал паузу, поставил на коленях сетку. Лесницкий уже знал, старик сейчас начнет рассказывать одно из бесчисленных преданий, и собрался слушать.

— Кто знает, милый... Трудно сказать, как и какой стороной все повернется... Когда-то, давным-давно, может, в детстве еще, слышал я байку одну. Про это самое. А вообще-то много я знал всяких баек, да только почти все забыты. Так вот байка про Иваньку-Простачка. Было это тогда, когда уже завелись паны, когда стали они гонять мужиков к себе на работы. Ходят мужики, работают на тех панов — паны только руки потирают, от жиру бесятся, а мужики завсегда голодные, холодные — дыхнуть некогда, света божьего не видят. И так привыкли со временем к своему горю-беде, что совсем уже было перестали думать про лучшую жизнь — будто ее никогда и не было, будто испокон веку так богом положено.

Отцы, мол, наши так жили, деды так жили, так уже, видно, и нам до самой могилы тянуть лямку придется. Но вот родился в том крае мальчишка. Назвали его Иванькой-Простачком. Рос он немощным, слабеньким, жил тихо, никому не был в тягость, никто его не видел и не трогал. Так и рос Иванька лет до двадцати. Паны словно бы забыли о нем — на работу не гоняли и не беспокоили — какой уж из него работник... Вся деревня, бывало, уходит на барщину, а он один остается с малыми детьми, гуляет с ними, забавляется. И вот однажды забрели в ту деревню старцы. Присели на завалинке, собрались закурить. И вдруг выясняется, огня ни у кого нету. Попросили они Иваньку — тот и принес им огонька из хаты. Почему же ты,— спрашивают,— здесь один, почему ничего не делаешь? Что я, говорит, буду делать, если все, что б ни сделал, пойдет пану. Все загребет под себя, все отберет, до последней жилы вытянет из мужика. Тогда старцы взяли свои инструменты и заиграли. Первый раз заиграли — Иваньке разум дали; второй раз заиграли — язык Иваньке развязали; третий раз заиграли — в сердце жалости нагнали. И только ушли те старцы, Иванька давай мастерить себе дудку. Смастерил да как заиграет, и так красиво, так печально, что не только люди, а и звери и птицы замерли. Слушают, не наслушаются. Отправился тогда Иванька-Простачок по свету белу бродить и на дудке играть. Стоит ему заиграть, у людей сразу глаза открываются: видят они, большая кривда в жизни,— одни пануют, другие горюют. Слушают дудку, а сами ума-разума набираются, думают-гадают, как им правды добиться, как долю свою найти. Дошла та музыка и до панских хоромов. Перепугались паны и надумали расправиться с Иванькой. Собрали они большое войско и пошли. Заиграет дудка на востоке, они за ней — туда, сюда, саблями размахивают, из пушек стреляют. Смотришь — а она уже на западе играет. Они туда, а она опять в другой стороне. Вот с того времени и не имеют покоя паны — все ту дудку ловят. А дудка играет себе да играет. И идет от нее эхо по всему свету, учит людей уму-разуму. И нет тому эху преград, не поймать его, не убить. Люди говорят, будто наступит время, когда все добрые люди услышат Иванькову дудку и все разом поднимутся, чтоб за правду постоять. Вот и станут тогда все люди опять равными...

Такую мне, Василек, когда-то байку рассказывали. А так А так ли будет, как говорится в ней, один бог святой знает.

Старик умолк, принялся откусывать нитку. За бортом лайбы мелодично плескались волны, где-то вверху пронзительно высвистывал перелетный ветер. Лесницкий неподвижно лежал на мягкой соломе, полностью отдавшись тихому мирному бездумью.

Дед уселся поудобнее и продолжал:

— Вот оно как, милый... Что же до меня, так паны мне

ни к чему. Я о них и думать не думаю, не в голове они. Что они мне сделают? Всю жизнь прожил бобылем, как-то все обходилось, помереть тоже сумею... Правда, когда помоложе был, бывало, и посмеяться пробовал... Однажды и со мной случилось...

Старик неестественно поморщился и просипел. Это значило, что он засмеялся.

— Да, было такое... долго, помню, хохотали... Однажды забрел я в поместье по какому-то делу, а пан увидел меня да и спрашивает: — Что, говорит, нового, Савка? Я и говорю ему: — В Николаевке, говорю, сома поймали. Двенадцать пудов один хвост... Мужикам велели запрячь коней, поехали всей толокою — гостей тогда было много. По дороге попа встретили.— Куда это всем миром? — За сомом едем. Ну и поп вместе с ними... Приехали на место, кинулись сома смотреть, а того сома и в помине нету...

И Савка опять засмеялся своим старческим смехом.

В эту минуту снаружи долетел конский топот. Кто-то верхом подъезжал к парому. У Лесницкого почему-то тревожно забилось сердце. Он остановил старика:

— Не волнуйтесь! Я перевезу.

И сам быстро вылез из будки.

У самого парома слезала с лошади Раиса. Она сразу заметила Лесницкого, кокетливо улыбнулась, покачала головой. Он отбросил в сторону жердь, помог ей завести коня на паром. Барышня с нескрываемым удивлением спросила:

— Что вы здесь делаете?

— Пришел к старику послушать сказки и разные забавные истории. Теперь вместо него буду вас перевозить на другой берег.

— Не надо. Я сама.

Раиса взялась за канат, изо всех сил потянула на себя, но паром даже с места не тронулся.

— Что же вы стоите? Помогите!

— Но ведь вы сказали, сами справитесь...

Она сделала вид, что сердится.

— Вы опять стали грубить?

Вдвоем они быстро стронули с места паром, дальше он пошел легко и плавно. Однако Лесницкий не спешил тянуть,— хотел подольше побыть с нею наедине. Он молча смотрел на нее и улыбался, а она все говорила:

— Вы любите народные сказки?.. Когда-то и я ими увлекалась. Няня много их рассказывала. Да и сейчас люблю... сказки, песни...

Раиса вдруг умолкла, как будто вспомнила что-то очень важное.

— Послушайте... как вас... как ваше имя, отчество?

— Василий Данилович.

— Так вот что, Василий Данилович. Скоро будет Купала...

Да, да, Купала. Мне очень хотелось бы послушать, как поют купальские песни... Вы не взяли б меня с собой?.. Ведь вы все это хорошо знаете, не правда ли? Итак, договорились?

— Договорились. Только где мы встретимся?

— Придете к нам... Нет, лучше не так... Встретимся мы с вами — знаете где? — на нашем кладбище, возле часовни... Хорошо? Вы не боитесь?.. Когда мне надо быть там?

— Когда стемнеет...

— Обязательно буду.

— Приходите.

Паром пристал к берегу. Раиса ловко вскочила на коня, с веселой улыбкой помахала Лесницкому рукой и быстро скрылась за бугром.

Лесницкий стоял как ошеломленный. Все произошло настолько неожиданно, что он не знал, о чем и думать,— мелькнула, словно солнечный луч, и растворилась на глазах. Только сердце трепетно забилось в груди,— оно еще долго отсчитывало свои лихорадочные удары, стремительно гнало к голове потоки горячей крови.

Какое-то время он неподвижно еще стоял у парома, облокотившись на перила, и смотрел вдаль, туда, где скрылась Раиса. Ветер приятно холодил его пылающие щеки, лоб. Потом он снова нырнул в будку к Савке и, как-то весь расслабившись после нервного напряжения, со сладостным чувством облегчения растянулся на мягкой соломе.

— Барышня поехала? — то ли спросил, то ли просто констатировал факт старик.

— Да, она.

Дед помолчал. Затем глубоко вздохнул и тихо забубнил себе под нос:

— Эх-хе-хе... И что только не выделывают эти паны, что не выдумывают... С жиру бесятся... Делают, что хотят. Ни бога не боятся, ни черта... И вот растет сирота... Прижил... хе-хе-хе... пять тысяч уплатил...

Лесницкий не смог скрыть своего любопытства, спросил у старика:

— О ком это вы, дедушка, говорите?

— Да о ней-то, барышне... Кто знает, может, все это неправда. Мало о чем говорят люди...

— Расскажите, дедушка!

— Поведал мне про это один еврей — он тогда все терся возле поместья... Старый пан вдовцом оставался после смерти второй жены... И случись однажды приехать в местечко немцу-аптекарю. А у того немца да была очень красивая жена... Я, правда, видел ее. Не скажу, чтоб особенная какая-нибудь — баба как баба. Да только старый пан рассудил иначе, присмотрел ту немцеву бабу. Ну, и купил... пять тысяч рублев словно коту под хвост выбросил...

— Как это купил?

— А очень просто. Явился к немцу и говорит: продай жену. Ну, а тот дюже охочий был до денег — согласился. Кто их там разберет... Или они разлуку взяли, или она по своей охоте пошла к пану. Но прижил-таки пан с нею дочку — вот эту самую барышню... А год то ли два погодя баба та померла, немка, значит... Люди разное плели потом... Один говорил, что свел ее со свету... известное дело — надоела была... А другие уверяли, что и сейчас еще живет где-то в Сибири или в Америке... Только пан не хочет, чтоб люди знали про это... Так и росла она без матери... А уж каждый знает, какое счастье дитяти расти без матери... Да, видно, что-то было у того пана с немкой, потому как очень крепко его загреб потом в свои руки Карл. Братом доводится он немке...

Лесницкий слушал, затаив дыхание,— боялся пропустить хотя бы слово. Эта история произвела на него огромное впечатление. Образ Раисы встал перед его глазами в новом романтически-таинственном свете и от этого стал еще более привлекательным.

Дед кончил рассказывать, но еще долго ворчал себе в бороду о распутстве, о панском своеволии. Лесницкому это было уже неинтересно. Все его нутро кипело от острых впечатлений, от бурного прилива самых неожиданных чувств. Он уже не мог спокойно усидеть на месте, тянуло пойти куда-то, чтобы в тишине и уединении разобраться в душевном смятении.

Он перегнал назад паром, распрощался со стариком и пошел берегом к луке, о которой столько было разговоров в последние дни. Забрел в самый дальний ее конец, лег в траву (трава была в рост человека) и дал полную волю своим мыслям.

В лозовых кустах о чем-то своем высвистывал перелетный ветер, где-то рядом плескались о крутой берег холодные волны, над головой мягко шумела трава.

Лесницкий неподвижно лежал на спине и слушал, как поет раздольно-вольные песни луговой простор, как влечет он в неизведанный край растревоженное сердце.

А воображение тем временем ткало из ярких пламенных желаний удивительные цветные полотна, они привлекали взор своей неповторимой красотой, заставляли биться сердце в каком-то тревожно-радостном предчувствии.

Домой Лесницкий вернулся вечером. Там его ждала еще одна весть. Пришло из города письмо от Андрея, в котором тот сообщал, что через несколько дней приедет к нему, Лесницкому, в деревню, чтоб купить там кое-какие продукты. Андрей писал, что в городе все очень дорого, что уже не хватает денег на жизнь и приходится голодать.

Лесницкий недоверчиво покачал головой. Очень странным и неправдоподобным показалось ему желание Андрея отправиться в Зеленичи за продуктами. Он был не из тех, кого эта

проблема занимала. Было здесь что-то другое, но из письма ничего нельзя было понять.

Лесницкий не стал гадать — на уме у него было другое. Он бросил конверт на стол и махнул рукой.

— Пусть приезжает... Там видно будет...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В чулан с востока проник золотистый луч багряного солнца и ярким пятном упал на глаза Лесницкому. Лесницкий сонно пожмурился и стал просыпаться. В его сознание, еще затянутое пеленой сонной дремы, тотчас ворвалось: самодовольное кудахтанье кур, заботливо-резвое тенькание воробьев на крыше, далекие — в поле — голоса, смешанные с мычанием коров и блеянием овец, и какой-то непонятный ритмичный стук в соседнем дворе. Все это, насыщенное свежим, ядреным запахом погожего утра, рождало в душе Лесницкого тихую умиротворенную радость. Он блаженно улыбнулся и вспомнил, что сегодня вечером купальский праздник.

Вставать не хотелось — в голове еще неслышно носились тени какого-то чудесного сна, еще искрились в сердце переливчатые всплески сладостно-томных ощущений. Он потянулся и опять задремал со светлой солнечной улыбкой на лице.

Окончательно проснуться заставил Лесницкого скрип двери в хате и громкие голоса во дворе. Один голос был отца, а второй неизвестно чей, однако удивительно знакомый и приятный. Лесницкий открыл глаза и с любопытством выглянул во двор. К нему шел своей мягкой, вразвалку, походкой Андрей. Шел и улыбался — по-дружески приветливо и ласково.

— Еще спишь? Здорово! Не ждал меня, а?

Он живо вскочил в чулан и, не ожидая приглашения, сел к Лесницкому на кровать.

— Неплохо ты устроился... Наверное, славно тут спать... А я только сейчас приехал. На станции встретил одного вашего, вместе топали сюда, показал, где ты живешь...

— Безногий?

— Да, он...

— Это наш выборный, ездил в город по общественным делам...

— Я уже знаю, по дороге он мне обо всем рассказал. Ничего он в городе не добился. Вернулся злой, как волк,— настоящим большевиком стал...— и Андрей добродушно засмеялся.

Смех у Андрея остался прежним — громким и резким.

И та же многозначительная улыбка на лице. Но сейчас он почему-то показался Лесницкому особенно симпатичным. Лесницкий искренне обрадовался этой встрече — как будто увидел перед собою желанного и дорогого человека. И он с теплым, поистине родственным чувством восхищался крепкой фигурой Андрея, его крупным и вместе с тем мягко очерченным лицом.

Андрей за последнее время заметно возмужал, стал более серьезным и вдумчивым. От него сейчас еще сильнее веяло той доброй силой, тем мягким мужеством, которые и прежде замечал в нем Лесницкий.

Андрей привез с собою дыхание большого и шумного города. До этого он ни разу и не вспомнил про город — так далеко он остался где-то позади. А теперь Лесницкий вдруг почувствовал его душою, увидел в таинственной Андреевой улыбке, в широко раскрытых, с хитринкой, глазах. И сразу захотелось узнать, что там, в городе, сейчас делается, каким лихорадочным водоворотом захвачена жизнь городских улиц и площадей. На этот вопрос Лесницкого Андрей ответил не сразу, немного подумав:

— В городе все хорошо, лучше и не надо. В ставку со всех сторон слетаются вороны, начинается черный поход. Часто наезжает Керенский — завоевывает букеты цветов и женские сердца. Очень здорово и ловко затягивает арию из оперы «Война до победы», и ему хлопают в ладоши. Ну, что еще?.. Травят большевиков, душат рабочих, обещают учредительный сейм и разные льготы. Растет дороговизна, массы нищают... Словом, революция зреет не по дням, а по часам. Чем хуже — тем лучше, ха-ха-ха... Понимаешь меня?

— Не совсем. Ведь ты знаешь, будучи здесь, в деревне, я очень отстал от жизни. А ты еще вздумал разговаривать со мной какими-то загадками...

— Ничего... Придет время, обо всем расскажу подробно. Да, чуть не забыл... Тебе письмо от Халимы... Нина же просила передать привет.

— Спасибо за привет. А Халима разве в городе?

— Скоро уже месяц, как приехал. Поступил недавно на службу...

В письме было написано кривыми и крупными, как и сам Халима, буквами:

«Василю — привет!

Жалею тебя, что зазря пропадаешь в зеленичском своем болоте. Жизнь разворачивается, как буря. Можно вовсю буянить. Приезжай, если хочешь, научу тебя вышибать окна. Помнишь?

Х а л и м а».

Лесницкий расхохотался. Из-за этих строк как живой выглядывал Халима — неугомонный буян с длинным носом и

энергично-угловатой, неуклюжей фигурой. Он уже успел найти какой-то способ излить свою непокорно-бурливую силу, уже готов был крошить все вокруг себя, бить окна в домах...

Лесницкий дал прочесть письмо Андрею. Пока тот читал, он с наслаждением потянулся в постели и посмотрел в бездонную глубину чистого спокойного неба. На душе сразу стало легко и радостно. Подумалось: вот где-то там, в городе, ужасные потасовки, кто-то чего-то добивается, повсюду идут горячие споры, произносятся пламенные речи. Халима собирается бить окна в домах... А здесь такая тишина, такое широкое голубое небо, такое приятное тепло, разливаемое щедрым солнцем... В полях стеной стоит богатый урожай хлебов, по обоим берегам Днепра зеленым ковром расстилаются сочные травы, жадно тянутся к свету и теплу.

— Болото, ха-ха-ха! Это он здорово...

Лесницкий серьезным тоном заметил:

— Да, у нас тут действительно тишина. Это не в городе с его шумом, нервным напряжением, тревогами. Здесь удивительный идиллический покой, такая патриархальная благодать. Хорошо жить в деревне, Андрей... Сейчас, с революцией, начнется новая работа, перед крестьянскими массами откроются широкие возможности для культурного роста, для образования... Мне кажется, будущее все-таки за деревней, а не за городом... Как ты считаешь?

Андрей на этот раз ответил тоже серьезным тоном, без обычной своей улыбки:

— Погоди! Тебе еще покажут и будущее, и культурный рост, и еще кое-что...

Помолчал некоторое время, глубоко вздохнул и задумчиво добавил:

— Болото, гм...

И опять замолчал. Лесницкому показалось, Андрей что-то прикидывает в уме, делает какие-то расчеты, и он не мешал, только внимательно следил за его мимикой. Лицо у Андрея в ту минуту выражало глубокую сосредоточенность и серьезность, даже обычная мягкость пропала; на нем вдруг очень четко проявился сильный человеческий характер.

Андрей похлопал Лесницкого по плечу и голосом, полным светлой надежды, произнес:

— Ничего, Василь, не пропадем! Оживет, разбушуется болото, и волны пойдут из конца в конец... И еще какие волны! Суровые, грозные... Многое сметут они на своем пути... Поживем, Василь,— увидим.

Потом он наклонился поближе к Лесницкому и тихо, почти шепотом, заговорил с каким-то радостным злорадством:

— В Проскудине крестьяне вырубили десять десятин панского леса и убили двух стражников... В Ходулях крестьяне самовольно поделили панскую землю и дотла сожгли панские гумна... В Овсянище крестьяне, возмущенные диким произ-

волом помещицы, полностью сожгли поместье и до последнего зернышка забрали панский хлеб. Сожжены поместья Щемелево, Гонки, Лисичино, Лавы... Начинается, Василь, буря... Грозная буря начинается, слышишь?

И он разразился своим громким металлическим хохотом. Лесницкому как-то не по себе стало.

— Послушай, Андрей, это же анархия! Ведь это наша погибель. Погибель революции, свободы, погибель всего, что мы до этого времени приобрели...

Андрей опять стал серьезным.

— А знаешь ли ты, Василь, что такое анархия? Знаешь ли ты, что анархия — это и есть революция, что только с анархии, только с беспорядка, с разрушения всех решительно законов и норм может вырасти новый порядок? Я, конечно, смеюсь, шучу, когда говорю тебе, что чем хуже — тем лучше... Однако так оно и получается,— таков закон исторического развития... Но об этом мы еще не раз поговорим с тобою... А сейчас я вот о чем хочу у тебя спросить... Как ты смотришь на всю эту вашу затею с сенокосом? Не думаешь ли ты, что здесь уже тоже есть зародок этой твоей «анархии», а?

Неожиданный вопрос застал Лесницкого врасплох, и он с растерянным видом посмотрел на Андрея.

— Да, да... я это знаю. Я, кажется, готов сделать все, что угодно, только бы не дать разгореться злым инстинктам крестьян. Ты правильно говоришь — их очень легко было подбить на это дело...

— А сейчас, считаешь, уже все обошлось? Ха-ха-ха! Не слишком ли ты наивный... Ну, довольно болтать попусту! Одевайся, пойдем в деревню — там, наверное, уже началось...

Лесницкий с тревогой уставился на Андрея.

— Слушай, Андрей. Я пойду на все, чтобы только удержать крестьян от непродуманных действий и не допустить беспорядков. Я могу надеяться на твою помощь?

Андрей засмеялся.

— Ха-ха-ха!.. Чем хуже — тем лучше!.. Одевайся да поживее...

Андрей сказал правду. Когда они, позавтракав, вышли на улицу и направились в другой конец села, они сразу же увидели большую толпу народа, собравшуюся возле Аксентовой хаты. Оттуда доносился приглушенный расстоянием гомон, в котором, однако, без особого труда можно было уловить общую людскую возбужденность и напряжение.

У Андрея огнем загорелись глаза, на устах заиграла недовольная улыбка.

— Ну как, видишь, Василь? Небось думал, все обошлось. Называется, уговорил, ха-ха!..

Возле Аксентовой хаты собрались, пожалуй, все жители села.

Через настежь раскрытые двери туда-сюда сновали сельчане. Самого Аксента на улице не было видно.

«Наверное, еще завтракает»,— мелькнуло в голове у Лесницкого.

Люди расположились вокруг в самых разных позах. Одни устроились на крыльце, другие сидели на завалинке, некоторые разлеглись прямо на траве или подпирали заборы. Многие же не находили себе места и бездумно слонялись по улице, пристраиваясь то к одной, то к другой группке возбужденных крестьян. Автюх со своей компанией скалозубов особняком сидел в дальнем конце двора,— вокруг него, как всегда, раздавался громкий, безудержный хохот.

Зеленчане уже знали, чем закончилась поездка Аксента, но тем не менее с нетерпением ждали его самого, хотели лично убедиться. Кроме того, все слышали: дело этим не кончится и будто бы придется еще что-то предпринимать. А пока одни только разжигали свои страсти, бесконечно повторяя всем желающим слушать свое возмущение и горькие обиды, другие, более рассудительные, вели беседы спокойно, мирно, заранее не предугадывая решение вопроса.

Наконец Аксент вышел на крыльцо, важно вытер усы, обвел широким взглядом сельчан, затем, прижмурив один глаз, посмотрел на солнце и только потом сошел вниз. При этом каждый шаг свой Аксент делал с таким видом, будто он и понятия не имел, что его здесь ждут люди. Когда же они окружили его плотным кольцом и со всех сторон засыпали вопросами, он также молча расчистил себе проход, подошел к завалинке, сел, закурил цигарку и уже после этого стал рассказывать. Вокруг него тотчас образовался плотный круг застывших в остром любопытстве крестьян.

— Ну что ж, браточки, послушайте, что я вам скажу. Ездил я в город, кидался во все учреждения, где только для меня были открыты двери... Разыскал я и того заштатного «асессора», с которым до этого у меня был разговор, да только приехал я с тем, с чем и поехал. Кто тут прав, а кто виноват — рассудите уж вы сами, браточки, а я расскажу все по порядку...

И полилась длинная, однообразно-нудная история Аксентовых приключений в губернском городе. Каждое слово из этой истории было полно горькой обиды и большой человеческой трагедии. Поехал мужик искать правду, обивал пороги там, где надеялся ее найти, эту правду, а натолкнулся на глухую молчаливую стену. Стучал в нее, ходил туда-сюда — и все напрасно. Так и не получив ответа, вернулся домой — растерянный и опустошенный...

С каждой минутой лица у крестьян становились все более мрачными. Глаза их уже не светились прежней надеждой, исчезли улыбки, настроение упало,— росло чувство обиды и возмущения, оно в любой миг могло прорваться страшной

волной всеобщего негодования. Надо было найти выход этому возмущению, и его искали в словах Аксента; все с напряженным вниманием ждали от него чего-то другого, а не только жалоб и нареканий на городское начальство. Поэтому, когда он закончил свой рассказ, толпа замерла в растерянности, люди не хотели смотреть друг на друга, старались отмолчаться. Казалось, все были уверены, что у Аксента есть еще о чем сказать, что он не все поведал сельчанам и самое главное, самое важное держит про себя.

Кто-то несмело спросил:

— Ну а что там еще слышно-то, в городе, так... про все остальное?

Этот вопрос, несомненно, волновал всех присутствующих. Поэтому, как только он был задан Аксенту, по всей толпе как бы прокатилась живая нервная волна,— зеленчане дружно подались вперед, чтобы не пропустить случайно какое-нибудь слово.

Аксент выдержал многозначительную паузу, отчего напряженность в толпе достигла апогея, все затаили дыхание, замерли неподвижно.

— Что слышно?.. Всего, браточки, сейчас наслышишься. Да только не знаешь, кому верить...

Он снова помолчал, окинул взглядом стоявших перед ним людей и громко выпалил:

— Вот что слышно... Если б на селе оказалось побольше толковых людей да чтобы дружно взялись — не надо было бы тогда и спрашивать: пошел да коси на здоровье...

Еще минута до боли напряженной тишины и — прорвала, хлынула в неожиданно образовавшийся проход могучая волна возмущения.

Крестьяне громко кричали, спорили, угрожали, вспоминали давнишние обиды, кого-то ругали на чем свет стоит. Глаза у всех горели беспощадно-злым огнем. В этот миг между всеми вдруг установилось удивительное понимание и согласие, у всех была одна воля, одно стремление.

И вот в это разбушевавшееся море людского недовольства бросился Лесницкий со словами уговора, стараясь успокоить и как-то сдержать злые, вовсю расходившиеся волны. Он теперь уже не думал о том, чем может закончиться его смелый маневр, он просто не мог удержаться, потому что слышал в народном гневе тяжелую и страшную угрозу, видел в распаленных, лихорадочно-поблескивающих глазах черный призрак насилия, пожаров, бесконтрольной дикой анархии. Он должен был что-то предпринять, это была его общественная обязанность.

И Лесницкий, сам смутно представляя, что делает, быстро вскочил на крыльцо и закричал необычайно резким экзальтированным голосом, заставившим всех крестьян обратить на него внимание:

— Граждане! Дайте сказать несколько слов! Послушайте меня, граждане!

Толпа как-то несмело, недоверчиво притихла, готовая в любой момент снова взорваться негодованием, если только оратор хоть чуть-чуть позволит отпустить нить острого интереса, на котором держалось общее внимание. Лесницкий хорошо чувствовал это и изо всех сил напрягал свою волю, чтобы только не выпустить эту нить и до конца высказать все, что ему хотелось. Он старался говорить тихим, но полным внутренней силы, искренним и убедительным голосом:

— Братцы! Вы меня хорошо знаете и не подумаете, будто я говорю это вам с какой-то особой целью. Мне сенокос нужен не меньше, чем вам, я не богаче вас, я такой же крестьянин, как и вы. Но послушайте меня, я очень хорошо представляю, к чему может привести вся ваша затея. Неужели вы думаете, что помещик не найдет себе защиты, что он по своей охоте допустит, чтобы вы забрали у него добро...

Кто-то крикнул:

— А разве это его добро?

— Пусть себе так, все равно... Оно за ним числится, и потому на его стороне закон... Хорошенько запомните мои слова — не кончится это добром... Помещик найдет защиту, найдет силу, чтобы задушить непорядок...

В разных концах толпы раздались робкие голоса. Они быстро ширились, нарастали, и вот уже первая волна шума прокатилась над головами зеленчан. Лесницкий напряг все силы и закричал с отчаянной натугой:

— А вы знаете, что это значит? Вы подумали, к чему это может привести, а?

Он на миг умолк, выжидая. Крестьяне тоже притихли, прислушались.

— А вот к чему... Сегодня мы заберем у пана луку, а завтра увидим, что у Юлиана есть неплохой клин пахоты,— не задумываясь, заберем этот клин, а тогда увидим, что у Александра корова лишняя, затем отправимся по чужим закромам лазить... Ну как? Вы об этом как следует подумали?

Последние слова Лесницкого произвели неожиданную реакцию в толпе. В поднявшемся вслед за ними шуме уже не чувствовалось прежнего дружного единомыслия — среди зеленчан пошло робкое замешательство, некоторые заколебались.

А в это время Андрей живо о чем-то перешептывался с Аксентом. Он горячо что-то доказывал Аксенту, и тот, соглашаясь, энергично качал головой. Потом Андрей отошел немного в сторону, а Аксент вышел вперед и важно, одним взмахом руки, успокоил крестьян. Все мигом притихли — ждали, что он еще что-то расскажет о своей поездке в город.

— Хлопцы, давайте будем соблюдать какой-то порядок...

Вот послушаем, что объявит нам человек — он со мной вместе приехал из города... Свой брат, рабочий...

Все обратили свои взгляды на Андрея, прислушались. Андрей слегка улыбнулся, искоса посмотрел сверху вниз и снисходительным тоном заявил:

— Что ж... Здесь можно — так, можно — этак... Паны зазря свою землю не отдадут, а судиться — черт у них один отсудит... Некоторые пытаются...

И он спокойно, тихо напомнил про те случаи, о которых уже говорил Лесницкому. Толпа слушала с напряженным вниманием. Кое-кто довольно поддакивал и согласно качал головою, кое-кто бросал злые взгляды на Андрея и ехидно, с недоверием, улыбался. Один из мужиков — весь красный от напряжения, с водянистыми холодными глазами — громко выкрикнул:

— Ага... Выходит — бери, хватай, где только сумеешь... Выходит, и у своих тоже можно... Ишь ты какой ловкий...

Андрей совершенно спокойно ответил:

— Если у своих лишнее, так почему бы не взять... Можно и у своих обрезать...

Поднялся страшный шум. Толпа разделилась на две группы, и эти две группы завели между собой злой, горячий спор. Повторно выступал еще Лесницкий: кричал об анархии, о беспорядках, и его дружно поддерживала одна из групп. Вторая часть зеленчан сгруппировалась вокруг Андрея и Аксента. Вскоре появился еще и Рыгор, он тоже решительно к ним присоединился. В разгар спора кто-то крикнул на них:

— Большевики! Смутьяны!..

Тогда Андрей мягко, с кошачьей ловкостью вскочил на крыльцо, с минуту постоял молча, с улыбкой глядя на толпу своими широко раскрытыми глазами, и, когда люди немного угомонились, заявил смело и решительно:

— Да, мы большевики! Я— член большевистской партии...

Все разом умолкли, уставились на него, удивленно вытаращив глаза. А он стоял и улыбался — сильный, красивый, гордый,— очаровывая всех своей откровенностью и прямотой.

— Наша партия — не враг, а друг трудовому народу... Большевики — не босяки и шпики, как вам, наверное, не раз говорили. Большевики защищают крестьян и рабочих. Мы против войны, потому что война не нужна ни крестьянину, ни рабочему. Вы видите, что дает крестьянину война (он показал на Аксента). Мы против помещиков, потому что они живут чужим трудом, пьют чужой пот. Мы говорим: земля — крестьянству. Мы против фабрикантов, потому что они тоже живут чужим потом. Мы говорим: фабрики — рабочим...

Все слушали его, затаив дыхание. А он говорил спокойно, уверенно, словно бы рассказывал интересную историю. В его словах была полная ясность — видно, поэтому их смысл так легко проникал в сознание мужиков, срастался с их плотью,

их помыслами и желаниями. Если бы кто-то и не пожелал слушать Андрея, если бы сознательно отвергал его слова, они все равно, помимо воли, лезли в голову, бередили душу, заставляли глубже задуматься над своей жизнью. И нельзя было толком разобрать: то ли это оратор, то ли это своя собственная мысль — давно выстраданная сердцем, отточенная потайными вихрями надежд и разочарований.

Хорошо умел говорить Андрей, знал, как задеть за живое. И в конце концов настолько завладел настроением сельчан, что казалось, возвысь он голос да крикни — айда на пана! — как все до единого ринулись бы вслед за ним. Когда Андрей кончил говорить, в толпе вроде бы снова воцарилось понимание и согласие, снова заговорила одна воля, одно желание. Лишь несколько человек во главе с Лесницким продолжали отстаивать свою позицию. Лесницкий попытался было еще раз выступить, что-то сказать, но Андрей, поняв его намерение, на ходу бросил легкую, веселую шутку, и того осмеяли.

Аксент взялся опять наводить порядок.

— Люди! Какое же решение будем принимать, а? Надо бы сделать все по форме. Где староста?

Старосту не нашли. Чтобы застраховать себя от возможных недоразумений, он сбежал из дому. За ним последовало еще несколько человек, те, что были побогаче. Их проводили веселыми шутками, смехом.

— Ну, так какое примем решение?

— Косить!

— Ясное дело! Нечего тянуть!

— Косить! Косить!

Кто-то опасливо уточнил:

— Только, чтоб всем селом, чтоб всем вместе держать ответ в случае чего...

Решили завтра же с утра начинать косьбу, причем косить луку всем вместе, а уж делить потом, в копнах.

После этого часть людей разошлась, остальные обступили Андрея и стали задавать ему самые разные вопросы. Он охотно отвечал, потом достал из кармана газету, несколько брошюр и стал громко читать. Лесницкий сказал, чтобы он приходил обедать, а сам пошел домой — не захотел оставаться. Было ужасно плохое настроение — мучил стыд, и все время одолевало предчувствие чего-то нехорошего. Его совершенно не убедили доводы Андрея, он просто не верил ему. Утренний разговор осел в мозгу тяжелым грузом, из головы не выходили туманные, непонятные слова, пугавшие своей новизной и необычностью.

На улице Лесницкий встретил Мокрину — она шла от колодца с полными ведрами воды. Еще издали увидела его, тепло улыбнулась.

— С полным тебя встречаю, можешь радоваться. Повезет в чем-то.

Лесницкий почему-то вспомнил про свидание с барышней. Может, с нею повезет?

Когда уже разошлись, Мокрина вдруг поставила ведра и окликнула его:

— Василь! Иди-ка сюда, что-то скажу.

Лесницкий вернулся. Мокрина смущенно глянула на него исподлобья, заулыбалась.

— Ты, наверное, вечером пойдешь к девчатам? Сегодня же Купала... сегодня все будут гулять...

Лесницкий невольно покраснел, догадался: Мокрина хочет с ним провести купальскую ночь и явно намекает на это. Что же ей ответить?

— Я сегодня занят. Я позже скажу тебе, где буду. К девушкам я не пойду.

У Мокрины в глазах застыло разочарование.

— Занят?.. А может придешь... я дома буду, никуда не пойду.

— Нет, Мокрина, сегодня я очень занят. Потом все тебе расскажу... Прощай!

Ушла она опечаленная, грустная.

Девчата на улице зазывали молодцев на праздник Купалы. Их песни, взрывы хохота, веселая перекличка были полны молодого задора и действительно влекли к себе, обещали море настоящего веселья и удовольствия.

...А кто не идет на улицу,
Ой, рано на Ивана,
Пусть лежит колодою,
Ой, рано на Ивана,
Колодою дубовою,
Ой, рано на Ивана,
Детки его телепнями,
Ой, рано на Ивана,
Пусть его ленок зарастет,
Ой, рано на Ивана,
Мокрицею, повиликою,
Ой, рано на Ивана,
Той травою, что в болоте,
Ой, рано на Ивана,
Тем осотом, что за хатой,
Ой, рано на Ивана.

Да разве мог кто-нибудь устоять и не пойти, если так настойчиво и призывно звенели девичьи голоса, если так сильно привлекали они своим глубоким, как звездное небо, лиризмом и свежестью, если обещали, что сегодня в мягком мраке ночи, разбавленном багровым отблеском костров, будет сотворен веселый молебен, в котором гимнами зазвучат девичьи свежие песни, в котором вместо утомительной скуки будет радость и смех, будет властвовать широкий размах

молодости. Купала — это же такой милый безбожный праздник, в нем так много чистой первозданной поэзии, в нем с нечестивым свободолюбием проявляется человеческое существо, которое ищет свободы и радости и хочет слиться с очаровательным солнечным богом — Природой, потому что этот бог — сама радость и независимость.

А сколько поэзии в этой наивной ворожбе, в покрытых трепетной тайной поисках цветка счастья, который потому и влечет к себе, что никогда не попадает в руки. В этой ворожбе прекрасно воскрешается детство человеческого рода, окутанное густой сетью предрассудков и чародейства, в этих гаданиях воскрешается первобытный человек — дитя могучего и страшного чуда — Природы.

Время внимательно и дотошно переворошило наследие давних времен и внесло в него свои глубокие изменения. И теперь все эти фантастические чудо-гадания — лишь наивные сказки, полные своеобразной поэзии, полные радости жизни, радужных надежд и любви.

Девчата зазывали молодцев на праздник Купалы. В эту ночь никто не должен спать — все пойдут в жито или на берег Днепра. Там ярко запылают костры — вокруг них молодежь будет водить хороводы и танцевать, петь купальские песни и разливать вокруг молодой серебристый смех. Там, в тихом ночном мраке, так радостно будет любиться, такими милыми станут девушки, а поцелуи будут слаще меда, горячее огня...

Потому что сегодня Купала — хороший, веселый, безбожный праздник.

Призывные девичьи песни подгоняли и Лесницкого. По лесу уже густо расползался вечерний мрак, укрывая собой притихшие деревья, щедро распуская вокруг черные таинственные тени. Лесницкий спешил — боялся опоздать. Перед этим его задержал Андрей. Он с трудом оторвался от бесконечных разговоров и споров,— в них прошел почти весь день. Лесницкий, конечно, не сказал, куда пойдет вечером. Как бы не так! Для Андрея это выглядело бы бестактностью, ведь паны — враги и с ними надо бороться. Значит, и барышня Раиса — тоже враг. Завтра поутру зеленчане пойдут отбирать у нее сенокос, может, и он пойдет, разве посмеешь выступить вопреки воле всей деревни?.. А сегодня он с нею встретится, будет говорить, как с приятелем, даже словом не обмолвится, что ее ждет утром...

А может рассказать ей про все, что было днем в деревне и не кривить душой, не прятаться за чужие спины?

Андрей говорил, будто бы он, Лесницкий, на собрании защищал богатеев, тянул их линию. Это он нарочно. Ох и демагог же этот Андрей! До чего здорово умеет вести за собою людей, умеет играть на самых тонких струнах их психики. Какой-то дьявол, черный гений разрушения.

Но что ему здесь надо? Чего он хочет здесь добиться? С какой целью приехал в Зеленичи?

До чего странный, загадочный человек этот Андрей. Неужто все такие большевики? Чего они хотят, чего добиваются? Совершенно понять невозможно.

Лесницкий с большим вниманием слушал сегодня Андрея. Потом они еще долго беседовали вдвоем. Андрей притягивает к себе своей искренностью, своим умением о сложных вещах говорить просто и доходчиво, ясно излагать свою программу. Лесницкий потому и страшится всего этого, что оно уж слишком просто выглядит — до дикости просто, ясно. И эта простота Лесницкому представляется сплошной демагогией, он ей не верит и готов усмотреть какой-то коварный подкоп. О, уж он не поддастся этому искушению, будет твердо держать свою линию!

При мысли о «линии» Лесницкому становится не по себе. Линии как раз и нету, он не нашел ее. Еще до этого времени царит в сознании глухая неясность — неизвестно, куда податься, за что ухватиться. Перед глазами во все стороны потянулись бесконечные стежки-дорожки, переплелись узлом проклятым — не угадать, по какой пойти, какую из них выбрать, чтобы взять правильное направление.

Нет, лучше не думать об этом.

Чтобы отогнать докучливые мысли, Лесницкий изо всех сил напрягает слух, старается уловить все тончайшие звуки притихшего леса. Откуда-то издалека долетает еще неясным музыкальным отзвуком радужный напев купальской песни. Он как-то странно блуждает среди окруженных мраком и таинственным шорохом деревьев, и начинает казаться, что это не со стороны села долетают сюда нежно-радужные звуки, а где-то здесь, рядом, в тонких и гибких ветвях берез играет невидимая арфа, развлекает засыпающих хозяев темного леса. Может, потому и этот мягкий, таинственный шорох слышится вокруг, что под нежные звуки арфы пляшут на ветвях хороводы легких русалок? Быть может, они уже вышли из глубоких вод Днепра, чтобы по-своему, по-русалочьи, отметить большой купальский праздник?

Лесницкому становится немного боязно и вместе с тем легко, вольготно. Он спешит, делает большие широкие шаги, но хочется идти еще быстрее, хочется побежать — живо, вприпрыжку, так, как когда-то в детстве. И еще очень хочется раз-другой крикнуть на весь лес. От этого желания Лесницкий не может удержаться. Он на миг останавливается и кричит что есть силы:

— О-го-го-о!

И странно. Кто-то отвечает ему из лесной чащи, далеко-далеко слышно:

— Го-го-го!

Это совсем не эхо. Эхо не бывает таким ясным, четким.

Это на самом деле кто-то откликается. Значит, глухая мрачная чащоба уже начинает жить своей таинственной купальской жизнью.

А вот и тропинка, по которой напрямик можно пройти к панскому кладбищу. Лесницкий сворачивает и почти наощупь продвигается вперед, натыкается на деревья, спотыкается о какой-то корч. Словно все это специально вышло на дорогу, чтобы загородить ему путь, удержать в глухом лесу. Он начинает злиться и еще чаще натыкается на невидимые в темноте преграды.

Но вот во мраке замельтешила какая-то светлая призрачная тень. Это — часовня. Лесницкий осторожно пробирается стороной, чтобы не напороться на железную ограду, и заходит в широкие ворота. Подходит к каплице. Вокруг пусто, никого нету, только в ушах приглушенным звоном звенит тишина.

— Неужто ушла? Может, еще не приходила?

«Когда хорошо стемнеет»... Видно, еще не приходила. А ведь может и совсем не явиться...

Лесницкий присаживается на крыльце, ждет. Постепенно, исподволь в душу закрадывается холодящий ужас. Кажется, кто-то подкрадывается сзади, останавливается за спиной, делает какие-то непонятные и страшные движения, вроде бы примеряется поудобнее схватить мертвой хваткой за горло. И мысли нету повернуться, посмотреть — страшно сдвинуться с места, кажется, вот-вот наткнешься на что-то ужасное и отвратительное.

И как приятно, радостно стало, когда в ночной тишине легко-легко зашуршали по песчаной дорожке чьи-то осторожные шаги. Затем в воротах расплывчатым серым пятном замаячила человеческая фигура, остановилась, замерла.

— Кто здесь?

— Добрый вечер, Раиса Андреевна!

— А, это вы?

Лесницкий тут же поспешил навстречу барышне, взял ее руку и поцеловал.

— Давно меня ждете?

— Что вы! Если б я прождал тут более десяти минут, меня, наверное, уже не застали бы в живых.

— Боитесь? Как не стыдно... Ну, тогда пойдем отсюда. Держите мою руку. Сегодня я отдаюсь под ваше покровительство.

Они вышли на большак и подались в сторону села. Чем ближе они подходили к околице, тем лучше слышны были песни, а потом стали долетать и взрывы хохота, выкрики подвыпивших ребят. Раиса остановилась в нерешительности.

— Мне не хотелось бы туда идти, к ним... Давайте присядем где-либо здесь, издали послушаем, как девушки поют.

Лесницкий предложил прогуляться к берегу Днепра, Раиса охотно согласилась.

Они углубились в лес. Было вокруг темно, хоть глаз выколи. Раиса доверчиво прижалась к руке Лесницкого; он медленно вел ее мимо причудливо-настороженных, хмурых деревьев, мимо кустов, свободной рукой раздвигая густые ветви, попадавшиеся на пути. Иногда он останавливался, словно бы для того, чтобы получше рассмотреть дорогу,— тогда молча подносил ее руку к губам и нежно целовал, испытывая чувство огромной радости и счастья.

К Днепру они вышли в самом конце леса, оттуда были хорошо слышны песни, шум и смех деревенской молодежи. Лесницкий вначале никак не мог разобрать, в каком месте собрались ребята и девушки, пока не блеснул раз-другой огонек на полянке между Днепром и зеленчанскими гумнами.

Да. Именно там почти каждое лето водят они хороводы и поют купальские песни.

Лесницкий с Раисой выбрали поудобнее местечко над темной, как деготь, кручей Днепра и сели.

— Ну вот, а теперь рассказывайте. Расскажите, как они всю ночь будут праздновать Купалу.

— Вначале разожгут большие яркие костры, затянут песни, начнут водить хороводы и прыгать через огонь. Потом возьмутся за гадание, станут пускать венки на воду... Слышите?

Издали донеслась протяжно-звонкая песня, которую хорошо знал и очень любил Лесницкий. В этой песне удивительно странно переплеталась радость с печалью,— казалось, будто кто-то плакал и вместе с тем, сквозь слезы, смеялся. Особенно нравились ему припевки — холодящие душу, щемяще-радостные. В такие минуты Лесницкий почему-то всегда вспоминал свое детство. В памяти всплывали холодные осенние дни, когда в поле копали картофель, когда далеко-далеко на западе морозно багрянилась заря, когда отец укладывал полные мешки на подводу, а он бегал вокруг, счастливый от мысли, что вот сейчас они поедут домой, и он сможет хорошо отогреться на горячей печке.

Лесницкий со всеми подробностями рассказал об этом Раисе и очень удивился, узнав, что она хорошо его понимает.

— Действительно, в этой песне чувствуется и бодрящий осенний холодок и одновременно надежда на приятный уют и тепло домашнего очага. Мне тоже нравится эта песня.

Они молча слушали до тех пор, пока не затих последний аккорд. Потом Лесницкий стал рассказывать про народные песни и обряды, их историю и роль в жизни человека. Раиса слушала с большим вниманием: он очень умело переплетал реальные факты со сказочной выдумкой — получалось занятно и интересно...

Уже тысяча лет, как в Белоруссии идет поединок между

богами. Сначала была всеобщая неразбериха: из Греции явились непрошеные гости — чужие, незнакомые боги и принялись изгонять наших добрых старых Перунов, Стрибогов, Дажбогов. Однако наши поганские боги не пожелали сдаваться по своей воле и решили дать бой. Пришельцы тогда заключили союз с князьями и договорились друг другу помогать. Увидели поганские боги, что дела плохи, что им не устоять против дружин княжеских, и пустились на хитрость. Они сделали вид, будто согласны сдаться, а тем временем успели скрыться и долгое время спокойно себе жили за спиной у простого люда, который их уважал и жалел. Однако греческие боги поняли эту хитрость и опять вступили в борьбу. Только на этот раз они уже не бросались все разом в битву, а дрались по одному, устраивали поединки. Так, Илья схватился с Перуном, Авлас с Велесом. И дерутся они по сегодняшний день, не в силах победить друг друга. А добрый белорусский народ все пытается их примирить и по своей душевной искренности готов верить и в тех и в других, и тем и другим готов молиться... Я очень люблю Купалу. Говорят, это бог любви. Может быть, поэтому он и донимает больше, чем кто-либо другой, своего противника. Я хорошо представляю себе Ивана Крестителя. Это — высокий, худой пустынник, отощавший от долгого поста,— с бледным, бескровным лицом. Где уж ему совладать с краснощеким Купалой, с богом солнца, украшенным венками и цветами, от одного взгляда которого пылает все весельем и жаждой любви, который любит песни и радостный смех, который разрешает человеку все земные услады и не требует ни за какой грех покаяния и мук...

И Лесницкий готов был бесконечно долго продолжать свои дифирамбы поганскому богу Купале, но Раиса вдруг схватила его за руку и показала на Днепр.

— Смотрите, смотрите! Какая красота!

Действительно, перед ними открылась чудесная картина. Оттуда, где гуляла молодежь, по реке плыло бесчисленное множество трепетных огоньков; они то сближались, то снова расходились, погоняли один другого, перегоняли. В их забавной игре скрывалась какая-то напряженная, торжественная важность, как будто они чувствовали, что за ними следят с затаенной тревогой и страхом, что кто-то ждет от них решения своей доли.

А с берега тем временем летела на воду песня, полная тревожного ожидания и мольбы. Казалось, эта песня настигает крохотные живые огоньки, парит над ними и просит-молит их о счастье для тех, кто пустил на воду эти венки. В этой песне, в этих ярких огоньках, в черной тишине притаившейся ночи действительно ощущалось дыхание далекого прошлого, поганского...

Огоньки приближались, приближалась с ними и песня. Раиса заволновалась.

— Они идут сюда. Я не хочу, чтобы нас здесь кто-нибудь увидел...

Но тревога ее была напрасной. Огоньки, не доплыв немного до них, один за другим исчезали в черных водах Днепра. Девушки с громким смехом и шумом вернулись на прежнее место,— оттуда опять прилетели звуки хороводных песен, хохот ребят и девичий писк.

— Василь Данилович! Я тоже хочу поворожить. Скажите, как это сделать?

— У меня есть две свечки. Мы тоже можем пустить венки. Я знаю одно место, где нам легко будет спуститься к воде.

— А венки?

— Венки можно сплести из папоротника — он заменит нам цветы. Тем более что папоротник сам по себе обладает чудодейственной силой.

Они быстро нарвали целую охапку папоротника. Раиса взялась плести венки, а он рассказывал фантастические сказки о том, как отважные люди отправлялись в купальскую ночь искать цветок папоротника, чудесный «цветок счастья», как находили его и вскоре после этого погибали от злой нечистой силы.

Венки получились некрасивые, аляповатые. Раиса показала ему и наивно спросила:

— Можно ли такие пускать на воду?

В ее голосе прозвучали нотки милой детской неуверенности, казалось, она обижалась на самое себя за неумение сделать лучше. Лесницкий в знак своего авторитетного одобрения несколько раз поцеловал ее руки, за что она со смехом надела ему на голову оба венка.

По хорошо знакомой Лесницкому тропинке они спустились крутым берегом к темной реке. Там глухо, недовольно плескалась вода, будто злилась на них за неуместные шутки. От Днепра веяло холодной неприступностью, глухо-затаенной озлобленностью. И оттого, что вокруг царила такая мрачная жуть, оттого, что Днепр ворчал так гневно и угрожающе,— у обоих вдруг пропало шутливое настроение, оба прониклись глубокой, тревожной настороженностью. Когда Лесницкий зажег свечки и глянул на освещенное трепетным светом лицо Раисы, он удивился его выражению. Глаза ее в ту минуту казались глубокими и совершенно черными, в них отсвечивало что-то очень далекое, болезненное, скрытое под пеленой жуткой тревоги и беспокойства.

Раиса перехватила его пристальный, пытливый взгляд и тут же стала поторапливать:

— Давайте живее...

Лесницкий подал ей венки.

— Пускайте вместе. Загадайте на кого-нибудь. Если сойдутся, значит... и вы сойдетесь, если же разойдутся, значит...

Она пустила венки на воду. Лесницкий заметил, как задрожали у нее руки, и искренне удивился.

«Неужели она и на самом деле верит в эту ворожбу?»

И самого невольно охватила какая-то непонятная липкая дрожь, он сам с нескрываемой тревогой стал следить за венками.

Венки отплыли на аршин от берега и вдруг — то ли потому, что неудачно были сплетены, то ли потому, что свечки оказались плохо привязанными,— но как-то вместе, в один и тот же миг, оба огонька погасли.

Показалось, что ночной мрак стал еще гуще, еще чернее, чем был до этого. У обоих на душе стало неприятно, грустно. С минуту они стояли молча. Потом Раиса спросила каким-то чужим, испуганно-дрожащим голосом:

— Что это значит?

Он не знал, что ей ответить. И решил отделаться веселой шуткой.

— Это значит, что вы останетесь в прежних отношениях — ни с кем не сойдетесь и не разойдетесь.

Но вышло сухо и неуместно, шутки не получилось. И вдруг Раиса схватила его за руку, порывисто затормошила, зашептала чуть не со слезами:

— Я боюсь... Василь Данилович... Мне страшно... Пойдемте скорее отсюда...

И, охваченная каким-то болезненным ужасом, она бросилась от воды, первая стала карабкаться в гору, на каждом шагу спотыкаясь, срываясь на крутой тропинке, что взбегала на обрыв. Лесницкий, сколько было силы, метнулся вслед за ней и очень вовремя догнал. Еще какой-то миг, и Раиса, сорвавшись с незнакомой тропки, полетела бы в Днепр.

Она обеими руками судорожно ухватилась за него и дрожащим голосом просила:

— Скорее, скорее уйдем отсюда... Я очень боюсь оставаться здесь, Василь Данилович...

Лесницкий взял ее на руки и осторожно вынес на берег. Там, наверху, опустил на траву, сам сел рядом, не выпуская ее из своих объятий, стал уговаривать:

— Раиса Андреевна... Раиса... Что с вами? Почему вдруг разволновались? Успокойтесь...

Она вся дрожала, жалась к нему и говорила виноватым, взволнованным голосом, словно хотела оправдаться или успокоить Лесницкого:

— Я ужасно нервная... я нервная... Мне, видно, что-то показалось — сама толком не пойму... Почему вдруг свечки погасли? Вы не знаете, Василь Данилович?

Он объяснил, что ничего удивительного здесь нет, что венки были сплетены не совсем удачно и, кроме того, он слабо прикрепил свечки. Раиса соглашалась, находила этому разные причины, будто вместе с Лесницким сама пыталась себя уго-

ворить. И потом, когда уже, казалось, она совсем успокоилась, вдруг прижалась к его груди и заплакала. Лесницкий, полный глубокой нежности, гладил ее нервно вздрагивающие плечи, целовал ее руки, готов был сам расплакаться от нахлынувшего чувства жалости. Он не уговаривал, а горячо просил, умолял ее успокоиться.

А она словно и не слышала, словно забыла о его существовании — плакала и все говорила сквозь слезы что-то странное, непонятное:

— За что это мучение... я не хочу и ничего не прошу... Зачем все эти страхи ужасные?.. Боже мой... что я делаю... Я не хочу никакой любви... мне не надо... Зачем все это? Зачем?..

Лесницкий слушал эти странные обрывки фраз и не представлял, что надо делать, как успокоить ее. Казалось, знай он, в чем здесь дело, в чем ее горе, он быстро сумел бы все поправить. Но он не знал, даже не догадывался и лишь недоуменно пожимал плечами.

— Раиса Андреевна! Расскажите мне о причине вашего страха. Что с вами вдруг случилось?

Она немного успокоилась, подняла голову. И вроде бы только теперь увидела, что плачет у него на груди, а он нежно обнимает ее и пытается уговаривать. Раиса молча отстранилась, только не одернула свою руку — оставила в его руке. Какое-то время сидели молча. Потом она облегченно вздохнула и заговорила спокойным голосом:

— Я вам столько хлопот доставила, Василь Данилович... Скажите, вы кого-нибудь любили?

Он явно растерялся.

— Как вам сказать... Я любил... Я люблю, правда, одну... женщину... Я люблю ее уже несколько лет...

— Влюбитесь в меня... Хорошо?

В ее голосе уже начинал звучать прежний веселый задор.

— Я хочу, чтобы меня кто-нибудь полюбил... Но знаете, как я хочу, чтобы меня любили? Знаете? Чтобы тот, кто в меня влюбится, забыл обо всем, что есть у него в жизни, кроме меня, чтоб он молился на меня, ждал, как милости, одной моей улыбки, чтоб он ходил за мною, как тень... Я издевалась бы над ним, я бы его мучила, терзала... О, я бы его загубила, я отравила бы ему всю жизнь, я придумала бы ему самую мучительную, самую ужасную кару... Я ненавидела бы его так, как только может ненавидеть женщина...

Она говорила это с таким страшным озлоблением и с такой искренностью, что казалось, все ее угрозы она обращала на какую-то конкретную личность и старалась во что бы то ни стало отомстить за обиды, нанесенные ей самой. А когда кончила перечислять все суровые кары тому неизвестному несчастному, который влюбится в нее, она снова весело засмеялась и повернулась к Лесницкому:

— Ну как, Василь Данилович, теперь вы согласны меня полюбить?

И, видно, крайне удивилась, когда Лесницкий вполне серьезным тоном ответил:

— Согласен, Раиса Андреевна.

— Неужели?

— Да.

Раиса помолчала, подумала. Потом заулыбалась и совсем тихо сказала:

— Смешной вы, Василь Данилович!

В это время где-то далеко в деревне запели петухи, возвещая полночь. Там, где с вечера гуляла молодежь, теперь ярко пылали костры, раздавался хохот и веселый гомон. Песен уже не было слышно, видно, сильно переусердствовали девчата.

Лесницкий первый нарушил молчание, в глубокой задумчивости произнес:

— Двенадцать часов. Именно в эту минуту расцветает огненным цветом папоротник. Для охраны этого удивительного цветка в лесу собираются ведьмы, русалки, черти. Старый Лесун у них за главного, он там самый старший. Если человек вдруг сорвет этот цветок, вокруг тотчас поднимается ужасный шум, со всех сторон к несчастному потянутся страшные чертовы лапы и будут его пинать до тех пор, пока не заставят выпустить цветок. И тогда пойдет-покатится по лесным дебрям дикий сатанинский хохот — возрадуется нечистая сила, что не допустила человека завладеть счастьем. Вот, слышите? Слышите смех?.. Слышите дьявольский писк? Ха-ха-ха...

Раиса с нетерпением прервала Лесницкого:

— Бросьте чудачить... Я не настолько наивная, чтобы не знать, как кричит сова.

В темных водах Днепра всплеснула рыба.

— Слышите, Раиса Андреевна, это рыба ловит ваши несчастливые венки.

Она засмеялась.

— Послушайте! Никогда больше не вспоминайте мне про эти венки. Хорошо?

Лесницкий согласился. На какое-то время снова воцарилось молчание. Потом Раиса вдруг уставилась на него и серьезным, даже, пожалуй, злым тоном произнесла:

— Василь Данилович! Поцелуйте меня!

Лесницкий остолбенел от неожиданности. Но как-то неуклюже прижал ее к себе и поцеловал в щеку. Она вроде бы рассердилась.

— Не так, не умеете... Вот как нужно, вот... вот...

И она стала осыпать его губы, глаза, щеки горячими, страстными поцелуями.

— Вот как нужно... Милый мой, дорогой, солнышко мое...

Лесницкий совсем растерялся. Потом как-то сразу прилила к голове горячая кровь, и он потянулся было к ней, чтобы обнять, прижать к себе. Раиса заметила его торопливое движение и сердито оттолкнула.

— Пустите меня... Мне пора домой...

Он провожал ее, испытывая чувство большого счастья и восхищения, готов был всего себя отдать этой очаровательной девушке.

Уже по дороге к ее дому Лесницкий вспомнил, что должно произойти утром на сенокосе, и ему стало до боли стыдно. И он решил рассказать ей обо всем, что было в деревне, какое приняли решение возмущенные зеленчане. Сначала она не проявила никакого интереса к его сообщению, слушала невнимательно, но потом заинтересовалась, стала сама подробно обо всем расспрашивать. Поблагодарила. Правда, Лесницкого неприятно кольнул тон этой благодарности. Получилось так, словно он сам навязал ей, как барышне, услуги и позорно донес на своих же односельчан. Однако это впечатление быстро улетучилось, и Лесницкий вернулся домой в хорошем настроении — беззаботный и веселый.

Ранним утром следующего дня по всей ширине панской луки — от Днепра до Днепра — рассыпалось больше ста человек со звонкими косами — целая рать подтянутых, загоревших работников. И сразу закипела дружная, веселая работа, на весь свой богатырский размах развернулась могучая сила крестьянская — неукротимая, напорная.

От берега до берега растянулась пестрая людская цепь — один за другим, нога в ногу, идут зеленчане, подгоняемые лихим, молодецким задором.

— Эй, берегись, пятки подрежу!

Острые косы у крестьян — сами впиваются, подрезают залитую искристой медовой росой траву — только управляйся махать вслед да отбрасывать на сторону тяжелые, непослушные кучи. Но острее кос, острее сверкающей стали веселые шутки крестьянские, звонче трелей птичьих их вольный, раскатистый смех. Под этот смех, под эти шутки живей идет работа, шире расправляются могучие плечи, быстрей поворачиваются руки. И вот уже молодцы подгоняют друг друга зычным возгласом.

— Эй, берегись, пятки подрежу!

Тревожится, волнуется глухой нетронутый сенокос. Испуганно жмется травинка к травинке: цветки, красавцы дикие, в отчаянии и страхе качают головками — что за беда, что за напастье! Кое-где изредка вспорхнет из-под ноги обезумевший перепел, а вслед ему летит громовое: ату его! Го-го-го!.. Над головой давно уже вяжет круги потревоженный чибис — ки-ги, ки-ги, ки-ги! — словно вот-вот придет погибель его

гнезду с милыми невинными птенцами. А тем временем гнездо его, может, за полверсты, быть может, даже за Днепром где-либо. До чего же хитрая, сторожкая птица!

Шумит, волнуется сенокос, начался день тревожный, не будет никому покоя. Мыши, лягушата, птенцы-слетки — те удирают, забираются вглубь, в не тронутые еще места сенокосных угодий. Когда будут докашивать — вот где потеха! Последний клин нескошенной травы окажется настоящим зоологическим садом; там соберутся, спасаясь от беспощадной косы, все представители лугового населения. Прибегут тогда деревенские мальчишки и начнут охоту на них.

Хуже всего, пожалуй, достается шмелям. Стоит кому-либо из косцов услышать их нескладное, завязшее в траве, тонкое, как волос, жужжание, как счастливец тут же бросает косу, ищет соломинку и — пропал шмелиный труд. Необычайно вкусный их мед, хотя и есть его там — один смех!

А что происходит с кузнечиками, с разными луговыми жуками и букашками.

Шумит, волнуется сенокос, начался день беспокойный, тревожный. И от этой живой суеты, от этой всеобщей паники еще веселее на душе, еще сильнее закипает кровь, хочется так развернуться, так поработать, чтобы сделать больше всех, чтобы всех обогнать.

— Эй, берегись, пятки подрежу!

Андрей совсем не умеет косить. Он неуклюже тычет косой, рвет с корнем траву, сам весь вспотел, а толку никакого. Над ним добродушно посмеиваются сельчане, да он и сам от души хохочет и всерьез опасается без пяток остаться,— со смешной готовностью уступает место всем косцам. А выйти из ряда не хочет, рвется изо всей силы, хоть бы что-нибудь накосить, хоть немного наловчиться.

Если б не пошел косить Андрей, возможно, и Лесницкий остался б дома. А так никак не выходило отказаться.

Сначала до боли было неприятно. Мучило сознание, что все делается против его воли и желания. Угнетала также неотступная мысль: это самоуправство может плохо кончиться. Кроме того, не давало покоя горькое воспоминание о том, что он все рассказал барышне и тем самым донес на сельчан, совершив гнусный, ничем не оправданный поступок. А теперь — словно бы ничего и не произошло — остается среди них, делает ту же, что и они, работу. Он понимал, насколько подло поступил, и это ужасно его беспокоило.

Однако напряженная, дружная работа крестьян, шутки и смех вокруг постепенно заглушили это чувство и вернули душевный покой. Работалось легко и приятно. От бессонной ночи во всем теле ощущалась расслабленность, но не болезненная, тяжелая, а та, от которой хочется потянуться, широко расправить плечи, почувствовать скрытую силу в руках. По-

тому работа в поле не казалась сегодня утомительной,— наоборот, она приносила радость и успокоение.

Спустя час или полтора после начала работы, когда уже далеко в глубь луки пролегли густые прокосы, на лугу появился Карл. Он верхом примчался на своем лучшем жеребце, сначала погарцевал на скошенном участке, затем подъехал к косцам и круто остановился возле них — грозный и мрачный, как туча. Раза два медленно обвел тяжелым взглядом крестьян и только тогда тихим, приглушенным голосом спросил:

— Кто вам разрешил косить?

Все молчали и, низко опустив головы, продолжали размеренно махать косами.

— Кто разрешил косить?

На этот раз в голосе его зазвучали резкие металлические нотки.

Кто-то из косцов бросил на помещика колючий взгляд и негромко, но решительно ответил:

— Ни у кого мы не спрашивали разрешения, сами себе разрешили...

Тогда еще несколько человек поддержали смельчака и наперебой заговорили:

— Ясное дело, что сами... А кто нам дозволит? Пошли вот да начали...

Карл, видно, почувствовал в ответах зеленчан нотку обдуманного, заранее подготовленного упорства. И снова понизил тон.

— Кто у вас старший?

— Все старшие... Все... Все...

— С кем я могу говорить?

— Все умеем, можно со всеми...

Вдруг, оставив прокос, вперед вышел Андрей. С видом наигранной покорности он подошел к Карлу и подчеркнуто деликатно поклонился.

— Паночку! Если будет на то ваша милость — я могу с вами поговорить... Я не умею косить — видите сами, сколько бород оставил за собою,— но говорить я — мастак. Язык у меня, как та коса под оселком, целый день может звинеть. Скажите только, что интересует вашу честь, я обо всем доложу.

Карл уставился на него мрачным взглядом, как будто хотел пронзить его насквозь, чтобы получше разглядеть, что это за человек перед ним стоит. Андрей даже бровью не повел — продолжал смотреть на него чистыми, невинно-веселыми глазами. Карл повторил свой вопрос:

— Кто позволил косить сенокос?

— Э-э, паночку! Лучше бы вы спросили, кто позволил расти этой траве, кто позволил дождю ее поливать, солнцу — согревать, ветрам — разносить по полю ее семена... А ко-

сить — это и без разрешения нетрудно. А уж если желаете знать, кто нам разрешил, то слушайте: получили мы разрешение издалека, принес нам его легкокрылый ветер, передал и строго-настрого приказал, чтобы никому не говорили, откуда пришло то разрешение. Особенно, чтоб не говорили старому пану и его верным слугам...

Услышав такое, кто-то из зеленчан прыснул со смеху. За ним второй, третий... Наконец, все косцы захохотали на все поле.

Карл весь посинел от ярости. Лицо его судорожно перекосилось, он направил коня прямо на Андрея, угрожающе взмахнув плетью. Андрей даже не шелохнулся, только глаза сверкнули гневом и с лица исчезла мягкость,— осталась решимость и воля. Он выбросил перед собою руку, словно бы сдерживая господскую прыть, другой рукой многозначительно показал на косу, рядом с ним торчавшую в земле. На Карла этот жест произвел нужное впечатление. Он тут же придержал жеребца, круто повернул его и под громкий хохот косцов ускакал прочь.

— Ату его, ату! Го-го-го!

Крестьяне потешались, как хотели, кричали вслед, угрожающе махали кулаками, пока тот не скрылся за дальним косогором. Тогда стали живо обсуждать положение. Никто не сомневался, что теперь начнется упорная борьба, и Карл попытается предпринять все от него зависящее, чтобы проучить самоуправцев. Однако все твердо стояли на том, чтобы ни перед какой угрозой не отступать и довести дело до конца. Кроме того единогласно решили как можно быстрее закончить косьбу, чтобы упредить действия помещика.

Так в горячих суждениях и спорах незаметно прошло с полчаса. И вдруг кто-то закричал:

— Смотрите, смотрите-ка! Вон куда он полетел!

Никто не заметил, как Карл уже, видно, побывав в поместье, переправился на пароме через Днепр и теперь мчался по тому берегу — в направлении станции.

— Ишь как спешит тревожную телеграмму отправить в город. И хотел бы догнать его сейчас — не догонишь... Гляди-ка как взялся...

— Побегает, побегает да на том же месте и сядет...

— А мы тем временем покончить с лукой должны да траву вывезти. Пусть тогда посвищет...

Неожиданно кому-то пришла в голову забавная мысль.

— А что, если бы мы его немного попридержали на том берегу? Возьмем да и не выпустим паром с этой стороны — пусть побегает, покричит...

Предложение всем понравилось. Косцы встретили его дружным хохотом. В ту же минуту объявилось несколько человек, которые согласились договориться с паромщиком, дедом Савкой.

Старик, когда ему рассказали о задуманном плане и попросили помочь, улыбнулся довольный, засопел и, многозначительно посмотрев на косцов, сказал:

— А я засну... Заберусь в свою будку и буду спокойно себе спать. Уж если я засну... Ого, тогда меня, наверное, сам черт на ноги не поднимет, не добудится...

Крестьяне покатились со смеху.

— Постарайся, дедуня, для нас доброе дело сделать. А мы в долгу не останемся, купим тебе табаку.

Савка махнул рукой:

— Что вы, что вы! Я сам понимаю... Когда-то, в молодости, я тоже любил штуки разные подстраивать панам.

И, разговаривая о чем-то сам с собою, полез на паром, в свою будку. Косцы, вернувшись на сенокос, с нетерпением и тревогой стали ждать возвращения Карла. Тот долго не задержался. Через какой-нибудь час он уже подъезжал к переправе. Крестьяне насторожились, прислушались. И покатились все со смеху, когда услышали его нетерпеливый крик:

— Паром! Давай паром! Живее!

— Ничего... Покричи, покричи, не лопнешь...

Кто-то предложил:

— Айда поближе — посмотрим, как он будет там носиться по берегу.

Все побросали прокосы и, взяв косы на плечи, не спеша подались к переправе. Подошли, стали громко смеяться, острить. Карл явно нервничал, туда-сюда гарцевал на своем жеребце и беспрерывно звал старика:

— Паром! Паром!

А на этом берегу зеленчане, как ни в чем не бывало, наблюдали за паном и со смехом бросали реплики.

— Погляди-ка, как крутится-вертится...

— А голосок-то какой, слышите?

— Вот бы ему нашего Семки голос... Не голос — настоящий голосище!

— Смотрите, смотрите, сейчас закричит...

— А ты откуда знаешь?

— Время уже пришло кричать...

Наконец-то Карл понял, в чем тут дело. Повернул коня и помчался назад, но, немного проехав, вернулся назад, видно, сообразил, что до ближайшего парома не менее пяти-шести верст. В нерешительности с минуту еще повертелся на берегу, потом изо всех сил перетянул плетью лошадь и направил ее в воду.

В тот же миг шутки и смех у косцов как ветром сдуло. Несмотря на то, что перед ними был враг, что каждый был бы рад его смерти,— в этот момент все невольно прониклись уважением к его поступку. Надо было обладать недюжинной ловкостью и отвагой, чтобы пуститься вплавь через Днепр в этом месте, где течение особенно стремительное. Каждый

удачный маневр всадника косцы встречали сочувственными возгласами и затаивали дыхание, когда тот вот-вот готов был свалиться с лошади под напором бурных, крутых волн.

Когда же Карл наконец, удачно преодолев водную преграду, выехал на берег — весь промокший до последней нитки,— в толпе поджидавших его крестьян опять заискрился смех, опять посыпались веселые шутки.

Тем временем Карл, в дикой ярости пришпорив жеребца, помчался к парому. Косцы мгновенно сообразили, в чем дело, в тревоге засуетились.

— Надо выручать деда...

— Не позволим бить!

— Разве Савка виноват?

— Быстро к переправе!

Но тревога их была напрасная. Пока они подбежали к парому, Карл уже успел слезть с лошади, взойти на паром и осмотреть каждую щель. Никого поблизости не встретив, он снова вскочил в седло и обезумевшим дьяволом промчался мимо оторопевшей толпы.

Зеленчане недоуменно поглядывали на паром.

— Где же Савка?

Но старик недолго испытывал любопытство сельчан. Он высунул из будки седую взлохмаченную голову и весь заколотился от своего странного смеха-шипения.

— Где же ты так ловко спрятался, дедуня?

— А я... а я... в соломе... х-х-х... черту доверишься, так и нагайки заработаешь... вот я... х-х-х и нырнул под солому... х-х-х...

Довольный Савка качался от неудержимого смеха.

Косцы стали закуривать.

В тот день была скошена большая половина луки. А назавтра, как только солнце испарило обильную ночную росу, широкий луг засверкал морем разноцветных косынок — со всего села высыпали молодицы, девчата и мальчишки сушить свежее луговое сено.

Вот когда по-настоящему ожил, зашумел веселым гомоном приднепровский сенокос. Вот когда во всю силу свою богатырскую рассыпался в солнечном просторе звонкий, серебристый смех и пошли гулять игривые шутки крестьянские. Ясное дело: если баба трещит языком, двойную работу сделает. А заставь ее молча гнуть спину, и руки опустятся у несчастной.

Мужчинам сегодня нелегко. Со всех сторон окружили бабы, прижали оравой крикливой — ни на шаг не отойти от прокоса. Попадись только в их дружный стан — заклюют, лопни, не вырвешься из цепких рук. На смех поднимут, наиздевают-

ся в полное свое удовольствие — возьми да помирай. Такая уж порода у них задиристая...

К полудню мужчины закончили косьбу. Пообедав, взялись вместе с женщинами за сено. Работа пошла еще живее — одни других подгоняли. Мужчины подсмеивались над бабами, над их бездумным усердием, а те в свою очередь старались обставить косцов, чтобы тут же пристыдить и поиздеваться. Шутки, смех, ухаживания ребят, дружеская перебранка, споры — все это ни в какой мере не мешало работе, наоборот, еще больше распаляло страсти, поднимало энергию.

Намного свободнее чувствовал себя и Андрей. Теперь он был уже в равных правах со всеми,— сгребать траву умения большого не требовалось, это не косить. Он вкладывал в работу всю свою ловкость и радовался, как ребенок. Столкнувшись с Лесницким, крикнул ему с искренним восхищением:

— Василь, братец ты мой! Вот бы так всю жизнь работать... Это же не тяжкий труд, а одно огромное удовольствие!

Лесницкий посмотрел на него и невольно залюбовался. Андрей весь раскраснелся, от него веяло крепким здоровьем, свежей силой. Казалось, это было само воплощение широкого и могучего, как природа, радостного, светлого труда. На лице у него искрилась живая детская радость и счастье. Глядя на его выражение, хотелось и самому улыбаться, улыбаться солнцу, голубому чистому небу, этим веселым трудолюбивым людям.

Андрею попалась на глаза Мокрина, и он с шутками стал возле нее увиваться. Все пытался догнать ее и, когда удавалось, делал вид, что хочет обнять вместе с сеном. Она убегала с громким смехом и еще долго хохотала издали, игриво поблескивая своими лучистыми, как черный топаз, глазами.

Он шутливо грозил:

— У-у-у, цыганочка... Вот я тебя сейчас загребу...

А Мокрина и на самом деле была очень похожа на цыганку — до черноты загорела на солнце, ее всегда белое лицо теперь казалось очень смуглым и больше обычного светилось густым здоровым румянцем. Лесницкий украдкой наблюдал за нею и убеждался, она ничуть не стала выглядеть хуже прежнего, может, даже еще краше расцвела. И тем не менее была уже не та, не такая, какой ему нравилась. Он объяснял эту перемену ее загаром, ее необычной бодростью и энергией. Ему показалось, что завидное здоровье и свежий румянец на щеках лишает Мокрину милой нежности, женственности, придает лицу грубые черты и тем самым делает ее похожей на всех остальных деревенских молодиц.

Когда он пристально к ней присматривался, когда перед глазами соблазнительно мелькала ее стройная, с приятной полнотой, фигурка, у него с новой силой проявлялось такое знакомое страстное желание, к сердцу снова подкатывала горячая волна добрых и нежных чувств. Но это было уже не совсем то, что когда-то он испытывал при встрече с нею. Эти

чувства таяли так же быстро, как и рождались — стоило ей лишь уйти из его поля зрения. И когда Лесницкий видел, что с нею шутит Андрей, что и она с ним ласкова и приветлива, его это ничуть не трогало и не волновало. Он со спокойной душой смотрел на них, искренне восхищался их молодым свежим здоровьем и даже с улыбкой думал: «Вот была бы славная парочка».

К вечеру убрали почти половину луки. На чистой, гладкой, как яйцо, полянке ровными рядами выстроились аккуратные копны; казалось, они подготовились к какой-то игре, вот-вот сорвутся с места и помчатся по убранному сенокосу, замельтешат в легких воздушных прыжках.

С ранними вечерними сумерками зеленчане возвращались в деревню. Девчата пели песни, парни неотступно вертелись рядом, пытаясь расстроить их ряды, старшие вели согласную, довольную беседу.

В тот вечер в деревне люди долго не ложились спать — не давало приподнятое настроение, с которым все вернулись с сенокоса. Хотелось поговорить, поделиться радостными чувствами, побыть вместе. Некоторые разошлись по хатам с первыми петухами. Легли, чтобы через два-три часа встать и снова приняться за тяжелую крестьянскую работу.

На второй день закончили все. К вечеру ходили между копен, любовались пахучим зеленым сеном и прикидывали, как бы поскорее разделить, чтобы завтра уже можно было развезти по сараям. И, вернувшись в село, долго еще судачили об этом, даже провели небольшую сходку; на сходке выбрали пять надежных человек, которых уполномочили разделить сено так, как они сочтут нужным и справедливым.

А на следующий день утром в Зеленичи приехали из уезда солдаты и агитатор. Агитатор созвал собрание и попробовал было затянуть песню об опасности, свободе и революции, об анархии и большевиках, о нерушимом праве собственности, об учредительном сейме и так далее. Он говорил минут пять, потом его прогнали. С солдатами дело вышло хуже. Прогнать их не удалось, при них были винтовки. Наоборот, солдаты разогнали всех до единого и даже близко не подпускали к луке с сеном.

Где-то к полудню приехали панские подводы и стали забирать готовое сено. Бессильные против вооруженной силы ходили вокруг растерянной толпой крестьяне и с горькой обидой смотрели, как свозят в ненавистное поместье плоды их трехдневного труда. С каждым увезенным возом росло в их сердцах возмущение, огнем закипала ненависть к панам,— крестьяне готовы были ринуться в яростный бой, ухватиться хоть за эту последнюю возможность, которой они располагали. Но что сделаешь с голыми руками против сабель и винтовок? Пробовали говорить с солдатами по-хорошему, вступали в сердечные беседы, расспрашивали про их нелегкую армей-

скую жизнь. Те охотно вступали в разговор с крестьянами, рассказывали о своем житье-бытье, но всякий раз, когда зеленчане пробовали повернуть в сторону того, чтобы те как-нибудь незаметно подпустили их к сепу,— солдаты сразу становились серьезными и многозначительно качали головами:

— Э нет... Сейчас у нас строго. За это нам будет — знаете что? Ну вот... Поэтому и не говорите с нами об этом...

По сенокосу — из конца в конец — на вспененном рысаке метался взволнованный Карл. На его хмуром лице застыла тревожная тень; казалось, он не замечал вокруг себя ни крестьян, ни солдат и целиком отдался хозяйственным заботам — внимательно следил за подводами, которые бесконечной вереницей тянулись к лугу. Карл прекрасно понимал: если он за день не управится вывезти сено, за ночь от него и следа не останется, поминай как звали. В темное ночное время от мужиков всего можно ждать... Ночью и солдаты могут оказаться бессильными.

Словно какой-то злой ветер начисто подметал луку. С каждым часом все меньше и меньше оставалось на ней копен,— сенокос оголялся и приобретал вид подстриженного ровного поля. И это чистое поле и этот стремительный разбег зеленой глади, которые обычно так радуют хозяйский глаз, теперь выглядели холодной и неприветливой пустыней. Крестьянское сердце разрывалось от острой боли, от тревожных мыслей про неминуемую бескормицу, про извечный голод и лишения. А вместе с отчаянием в груди рос и гнев — не минутный взрыв испепеляющей злобы, а осмысленный, выстраданный гнев, корни которого в старой, как мир ненависти, скрытой глубоко-глубоко в крестьянских душах.

Карл своего добился. До наступления вечерних сумерек на луке не осталось ни одной сухой травинки — кругом было чисто, словно кто-то прошелся с метлой.

Село глухо роптало. Все ходили злые, раздраженные, в разговорах не было прежнего согласия и взаимопонимания, люди готовы были перессориться друг с другом из-за пустяка и наговорить самых обидных слов. Повылезали из своих берлог богачи и их подпевалы, всегда выступавшие против захвата помещичьей собственности. Сейчас они ходили по селу, ехидно улыбаясь и презрительно поглядывая на бедняков. Каждый из них был рад случаю позлорадствовать.

— Ну что? Пошли против закона, против законного порядка? Поработали как следует три дня на пана, а он вроде бы и спасибо не сказал вам, а?

Лесницкий чувствовал, он с большим правом, чем кто-либо другой, может напомнить сельчанам, насколько прав был в своих рассуждениях, в своих неоднократных предостережениях,— они полностью подтвердились. Однако такт не позво-

лял ему бередить свежие раны зеленчан. Кроме того, как это ни странно, но теперь, когда все уже кончилось, он совершенно не испытывал внутреннего удовлетворения оттого, что оказался прав. Наоборот, в тяжелые минуты ему начинало казаться, что иначе и быть не могло, что все это обязательно должно было случиться и что по существу никакой ошибки здесь не произошло. И еще чувствовал он — глухо, инстинктом,— это не конец, будет, должно быть еще продолжение всей этой печальной истории.

А среди крестьян под влиянием бесконечных злобных насмешек со стороны богачей неудержимо росло мрачное, страшное недовольство. Начинали поговаривать, перешептываться по углам, что кто-то ловко подстроил все это безнадежное дело, что нарочно уговорил мужиков пойти на нарушение закона, и если б не эти чертовы зачинщики, можно было бы спокойно купить у пана луку и иметь на зиму корм скотине, а уж потом поднимать старые бумаги и подавать в суд, если на самом деле есть какие документы... Сначала недовольство среди зеленчан клокотало глухо, затаенно, но вскоре вырвалось наверх и запылало огнем страшного возмущения. Особенно сильно проявилось оно на следующий день, после того, как за бессонную ночь горькая обида выела все нутро у сельчан, а бесплодное раскаяние вконец измучило их отяжелевшие головы. Рано утром возмущение вылилось в определенную форму и нашло себе козлов отпущения. Ими оказались Аксент, Рыгор и Андрей. Особенно росло озлобление против Андрея — скорее всего потому, что он чужой, пришлый и ничего общего не имеет с крестьянской семьей.

Тогда же, рано утром, к Лесницкому пришел Аксент. По его серьезному и озабоченному виду Лесницкий сразу понял, что в селе случилось что-то неладное или должно случиться. Аксент почему-то стал расспрашивать у Андрея, что тот предполагает еще здесь, в деревне, делать, когда собирается уезжать в город и много ли у него с собой вещей. Когда наконец Андрей, сбитый с толку этими странными расспросами, прямо и открыто спросил у Аксента, что тот от него хочет, к чему ведет весь разговор, Аксент досадливо поморщился, сделал вид, что ему очень не хотелось бы об этом говорить, и подчеркнуто безразличным тоном заметил:

— Там что-то говорят мужчины... собрались толпой в конце деревни... Кто их разберет... Как бы чего не случилось... уж очень злые все, сильно возбуждены; на меня тоже плетут бог знает что, но я не боюсь, меня не тронут... Больше за тебя, Андрей, зацепились... Так вот я — кабы не вышло чего плохого...

Андрей тут же сообразил, в чем дело. Он спокойно улыбнулся, как будто и не уловил в Аксентовых словах ничего серьезного, как будто для него все это — сущая чепуха. Но Лесницкий заметил, что улыбка у Андрея ни о чем не гово-

рила, что за ней тот сознательно скрыл живую и очень напряженную мысль. Совершенно изменились и глаза его — стали как бы чужие и далекие, отрешенные от этой внешне спокойной и ничего не говорящей улыбки. Во взгляде Андрея Лесницкий уловил хорошо скрытое беспокойство. Андрей предложил:

— Может, Василь, стоит нам пройти туда?

Аксент в испуге замахал руками.

— Что ты, что ты!.. Не лезь, если тебя еще не трогают... Не хватало еще...

Предостерег от такого шага и отец Лесницкого.

— Черт им поверит... Народ такой, что в гневе готов на все... Очень злые стали люди...

Андрей поднялся и стал нервно ходить по хате. Потом вплотную подошел к Лесницкому, посмотрел на него глубоким проницательным взглядом и широко заулыбался.

— Ну так как, Василь, пойдешь со мной туда? Если согласен — айда...

Аксент со стариком пробовали было их отговаривать, но бесполезно. Лесницкий молча надел шапку — понял, Андрей своего решения уже не отменит. Аксенту ничего не оставалось, как тоже пойти вслед за ними.

Крестьяне встретили их злым, настороженным молчанием. Это было самое неприятное, ибо ставило пришедших в какое-то глупое и нелепое положение. Они не знали, о чем те думают, о чем минуту назад оживленно беседовали... Надо было с чего-то начинать разговор, не стоять же молча.

Зеленчане толпились возле крайней хаты. Главные зачинщики сидели на завалинке, остальные стояли вокруг плотным кругом. Когда они увидели подходивших Андрея, Василя и Аксента, как-то сами по себе, молча, расступились, дав им возможность подойти к самой хате. И вот тут произошло совершенно неожиданное. В то время, как Лесницкий, полный тревоги и страха, остался сзади и прижался сбоку толпы, Андрей своей смелой и решительной походкой направился в середину собравшихся крестьян, затем подошел к завалинке и, ни слова не говоря, одним движением руки, попросил подвинуться и дать ему место. Все это произошло так быстро, что ему на самом деле уступили место. Андрей устроился поудобнее, окинул всех строгим, серьезным взглядом и заговорил очень просто, как будто здесь до него шла тихая, мирная беседа о погоде, об урожае, о разных неотложных хозяйственных делах. По тону его голоса никак нельзя было подумать, что это он говорит о себе, что говорит, глядя в глаза злой, возмущенной толпе, которая, быть может, в любой миг готова разорвать его на части. В его голосе, кроме того, ощущалась глубокая убежденность в своей правоте, и это невольно заставляло каждого на какое-то короткое время сдержать свои чувства и трезво подумать над фактами.

Андрей говорил:

— Я совершенно невиноват, что так вышло. Вы у меня спросили, и я рассказал о том, что знал. Так было? Если бы вы и сейчас спросили, я ответил бы то же самое... Я твердо верю в это, убежден в этом... Подумайте сами...

Тут он сделал небольшую паузу и закончил совсем тихо, задумчиво глядя куда-то в сторону, как будто говорил не сельчанам, а беседовал сам с собою:

— Если б успели на один день раньше, все обошлось бы хорошо... Опередил, негодяй... дал телеграмму... Никто из нас не догадался — можно было кому-либо поехать, поднять на телеграфе скандал, задержать на день... Один только день...

Зеленчане хмуро молчали, но в сознании их уже шел перелом — незаметный, тихий,— их энергия, их душевный порыв постепенно направлялись в новое, открытое Андреем, русло. Началась нервная разрядка, выливалась она бурным потоком злых проклятий в адрес помещика:

— Чтоб ему ни дна ни покрышки!

— Ах ты дьявол лысый...

— Кабы ему покоя на том свете не было...

В толпе поднялся шум, крик. И пошло, и пошло... Разлилось, расплылось широкой рекой людское негодование. Наметилось два направления в общем разговоре: одни высказывали сожаление, что не управились своевременно вывезти сено, как только сгребли его в копны, другие — посылали гневные проклятия в адрес помещика. Крестьяне быстро забыли о своем недавнем гневе против Андрея и, обступив его плотной массой, с большим вниманием и доверием слушали, что он говорил. И неизвестно: то ли само по себе так получилось, то ли Андрей сумел тонко и умело воздействовать на сознание зеленчан, но среди них родилась и стала быстро расти какая-то фатальная уверенность, что это еще не конец, что у печальной истории с лукой будет продолжение — серьезное, грозное продолжение, что им еще доведется встретиться с Карлом и скрестить с ним косы.

А тем временем, вволю наговорившись, крестьяне нехотя расходились по домам — хмурые, злые — косить свои худосочные угодья и мучительно ломать голову, как выкручиваться нынче с сеном, как прокормить свою скотину.

Закружилась-завертелась черной страшной тучей тревога. Где родилась она, откуда начала свой путь и какими ветрами занесло ее в глухие, тихие села — неизвестно, но с каждым днем, с каждым часом туча становилась гуще, и тень от нее оставляла повсюду неуверенность и беспокойство, разбегалась во все стороны странными, подчас совершенно невероятными слухами. Иногда даже трудно было понять, чего больше в этой тревожной сутолоке, в неспокойных призрачных мыс-

лях крестьян: грубых, полумистических надежд на какое-то большое облегчение в жизни, на коренные перемены, открывающие людям путь к свету, к счастью, или же страшного ожидания чего-то нехорошего, надвигавшегося откуда-то черной навалой, которая еще больше омрачит и без того суровое существование мужика. Пожалуй, больше было второго, потому что в глухие углы доходили жуткие слухи, заслонявшие собою все радужные надежды и дававшие обильную пищу для тревог и душевных волнений.

На фронте полным ходом шел развал русской армии. Уже принесло свои плоды бездумно объявленное Керенским наступление. Немцы прорвали фронт, опять полилась солдатская кровь, опять полегли тысячи переодетых в серые шинели крестьян и рабочих. Пошли гулять слухи о возможном широком наступлении немцев, о захвате ими всей Белоруссии, о подготовке к эвакуации.

В Петрограде кровавым призраком пронеслись июльские дни, вслед за ними начался дикий разгром рабочих, которые шли за большевиками, самих большевиков. Пошли массовые аресты, облавы, преследования, развернули свою кровавую жандармскую деятельность обезумевшие юнкера. Контрреволюция росла, ширилась, угрожала захлестнуть и задушить все завоевания Февральской революции. В ответ на это в городах все решительнее поднимались рабочие массы, все больше и глубже проникались они революционными идеями и настроениями, которые в любой момент готовы были вылиться в грозные и активные действия.

Все эти вести доходили до села в искаженном виде, на ходу обрастали массой самых фантастических вымыслов и преувеличений; все это подогревало тревожное состояние крестьянских масс, страшным призраком висело над их хатами.

В Зеленичах по-прежнему не затухало всеобщее возмущение, вспыхнувшее на панском сенокосе. Новые вести, новые слухи, долетавшие до ушей растревоженных крестьян, еще больше подогревали их воинственное настроение, не давали забыть о тяжелой, злой обиде. Они группками собирались на улице, в хатах, по загуменьям и горячо обсуждали свои житейские дела, время от времени затрагивая проблемы, выходившие далеко за пределы их родного села...

Андрей все еще жил у Лесницкого, но виделся с ним редко и мало разговаривал. Дома он почти не бывал, все летал где-то — вечно неспокойный, непоседливый, веселый. Постоянным его спутником был теперь Рыгор. Вместе они разъезжали по соседним деревням, что-то все готовили, что-то собирались осуществить. Рыгор сейчас значительно реже вступал в горячие споры, меньше в нем замечалось злой, несдержанной крикливости, нарочито-раздутого сарказма. Зато появился у него теперь новый вид амбиции: он напускал на себя та-

инственную серьезность и носил ее на лице с каким-то особым фасоном — высоко задрав нос и поглядывая на всех с ярко выраженным снисхождением.

Однажды Лесницкий при встрече с Андреем с легкой улыбкой спросил:

— Ну как обстоят у тебя дела с продуктами? Наверное, много уже закупил?

Андрей громко рассмеялся и, многозначительно подмигнув, ответил:

— Я, дружище, весь хлеб, который покупаю, тут же и сею — никак не могу долго держать при себе, такой уж имею характер.

А вообще-то Лесницкий не очень и старался выведать у Андрея, чем тот занимается, где постоянно пропадает,— у Лесницкого своих забот хватало. Последние события подняли в его душе новый вихрь душевных тревог и волнений, опять воздвигали перед его сознанием уже знакомую — глухую, как стена, — неопределенность.

Лесницкий хорошо видел, как вокруг неумолимо росла черная тревога, вскоре она и его коснулась своим холодным жутким крылом. Он нутром чувствовал, нарастает, поднимается какая-то грозная сила, приближается день решительной борьбы; вместе с тем замечал, что жизнь кругом будто замерла вдруг на мертвой точке, но раньше или позже — это он тоже хорошо понимал — в ускоренном темпе покатится дальше. Беда была в том, что в этом стремительном нарастании сил, в неумолимом приближении грозного часа он не видел ясной перспективы и — самое ужасное — не находил своего места.

Лучше бы не знать всего этого, пусть бы все шло, как идет, тогда можно было бы не замечать и своего собственного трагического положения! Да только так не выходит,— по всему видно, что-то идет, приближается... Вот-вот готов зашуметь бурный, может даже, кровавый бал, и он, Лесницкий, не окажется в числе приглашенных, он, возможно, будет стоять под окнами лишь в качестве наблюдателя...

Андрей был приглашен. Тот, конечно, сам напросится, тот готов и других пригласить на этот шумный бал. Возможно, будет приглашен и Рыгор. Наверное, и Аксент. Все они имеют места... И только потому, что понимают смысл надвигающейся бури. Андрей — умом и чутким сердцем, а те — своей простотой, природным инстинктом.

Казалось бы, чего проще: если не знаешь, не понимаешь, иди и спроси, попытайся уяснить происходящее вокруг тебя. Почему бы не подойти к тому же Андрею и не спросить у него:

«Скажи мне, братец, как ты сумел найти свое место в жизни и в чем смысл того, что происходит сейчас на свете?»

Андрей, конечно же, охотно согласится рассказать, и все

встанет на свое место. Не будет никакой неясности у человека. Останется лишь побольше набраться амбиции и ходить, задрав кверху нос, как тот Рыгор.

Однако Лесницкий никак не может примириться с подобной мыслью — не позволяет врожденное самолюбие и душевная замкнутость. Да и все равно, если бы и спросил, если бы Андрей или кто-нибудь другой и рассказал — так или иначе нет веры — не удовлетворит то простое, ясное, что удовлетворило Аксента и Рыгора, а в чужих мудрствованиях никогда не найти ответа на глубокие, заложенные в самом существе вопросы.

И жестоко страдает Лесницкий, охваченный сомнениями, все время мучительно давит его глухая, как стена, неопределенность.

А ко всему этому прибавилось еще и другое — сердечные муки. Здесь тоже сплошная путаница и неопределенность, и тут он тоже оказался на распутье.

В последние дни всколыхнулось, пришло в движение то застывшее, утихшее, что было у него с Мокриной. Растаяло от нахлынувшей горячей волны жалости и, как казалось, воскресло во всей своей прежней искренности и глубине, свежести и красоте. И переплелось все в удивительном клубке с тем тревожно-радостным, что занесла в сердце Лесницкого Раиса...

Лесницкий что-то мастерил в овине, когда прибежала Мокрина — очень радостная и взволнованная. Она, бедняжка, от счастья совсем забыла, что неуместно и странно веселиться, когда получена такая печальная весть.

Мокрина побывала уже у Лесницкого в хате — она в первую очередь к нему помчалась — и уже оттуда прибежала в овин. Она хотела было броситься ему на шею, но увидела его серьезным и сосредоточенным (ясное дело — все мысли, рассуждения), как-то сразу обвяла, скомкала свою неподдельную радость. Даже голос у нее изменился, стал тише и печальнее,— может, вспомнила-таки, какую весть получила.

— Василь... слышал ли ты?.. Убили моего, пришла сегодня карточка...

И умолкла. И он молчал, не знал, как вести себя, то ли радоваться, то ли печалиться. И вообще не представлял, что теперь надо делать, ведь все это настолько неожиданно. Первая, какая пришла в голову, была мысль: почему он раньше ни разу не подумал о том, что ведь этого можно было ждать, такое могло с каждым случиться. Затем почему-то счел нужным спросить:

— Где убили?

Она наивно и просто ответила:

— А кто его знает.

И опять оба молчали. Потом Мокрина боязно осмотрелась по сторонам и тихо шепнула ему на ухо:

— А я очень-очень рада!.. Да только надо всем показывать вид, что жалею... Я знаю, могут засмеять.

Лесницкий как-то безразлично и грустно улыбнулся. В эту минуту он напряженно думал, прикидывал, хорошо это для него или плохо, что так случилось. Все как-то выходило — плохо. В душе росло чувство странной скованности, неволи... И тогда почему-то мелькнул перед глазами призрачный образ Раисы — стало вдруг до боли обидно и жаль чего-то...

Мокрина с минуту-другую постояла молча и опять зашептала — на этот раз с каким-то задумчивым восхищением:

— Теперь ведь я снова, как девушка... До чего хорошо! Вольная, словно птица... Буду делать, что захочу, и никто мне и слова не скажет.

Лесницкий с досадой прервал ее:

— Нашла чему радоваться...

Он сказал это только потому, что был занят своими мыслями, и она мешала ему. На Мокрину же его слова произвели большое впечатление. Она испуганно посмотрела на него широко раскрытыми, полными лихорадочного непонимания глазами и дрожащим голосом спросила:

— Василек! А разве ты не рад?

Лесницкий попытался было успокоить ее, но вышло сухо и неискренне.

— Почему не рад? Я тоже рад не меньше тебя. Но зачем говорить об этом?

— А почему не сказать? Разве нам нужно друг перед другом прятаться?..

Его кольнул этот откровенный укор. И вызвал еще большее упорство, невольно родившееся где-то в глубине души. Хотелось спорить — без особой причины, но раздраженно, зло, чтобы только побольнее уколоть, помучить.

— Не всегда надо громко кричать о том, что чувствуешь или переживаешь. Подчас это выглядит дико, смешно... Как ты этого не понимаешь, Мокрина?

Вместо ответа она опять с нескрываемым испугом и удивлением глянула на него.

— Зачем злиться, Василек?

Лесницкий собрал всю свою волю и постарался ласково и тепло улыбнуться.

— Да я так... Просто настроение у меня никудышнее. Давай лучше присядем, поговорим.

Они сели на толстую колоду, что лежала под стеной овина, в тени старой ветвистой березы. Мокрина стала с детской наивностью рассказывать о своей дальнейшей жизни, строить разные планы. Он для приличия сухо поддакивал, а сам целиком был поглощен своими мыслями — все пытался привести их в какой-то порядок, хотел всесторонне осмыслить то, что произошло, осмыслить в плане своей обычной душевной жизни.

Мокрина же с каждой минутой все больше и больше оживлялась.

— А через год пойду замуж... Может, кто-нибудь найдется, чтобы взять... может, еще понравлюсь кому...

Она сделала выжидательную паузу и многозначительно уставилась на него. Мокрина была уверена, он понимает ее, он так же, как и она, с душевной искренностью и простотой уже решил вопрос их дальнейших взаимоотношений, что и для него сейчас дело только в том: когда...

Он поспешил согласиться:

— Да, да, безусловно...

— А пойду я замуж за хорошего, за красивого... А любить я его буду — ой-ой! Да не знаю, будет ли он меня так же крепко любить...

— Конечно, конечно...

Она с испугом глянула на него.

— Что, что ты говоришь? Не будет?

Он спохватился, понял — сказал не то. Напряг память и по чисто механическим звукам добрался до смысла сказанного ею. Чтобы как-то успокоить Мокрину, Лесницкий молча обнял ее за плечи, прижал к себе и поцеловал в голову. А сам с ужасом подумал:

«Это же неискренне, фальшиво... Ведь я сознательно ее обманываю...»

Стало вдруг противно на душе, тяжело, неловко. И чем больше думал об этом, чем критичнее и строже оценивал свои слова и поступки, тем глубже осознавал: чувства его к Мокрине охладели. Все крепче укоренялась в сердце убежденность: все кончено, нету больше к ней ни тепла, ни ласки. А в то же самое время каким-то подсознательным и очень объективным взглядом следил за этой своей убежденностью, и тогда ему казалось, что все здесь идет исключительно от мыслей критических, что он сам искусственно создает эту убежденность; стоило бы ему взглянуть на нее объективно, просто, так, как есть, без заранее подготовленной критической мерки и мудрствований, и, кто знает, возможно, все вернулось бы к прежнему, и его чувства вновь обрели бы первозданную свежесть...

Тем временем Мокрина говорила-говорила и вдруг как-то неожиданно умолкла. Лесницкий, инстинктивно почувствовав в ней быструю перемену настроения, поднял глаза и вздрогнул.

Мокрина упорно смотрела на него, как будто внимательно-внимательно изучала его и с трудом узнавала. Глаза ее — большие, темные — раскрылись глубокой черной пропастью, и в этой пропасти навеки застыл дикий, нечеловеческий ужас. Словно она, поглощенная своим разговором, своими мыслями, не заметила, как исподволь приближалось к ней что-то страшное, жуткое, и только тогда, когда увидела все

это перед самыми своими глазами,— только тогда окаменела от неожиданного страха.

Лесницкий встревожился.

— Чего ты, Мокрина, уставилась на меня? Что с тобой?

Она еще с минуту так же молча, пристально смотрела в его глаза, будто до конца вбирала в себя то новое, страшное, что вдруг встретилось на ее жизненном пути. И потом, ничего не ответив ему, отвернулась и зарыдала — тяжело, надрывно.

Лесницкий догадался: это она, наконец, поняла, уловила своей тонкой женской душой, насколько призрачны и несбыточны ее мечты: то, в чем она была совершенно убеждена и считала окончательно решенным, теперь дальше, чем когда-либо прежде, что сейчас перед нею открылось что-то новое — холодное и жестокое.

И вот здесь Лесницкий вдруг увидел ее, Мокрину, непосредственной, искренней, открытой, такой, какой она была и раньше — милой, славной, по-детски преданной ему... Ему стало до боли жаль ее. Душу опалила волна ужасного стыда. И может быть именно в этот миг он осознал всю глубину, всю горечь обиды, которую готов был причинить ей. Произошло, казалось бы, непостижимое: его сердце в ту же минуту стало быстро-быстро наполняться теплом, захватило дыхание, он пристально в упор смотрел на нее, и ему чудилось, что видит ее впервые, вернее, видит такой, какой она запомнилась по первой встрече — бесконечно любимой и дорогой. Он забыл обо всем, забыл, что их могут увидеть здесь, что потом могут смеяться над ними,— в горячем порыве он опустился перед нею на колени, взял ее чуть огрубевшие в тяжком труде руки и стал целовать, целовал ее колени, ее тело и сквозь слезы, словно в забытье, говорил:

— Я обидел тебя... родная... я виноват... я знаю, что виноват... как жестоко я обидел тебя... поверь, я люблю тебя, всей душой люблю... ты — добрая, милая, хорошая... прости меня, я всегда буду любить тебя, славная моя...

Мокрина испуганно вырывала руки, отталкивала его от себя, как будто боялась его прикосновений, и с трудом выговорила сквозь слезы и рыдания:

— Нет, нет... Что ты... Я же... не знала... Я думала... так... как было... Я говорила... А ты... ты не слушал... не любишь... ну что ж... пусть себе так... не нужно...

Спустя какое-то время, немного успокоившись в горячих объятиях Лесницкого, Мокрина изредка еще вздрагивала всем телом, всхлипывала и уже другим — счастливым и радостным голосом шептала:

— Не покидай меня, Василек... Я так привыкла к тебе... мне уж кажется, что ты — мой, родной... Зачем нам бросать друг друга? Разве нам плохо вдвоем? Скажи, разве плохо? Ну, поцелуй меня... еще поцелуй...

Потом они пошли к Днепру, к старому верному свидетелю своей любви... Сели над кручей, над седой, нагретой солнцем бездной, и долго вели тихую, милую беседу о будущей счастливой жизни. Лесницкий все время поворачивал ее лицо к себе и смотрел на него, пристально вглядывался в каждую его черточку. И узнавал ее — свою прежнюю Мокрину, такую прекрасную и близкую. И удивлялся, как, каким образом ему могло показаться, что она изменилась, стала другой, не такой, как прежде... А Мокрина светилась от счастья, оттого, что он смотрит на нее, любуется ее красотой.

В ту минуту Лесницкому все представлялось ясным и простым. Путаница в голове началась ночью, во время бессонницы, когда перед глазами бесконечной пестрой лентой пошли мельтешить лихорадочные образы, когда заполонили они душу тяжелым грузом замешательства и беспокойства.

Перед мысленным взором Лесницкого возник образ Раисы и решительно ворвался во все то согласованное, светлое, что уже было определилось днем. Всю ночь напролет в неспокойном и тревожном бреду мелькал этот яркий, привлекательный образ рядом с образом тихой и милой Мокрины, а временами даже сливался с ним, врастал в него, так что и разобрать невозможно было, то ли это светит перед глазами добрая улыбка Мокрины, то ли слишком смело и уверенно улыбается гордая барышня. А то вдруг в глубоких черных глазах, так неповторимо сверкающих чистой слезой, неожиданно загорится, засветится что-то зеленое, холодное — и уже рядом не черные, смиренные, а игриво поблескивающие глаза Раисы — и влекут неудержимо к себе, очаровывают своим змеиным холодным блеском. И звенит в ушах полное смешливого задора контральто:

— Полюбите меня... Хорошо? Ну так как, согласны вы меня полюбить?

И обжигают сладостной болью уста страстные, пылкие поцелуи.

Вся ночь прошла у Лесницкого в лихорадочной суете, и осталась эта суета на долгое время, переплелась плотным узлом с прежней тревогой, слилась в одну глухую, как стена, неопределенность.

Случилось это накануне какого-то праздника. Никто не ждал, никто, возможно, и не предполагал, что так обернется дело. Но почему-то никто и не удивился, как будто это вполне естественное звено в цепи событий, которые фатально-ускоренным чередованием фактически и рождали всеобщую тревогу и беспокойство.

В тот день Андрей почти неотлучно был дома. Он беспрестанно ходил из угла в угол по хате, с лихорадочным напряжением о чем-то думал и — по всему было видно — волно-

вался. Время от времени он останавливался у окна, словно прикидывая что-то в уме, потом решительно взмахивал руками и, охваченный каким-то непонятным стремлением, нервно ускорял шаг.

С наступлением вечерних сумерек он без видимой причины принялся укладывать свой небольшой чемоданчик. Лесницкий увидел это и, не скрывая удивления, спросил:

— Ты что надумал?

— Завтра на рассвете тронусь. Хватит уже — погулял, пора и за работу приниматься.

— А продукты как — багажом?

Андрей ударил себя по лбу.

— Надо же... Ну и голова! Как же это я так... Ты прав, Василь...

Он тут же отставил в сторону чемодан, побежал в деревню и минут через тридцать притащил несколько кусков сала, головку масла и еще что-то, завернутое в мокрую и не совсем чистую тряпицу.

— Вот теперь все в порядке... Это будет гостинец для Нины. Ведь она у нас сейчас настоящая хозяйка. Ума не приложу, как они там сейчас устраиваются с Халимой...

— Почему с Халимой?

— Вот здорово! Разве я тебе не говорил, что он у нас сейчас квартирантом. Занял твою комнату. Но если ты надумаешь вдруг прикатить в город, иди сразу к нам, у нас коммуна веселая, тебе наверняка понравится.

Немного спустя, когда уже закончил укладываться, Андрей сказал Лесницкому в каком-то необычном для него замешательстве:

— Я уговорил Мокрину поехать вместе со мной. Там ей легче будет добиться для себя, как вдове солдата, какой-нибудь помощи. Мы устроим так, что оттуда просто перешлют распоряжение в уезд или в волость.

— Что ж, это хорошо.

Чем ближе к ночи, тем заметнее захватывала Андрея какая-то дикая нервная торопливость. Он ни минуты не мог усидеть на месте, все ходил из угла в угол. Если кто обращался к нему с каким-либо вопросом, он останавливался и долго смотрел непонимающим взглядом, потом спрашивал:

— Что?

И опять с минуту молча смотрел широко раскрытыми глазами. Только после третьего раза наконец до него доходил смысл вопроса, и он с виноватой улыбкой отвечал. Лесницкому в конце концов это надоело, и он спросил у Андрея, что с ним происходит. Тот лишь махнул рукой:

— Не спрашивай. Позже сам узнаешь...

Когда все легли спать, Андрей все еще сидел за столом и что-то читал при слабом свете крохотной лампы, потом встал и опять стал нервно вышагивать из угла в угол. Лесницкий

расположился возле стены на скамейке и следил за его размеренными нудными движениями. Почему-то спать не хотелось, приятно было просто лежать в глухой неподвижности, слушать звон в голове и следить за крепко сбитой фигурой Андрея. Лесницкий и не заметил, как стали слипаться веки, как расплылась в сплошное — на всю стену — серое пятно фигура Андрея, как появился в доме Халима и стал выделывать какие-то мудреные фокусы, обучая его, Лесницкого, по новым правилам бить окна. Потом пришла Нина и стала петь: «Ах, зачем эта ночь...», а Мокрина показывала на нее пальцем и неестественно, грубо смеялась, как сумасшедшая. А дальше пошла уже всякая чушь, какой, обычно, забита голова тревожно спящего человека...

Андрей затормошил его со злой, торопливой поспешностью.

— Вставай... Да поживее ты, а то, гляди, опоздаем... Вставай, слышишь?

То же трепетное пламя лампочки, та же самая притихшая серая хата. На печке, на полу слышно напряженно-спокойное сонное дыхание. И сверчок за печкой...

Куда и зачем идти? Куда он зовет? Почему не спит в такой поздний час?

— Да поднимайся же, Василь! Пойдем скорее...

— Куда?

Вместо ответа Андрей поднимает вверх указательный палец, замирает в какой-то странной неподвижности, словно причудливый шаман, и спрашивает:

— Слышишь?

Только теперь Лесницкий услышал — до этого поглощалось тишиной,— где-то плыл в отчаянном разгоне тревожный звон глухого колокола, посылал в ночной мрак страшную весть, просил, молил о чем-то безбрежные дали, рыдал своим печальным голосом.

Лесницкий быстро встал, торопливо натянул на голову шапку.

И почему-то — по непонятной и странной ассоциации — перед его мысленным взором первым возник образ Мокрины и долгое время неотступно стоял в глазах, не давая вспомнить того, нужного... Только потом уже в четких линиях выплыл образ Раисы, проникнутый страшным отчаянием, точно таким же, как и тогда, в памятную купальскую ночь. И стало все понятным — и волнение Андрея, и его поспешные сборы в дорогу, и странные продолжительные отлучки. Чем-то назойливо-лишним, ненужным бились в уши полные веселой взволнованности крики на улице:

— Поместье горит! Паны загорелись! Айда на пожар! Сгорит и не увидим!..

Мальчишки кинулись туда со всех ног, обгоняя с нетерпеливым любопытством толпы крестьян, которые тоже спе-

шили по глухой черной дороге, что вела в сторону панского имения. Лесницкий все повторял, как безумный:

— Скорее, Андрей... Скорее... скорее...

И, подгоняемый нервным возбуждением, рвался сам вперед и тащил за собой Андрея.

Над лесом зловеще кровавилось небо. В жутком багровом отблеске было что-то страшное и вместе с тем радостное, торжественно-пышное. Словно на фоне этого грозного света небо самодовольно принимало бесценную пламенеющую жертву. А когда вбежали в лесную чащу, зарево враз исчезло, и все кругом снова поглотил тихий ночной мрак, и лишь тревожно-гулкие голоса на дороге поддерживали толпу в возбужденном состоянии.

Но постепенно непроглядный мрак впереди редел, становился дрожаще-белесым. А через минуту-другую белесое перешло в розовое, становилось все гуще и гуще, и наконец в разрывах между деревьями блеснуло ярко-красное, мятущееся пламя пожара.

Уже полностью были охвачены огнем дворовые строения и будто нехотя, медленно разгорались оштукатуренные панские покои.

Во дворе поместья было полно людей. Вокруг помещичьего дома крестьяне стояли плотной стеной и молча наблюдали, как с шумом и треском, с каким-то глухим зловещим гулом вгрызался огонь в неподатливое здание.

Лесницкий с Андреем, энергично растолкав в сторону толпу, протиснулись вперед. На площадке, оставшейся между людской стеной и домом, в ярком свете бушующего пламени, растерянно металась во все стороны небольшая группка панских слуг, безуспешно пытаясь сбить уже набиравший силу огонь. Среди них темным, призрачным силуэтом носился Карл и грубым осипшим голосом отдавал распоряжения. Однако они не приносили никакой пользы делу, поскольку их больше слушали, чем выполняли. Видно было, что слуги выполняют лишь свои обязанности и вовсе не заинтересованы в спасении панских хоромов.

Что касается прибежавших на пожар крестьян, то они продолжали стоять неподвижной стеной и спокойно наблюдали за дикой игрой всепожирающего пламени. Они, конечно, видели и понимали, что еще можно спасти дом, что для этого нужно лишь дружно взяться за дело десятку-другому крепких, расторопных мужчин. Но никто не тронулся с места — стояли и смотрели.

Перед толпою туда-сюда носился потерявший голову помещик и до слез смешно, с заискивающим, непривычным для него видом, униженно просил, умолял помочь спасти от огня поместье.

— Братцы дорогие... Прошу вас, сделайте милость... Брат-

цы... Не стойте же, возьмитесь дружно... Я заплачу... Помогите, родные, дорогие...

Потом он бежал к разгоравшемуся огню, там немного суетился, в отчаянии размахивая руками, что-то кричал своим работникам, метался туда-сюда и опять возвращался к стене крестьян, опять принимался их упрашивать.

Крестьяне не смеялись, хотя и было в этой сцене полно комизма. Нельзя было без улыбки смотреть на сухую, петушиную фигурку старого пана, до колен обтянутую каким-то смешным пестрым халатиком. Крестьяне не смеялись — жизнь научила их оставаться серьезными перед лицом могучей грозной стихии. Они стояли неподвижно и хмуро, напряженно молчали, будто присутствовали на каком-то диком, полном торжественного величия богослужении.

Лесницкий все это хорошо видел, и его охватывала тупая, черная жуть. Он оглядывался по сторонам, делая лихорадочные попытки отыскать в суровой людской массе хотя бы одно лицо, озаренное сочувствием, но всюду видел лишь страшный молчаливый сговор, отовсюду выглядывала тень бессловесной мести. Чувствовалось, все напряженно следят друг за другом, друг друга видят, все объединены в одно целое — каменное, грозное. И горе тому, кто бы отважился разрушить этот молчаливый сговор, кто бы посмел пренебречь твердо установленным законом сельского общества!

То была стихия — не менее грозная той, что безжалостно сейчас пожирала своим бездонным огненным зевом дворянское гнездо. Лесницкий все хорошо понимал и невольно испытывал огромное уважение и вместе с тем страх перед этой стихией, перед каменной стеной людской ненависти. Однако сквозь уважение и страх прорывалось откуда-то из подсознательной глубины другое чувство — острое, смелое,— чувство живого человеческого протеста против неумолимой стихии, против звериной жестокости. Это чувство с каждой минутой росло, крепло, от него как-то странно содрогалась душа, захватывало дыхание. И поднималась, ширилась в груди безумная отвага, она готова была прорвать тяжелый пласт животного страха и вылиться в какое-то очень решительное действие. Броситься на эту глухую молчаливую стену, разбить суровый, бесчеловечный сговор и показать, что это дико и жестоко!..

И Лесницкий чувствовал, еще одна капля, один слабый толчок — и он пойдет вразрез с толпою, смело восстанет против ее молчаливого закона, нарушит ее каменную стену. А там будь, что будет!

И этот толчок сделала Раиса. Он неожиданно увидел ее в стороне, под молодым кудрявым кленом, странно освещенную дрожащим кровавым отблеском. На ней было легкое белое платьице, видно, наспех надетое, неподпоясанное, непричесанные волосы ее беспорядочно свисали на плечи, в глазах

светилась тревога, непонимание и растерянность. Она не сводила взора с крестьянской толпы, возле которой в отчаянии мелко семенил ее отец. Ее удивительно красивые глаза, казалось, отражали весь блеск этого страшного ночного пожара. Лесницкий уловил молчаливую мольбу, смешанную с острой нечеловеческой болью. Трудно было понять, что сейчас больше терзает ее сердце: то, что гибнет на глазах все, чем жила, с чем сроднилась, свыклась; то, что ни один человек из толпы крестьян не желает спасать от огня поместье или же позорное унижение отца. Она напряженно сжалась вся и готова была броситься туда, к отцу, готова была сама просить, молить,— только бы не оставлять отца одного и разделить с ним его унижение, только бы не стоять в стороне и не сгорать от нестерпимой муки.

Лесницкий не в силах был оторвать свой взор от Раисы. И чем дольше смотрел, тем больше, острее чувствовал ее душевные страдания, и сам мучился вместе с нею, сам испытывал в сердце боль. От этой боли, от этой искренней жалости к ней еще решительнее поднимался в нем голос протеста, еще сильнее кипело нутро безотчетной отвагой и смелостью.

В конце концов Раиса не выдержала. Лесницкий видел, как вспыхнула в ее глазах последняя искорка внутренней борьбы, как она вначале рванулась было вперед, но потом сдержала себя и медленно пошла к толпе, нетвердо ступая по траве босыми, непривычно белыми ногами. Она совсем близко подошла к Лесницкому, и он хорошо видел, с каким огромным напряжением воли она обратилась к крестьянам.

— Граждане!

Она смутилась — не знала, что говорить, а может, не могла — и как-то неестественно повела по толпе широко раскрытыми, полными волнения глазами. Затем, видно, встретив чью-то улыбку, с ужасом заметалась на месте, словно увидела что-то очень-очень страшное и уже готова была повернуть назад, но в этот миг заметила Лесницкого. В ее влажных глазах блеснула надежда. Она порывисто бросилась к нему:

— Василь Данилович!.. Помогите мне!

В этом отчаянном крике была и надежда на помощь, и боль души, и доверие. Лесницкий осмотрелся по сторонам. Все свои, знакомые лица. И все — чужие, потому что таких он никогда не видел в деревне. Смотрят, улыбаются. Не улыбаются, а как-то дико, злобно скалятся, как будто говорят без слов:

«А ну-ка попробуй, голубчик! Попробуй пойди против нас, против нашей воли...»

Раиса стояла перед ним удивительно красивая в своем горячем волнении — стояла и смотрела глазами, полными молчаливой просьбы, ждала. Теперь уже Лесницкий ясно видел в ее лучистом взоре светлые искринки с трудом сдерживаемых слез.

И Лесницкий отважился. Будь что будет! Он смело и решительно шагнул вперед, упорным, испытующим взглядом провел по толпе и крикнул:

— Ребята! Нельзя так! Это бессердечно! Давайте пойдем, поможем!

Ему ответили молчанием. Некоторые ехидно, зло заулыбались. Человека три попытались было выйти вперед, но их тут же втащили назад, в толпу, суровые взгляды крестьян. Тогда Лесницкий закричал в каком-то злом отчаянии:

— Тогда я один!.. Кто хочет — за мною!

Последнее, что задержалось в его глазах — это презрительная, кривая какая-то улыбка Андрея. И почему-то мелькнуло в мыслях:

«Ну что ж... Пропадать, наверное, всему!..»

Он кинулся к огню, туда, где суетились батраки, схватил чье-то ведро, куда-то лил воду — зачем, пожалуй, и сам толком не знал... В голове помутилось, и он плохо разбирал, что где происходит...

Пожар остановить не удавалось. С каждой минутой он набирал все большую силу; жаркое пламя с гулом рвалось ввысь, зловеще подсвечивая багровым светом мрачное ночное небо, рассыпая по поляне мириады золотистых искр. А там, где огонь еще не нашел себе выхода, где потайно еще набирал силу — внутри дома, в опустевших панских покоях,— там широкими раскидистыми клубами поднимался черный дым, густой, как ночь, и тяжелый, как грозовые тучи.

Когда же пламя охватило весь дом, когда с одной стороны со страшным треском рухнула крыша, по толпе, словно электрический ток, пронеслась весть:

— Амбары бьют... Панские амбары бьют... пореченцы... Все туда!

И вот толпа, все это время молчаливо наблюдавшая за пожаром, вдруг дрогнула, а потом стремительно покатилась в сторону, туда, где находились крепкие дубовые закрома, полные панского хлеба...

В это время Лесницкий — вконец измученный физически и духовно — отошел подальше от ярко пылавшего здания, чтобы немного отдышаться, собраться с мыслями. И вдруг увидел: на опустевшей площадке, где еще минуту назад толпился народ, стоит Андрей, скрестив на груди руки, и с гордой, довольной улыбкой смотрит на бушующее море огня. Заметив Лесницкого, гордую, довольную улыбку он сразу сменил на уже знакомую Василю — презрительную, кривую.

Лесницкий весь задрожал от гнева. Почти вплотную подошел к Андрею и каким-то странным даже для самого себя, шипящим надрывным голосом прошепелявил:

— Ты... это зверство... это... дикая кровожадность... ты — разбойник...

Андрей с прежним спокойствием смотрел на него, даже

с места не тронулся, только улыбка стала пустой и холодной.

— И ты счел нужным сменить все на рыцарское великодушие и деликатность? Это здорово!..

Лесницкий продолжал дрожать от гнева. Хотел было еще что-то сказать, но злоба, кипевшая в нем, сжала горло. Андрей не сдержался, громко захохотал...

— Вижу, ты сжимаешь в гневе кулаки... Не иначе, драться хочешь, не так ли? Но ведь это никак не соответствует твоим высококультурным понятиям и твоему характеру...

Лесницкий ничего не ответил, молча отошел в сторону. По всему было видно, что он не совсем уверен в справедливости своих обвинений. Этот взрыв безотчетного гнева был скорее инстинктивной маскировкой неприятного чувства, которое черным удушливым комом стало расти внутри на почве недавней размолвки с односельчанами. Спустя некоторое время, когда схлынула волна душевной бури, исчезли и все рассуждения, которыми он оправдывал свой поступок. И как ни старался навести на них свои разбушевавшиеся мысли, ничего не получалось. Вместо этого росла твердая убежденность: совершена непоправимая ошибка, теперь глубочайшая пропасть пролегла между ним и сельчанами, теперь он чужак для села и его враг.

Лесницкий вдруг почувствовал, что ему здесь больше нечего делать, кроме того очень не хотелось встречаться с глазу на глаз с крестьянами. Он уже готов был вернуться домой или зайти по пути в соседнюю деревню, но неожиданно родилось настойчивое желание повидаться с Раисой. Он увидел ее под тем же молодым кудрявым кленом. Она сидела на каком-то ящике и горько плакала, прислонившись к дереву. Возле нее суетился старый пан и старая немощная бабка — очевидно, нянька ее. Оба что-то живо говорили ей — наверное, пытались успокоить.

Лесницкий не решился подойти — не хотелось встречаться с ней при отце. Минуту-другую он издали смотрел на нее, проникнутый искренней жалостью, успокаивал ее тихим, полным нежности взглядом, выбирал мысленно и много раз повторял самые теплые, самые ласковые слова сочувствия. Потом решительно повернулся и быстрыми шагами ушел прочь от догоравшего поместья...

Он уже было вышел на большак, как вдруг немного в стороне заметил еще одно зарево: это крестьяне подожгли панские амбары...

Лесницкий сразу домой не пошел. Ему хотелось как-то развеять ужасные мысли и чувства, глухой, мучительной петлей сжимавшие все его существо. Он свернул на первую попавшуюся тропинку, и углубился в сырые, серые от предрассветной зари лесные дебри.

Домой притащился, когда над землей уже поднялось чистое, яркое солнце, разлившее на росистой земле густую свою

позолоту. В хате все были на ногах. Мать разжигала печь, отец во дворе занимался хозяйственными делами. Брат вот-вот должен был вернуться с ночного.

В хате ждал Лесницкого Андрей, полностью готовый к отъезду. Лесницкий глухо спросил:

— Уже собрался?

— Да... Мокрина пошла вперед, я остался, чтобы проститься с тобой.

Лесницкий понял: Андрей намеренно послал Мокрину вперед, чтобы побыть с ним один на один,— не хотел уезжать, не рассудив прискорбную стычку, которая произошла у пылавшего поместья. И вместо гнева и обиды в душе у Лесницкого как-то сразу затеплилась симпатия к Андрею, вернулось прежнее теплое, дружеское чувство, которое он испытал в первую минуту их встречи здесь, в Зеленичах.

— Я пойду вместе с тобой на вокзал... если ты, конечно, не против...

Андрей этого и ждал.

— Разумеется... Я очень рад буду... Ну что ж, тогда пошли...

Но сразу уйти им не пришлось. Их задержала мать — заставила перед дорогой поесть.

Умывшись чистой росой, солнце заметно побелело, повеселело — его золотистые лучи развеяли уже свою густо-багряную хмурь и сразу стали заводить с цветистой, томной от недавнего ночного сна землей любовные нежности, хотя кое-где, по низинам, еще не растаял до конца тихий холодок пробуждения.

Над Днепром бесконечным круговоротом плавал туман, как будто вертелся на одном месте, набирая силы, чтобы, наконец, подняться вверх и вырваться из своего уютного ночного логова. Да только Днепр совершенно не обращал внимания на его маневры, продолжал величаво катить свои волны в могучем зеркальном покое, охотно вбирая в свое студеное ложе нежную, уже немного согретую синеву неба.

Над рекою парила чистая прозрачная тишина, насыщенная шепотливо-заботливым, едва уловимым шорохом стремительного течения. Ее лишь нарушало какое-то осторожное, мелодичное, как тихое воспоминание, хлюпанье и резкие, звонкие всплески воды, которую выливал из лодки паромщик Савка.

Дед приподнял свою взлохмаченную голову и с искренним удивлением поинтересовался:

— Ты куда это, Василь, отправляешься?

— Да никуда, дедуня, провожу товарища...

— А... товарища...

Он бросил на Андрея безразлично-беглый взгляд и засуетился возле парома.

— Еще поспеете, детки... Не рано ли выбрались? Еще и возчики не ехали...

За Днепром перед глазами ребят широким густо-зеленым ковром раскинулись росистые сенокосы, на которых уже медленно шевелились скрытые по пояс в траве косцы. Косы чиркали издали слабо, приглушенно, и казалось, что это где-то совсем близко, под ногами, верещат кузнечики, сами же косы ходят бесшумно и легко, словно в пустом воздухе, вхолостую.

Над сенокосом печально плакали чибисы, и, как бы в насмешку над ними, звонко-серебристыми, веселыми колокольчиками вызванивали в высоком голубом просторе невидимые жаворонки. В воздухе уже носились неутомимые шмели, в подсыхающей после ночных туманов траве оживали бесчисленные армии кузнечиков. День вставал ясный, теплый, до краев налитый бурной, здоровой жизнью.

Андрей остановился, не спеша поставил на землю чемодан и глубоко, полной грудью, вздохнул, окинув взором раздольно-зеленую даль.

— Василь! Тебе не хочется обнять всю эту красоту неземную, а? Или броситься на землю, широко раскинув руки, чтоб дотянуться вон до того леса и застыть так навеки с ощущением этой красоты... Ты, Василь, не смотри на меня такими удивленными глазами, поверь, я умею любить красивое и понимаю его. Для этого не нужен какой-то особый талант. Я очень люблю жизнь, люблю всякое ее проявление вплоть до самой крохотной букашки, вот до этого жучка, что сел мне на грудь... Этот жучок, как только его перевернешь на спинку, сразу начинает беспокойно подскакивать... Смотри! Видишь, Василь? Видишь? Вот здорово, а?

И он, как ребенок, играл с жучком. Потом осторожно пустил его ползать по руке, терпеливо ждал, пока тот улетит.

Лесницкий многозначительно улыбнулся.

— А человека ты любишь?

— Людей всегда надо любить...

Потом он заметил-таки улыбку Лесницкого, догадался, что тот имел в виду...

— Я знаю, куда ты гнешь... Ха-ха-ха! Тут, дружище, следует разобраться поглубже... Мол, я поэтому и не жалею некоторых людей, что люблю человека. Ха-ха! Ишь ты — куда гнешь!

Громко хохоча, он расстегнул ремень, привязал к нему чемодан, перекинул через плечо и пошел дальше, переваливаясь на ходу с какой-то грубовато-вольной силой.

Он стал рассказывать что-то веселое, смешное из своей жизни. Рассказывал медленно, не спеша, как обычно рассказывают привычные к дальним дорогам ходоки. Лесницкий слушал его внимательно, но с каким-то досадливым нетерпением. И чем дальше шли они, тем ярче проявлялось это его

нетерпение. Боялся, что не останется времени поговорить о более важном и серьезном, о том, что не давало покоя душе.

Миновали сенокос, углубились в небольшой, хорошо прогреваемый солнцем лесок. Здесь повеяло на них смолистой, пахучей теплотой, какая бывает обычно в ясный жаркий день в молодом сосняке.

Лесницкий знал, отсюда осталось всего версты полторы. Нетерпение его перешло в тревогу. Неужто так дойдут до станции и он ничего не сможет сказать — о том, самом важном для него. И он решил первый заговорить.

— Послушай, Андрей, я хотел бы с тобою кое-какими мыслями обменяться...

— Давай, пожалуйста... Начинай, что там у тебя?

Лесницкий с минуту колебался, все не знал, с чего начать беседу, наконец произнес:

— Вот что. В первую очередь — если ты, конечно, мне доверяешь — скажи, это ты устроил пожар в поместье Карла и грабеж в амбарах?

— Я направил только внутреннее возмущение крестьян, которое так или иначе все равно вылилось бы наружу. Если бы не сожгли, так убили б или искалечили... Мало ли как могло все повернуться...

— Конечно, я понимаю... Но зачем это? Зачем этот пожар, этот разбой, зачем та кровь, которая, как ты говоришь, могла бы пролиться и которая, быть может, еще прольется? Скажи, зачем? Кому это нужно?

Андрей, крайне удивленный, посмотрел на него, даже остановился.

— Вот как... Не понимаю, Василь, как можно ставить так вопрос... Ты что-то не о том спрашиваешь... Возможно, хотел спросить — почему? Почему все это происходит? Но ведь ты, как мне кажется, должен знать это лучше меня. Ответ очень легко найти на этот вопрос, достаточно только хорошо приглядеться к жизни крестьянина и ее черной, страшной действительности, к нечеловеческому горю, извечной нужде и обидам... Вот тебе и готовый ответ, не так ли?

Лесницкий улыбнулся.

— У тебя все просто выходит, удивительно просто. А оно все не так... Я же хочу знать — зачем? Нужно ли поступать подобным образом? Может, это ничего не даст, только подогреет дикие инстинкты? Может, как раз наоборот, инстинкты надо сдерживать, а искать иные пути, иные способы борьбы...

Андрей рассмеялся.

— Ха-ха-ха! Сдерживать, говоришь? Тогда это будет называться гуманно!.. Так, что ли?

Лицо у Андрея вдруг стало серьезным, он снова остановился, взял за руку Лесницкого.

— Давай-ка присядем, передохнем немного.

Они сошли с дороги, сели у обочины.

— Слушай, Василь. Если в огромном доме, который со всех сторон угрожающе дымится и в конце концов вспыхивает ярким пламенем и на глазах у людей пылает, если в этом доме носиться с тряпкой и гасить по углам отдельные мелкие искорки,— будет ли это разумно, как думаешь? Будет ли в этом какой-нибудь толк? Так вот, Василь, все это — искорки. А настоящий огонь еще будет, он взовьется вверх, и эти искорки сольются с ним. Он идет, этот огонь, приближается... И будет страшным — в нем послышатся и стоны и крики, в нем закипят кровь и слезы, в нем будет безжалостная смерть и великое обновление. Он встряхнет все могучим своим дыханием, разбудит свежие животворящие земные соки, даст необходимый, долгожданный толчок застывшей в заледенелых формах жизни. Пожар приближается... Ха-ха! Пожар будет не такой как прошедшей ночью, это только прелюдия, только вступление... Уже видно зарево, оно розовеет на закрытом черными тучами небе... Жизнь, Василь, обновляется, жизнь будет интересной и необыкновенно красивой... Будет вечный огонь, а из огня родится новое, невиданное...

Андрей говорил с удивительным воодушевлением. Его глаза как-то странно потемнели, потеряли мягкость свою, загорелись далекими-далекими огоньками. В эти минуты всем своим видом он напоминал таинственного прорицателя. Андрей фанатично верил в то, что говорил.

Лесницкому становилось страшно. Он верил Андрею, улавливал в его словах грядущее, слышал жестокую, страшную правду. В Андреевых словах, в лихорадочном блеске его глаз, в жутких предсказаниях витала черная тень тревоги, которая родилась в последнее время, нависла тяжелой тучей над землей, придавила глухой неизвестностью.

Андрей не успокоил Лесницкого, не дал ему того, что примирило бы его с этим неизбежным, страшным, что развеяло бы тревожное состояние души. Наоборот, после беседы с ним Лесницкого охватило состояние еще большего страха и неуверенности в себе.

Дальше шли молча — каждый думал о своем. Не доходя метров сто до станции, увидели Мокрину. Она сидела на обочине дороги и улыбалась им.

— Вот это здорово!.. Сколько можно сидеть здесь? Я жду-жду...

— Чего же ты сидишь здесь?

— Не хотелось одной идти на станцию. Не люблю, где много народа... Все чужие...

Вдруг Андрей удивленно уставился на Мокрину и в шутливом отчаянии развел руками:

— Вы только посмотрите! Она уже и разуться успела... Ну

что мне делать с тобою? Чего доброго еще и в городе босиком ходить вздумаешь.

Мокрина виновато смеялась.

— Ума не приложу, как тут привыкнуть. Надо же, летом да в туфлях...

Она нехотя обулась, и они направились к станционному зданию. Андрей взял билеты, все вместе немного потолкались в толпе пассажиров, ожидавших поезда, затем вышли на залитую солнцем платформу.

Там Лесницкого встретила полная неожиданность. На краю платформы, где проходили пути, стояла Раиса и пристально вглядывалась в ту сторону, откуда должен был появиться поезд. Ее трудно было узнать — глаза глубоко запали и блестели лихорадочным огнем, лицо выражало крайнюю степень усталости, казалось болезненно-серым, мрачным. Она услышала незнакомые шаги и невольно перевела туда свой тяжелый измученный взгляд.

Лесницкий поздоровался. Она увидела его, тепло улыбнулась и пошла навстречу.

Видно, что-то очень ярко отразилось в этот миг на лице Лесницкого, потому что Мокрину, внимательно следившую за ним, вдруг всю передернуло тем отчаянным ужасом, который навсегда запомнился Лесницкому со времени их последнего разговора у овина. Она широко раскрыла глаза, словно заметила что-то ужасное, страшное, и инстинктивно ухватилась за руку Андрея, прижалась к нему, как будто искала защиты. Все произошло в какое-то короткое мгновение, и, кроме Лесницкого, пожалуй, никто этого не увидел.

Раиса подошла, спросила:

— Вы уезжаете, Василь Данилович?

— Нет, я не еду. Я только провожаю своего товарища. Познакомьтесь с ним...

К его удивлению Раиса ответила с едкой, злой улыбкой, за которой скрывалось большое душевное волнение:

— Мы уже встречались. Мы знакомы... Добрый день...

Она сознательно подчеркнула свое приветствие, чтобы указать на его невоспитанность. Андрей же ответил совершенно спокойным тоном:

— Добрый день!

— Куда вы едете?

Андрей сказал. Она помолчала с минуту, словно бы собиралась с мыслями перед тем, как продолжить разговор, потом довольно резко добавила:

— Я тоже еду туда... одна. Давно не ездила, боязно... Хотела бы вместе с вами...

Андрей с какой-то загадочной ухмылкой смотрел на носок своего сапога.

— Что ж, можем поехать вместе... А вот и попутчица. Знакомьтесь.

Он показал на Мокрину. Раиса с поспешной готовностью подала ей руку. Лесницкий заметил, как чуть-чуть вздрогнули уголки ее губ, как пробежала по лицу тень брезгливой гримасы. Мокрина же несмело взяла холеную панскую ручку, как-то неловко ее подержала и тут же испуганно выпустила, словно это была не рука, а ядовитая змея.

В это время откуда-то появился отец Раисы. Она ему громко крикнула:

— А я уже нашла себе попутчиков!

Пан подозрительным взглядом окинул ее неприглядную компанию, но — что поделаешь? — пришлось вежливо, слащаво улыбнуться.

— Да... да... это, хорошо... я очень рад...

Минуты через три пришел битком набитый поезд. Андрей ловко втолкнул одну за другой своих попутчиц в вагон, и только успел сам кое-как пристроиться на подножке, как кондуктор резко засвистел, надсадно зашипел паровоз, и поезд тронулся.

Лесницкий остался один. Он стоял на платформе до тех пор, пока состав, укрывшись клубами дыма и пара, не исчез за дальним лесистым поворотом. Тогда прошелся еще раза два вдоль платформы, словно боялся, как бы здесь чего не забыть, и — мрачный — побрел домой.

Охватила его печаль беспросветная. Почувствовал он себя, как никогда, одиноким, всеми покинутым, никому не нужным. Вспоминалось село — очень не хотелось туда возвращаться, пугало что-то чужое, неприветливое, холодное.

Андрей — совсем другое, Андрей понимает. Тогда он тоже был очень зол, помнится, как ехидно, презрительно ухмылялся. Но ведь потом понял, даже первый вызвался поговорить с ним. А село этого не забудет и не простит. Там смотрят иначе, там проще: с нами или нет...

Лесницкий добрел до леска, забился в густые кусты орешника и лег на землю, целиком отдавшись своей щемящей, невыносимой печали. Как-то очень живо, выразительно всплыли перед глазами лица Андрея, Мокрины, Раисы — засветились сдержанной приветливостью и лаской. Все они были для него сейчас одинаково милыми, все были желанными, дорогими...

Мокрина... славный ребенок. Что она сейчас думает о нем? Она даже не улыбнулась на прощание, только посмотрела на него глубоко-глубоко и печально. Это был страшный испуг — он так и остался в любимых ясных глазах — в черной глухой бездне.

Что теперь делать? Куда податься? Где найти отдохновение, где развеять душевную тревогу, успокоить острую сердечную боль?

А вокруг так ярко цветет, сияет жизнь, так прекрасно звенит беззаботное детство, широкая радость. Мимо, мимо

проходит эта жизнь — вместе с солнцем, с чистыми серебристыми трелями жаворонка, с тихой, умиротворенной синевой неба,— покидает его одного, больного, покидает на съедение черной печали.

— Что делать? Куда податься?

И долго, наверное, несколько часов лежал Лесницкий в глубоком раздумье — одинокий, всеми брошенный — и в безутешном отчаянии прислушивался к своей душевной боли и страданиям. Когда же солнце подобралось к полудню, когда в воздухе недвижимо застыла душная жара, он почувствовал страшную физическую усталость и погрузился в тяжелый лихорадочный сон.

К вечеру добравшись до дома, сел за письмо Никодиму Славину. Вот как он его начал:

«Любимый мой, дорогой друг!

Пожалей меня, мне сейчас ужасно тяжело. Жизнь встала передо мной глухой, непроглядной стеной, и меня всего захлестнуло мраком и печалью. Не знаю, куда податься, где найти себе место. Сердцем чувствую, что-то идет, приближается что-то страшное, и я дрожу от страха, готов, как тот страус, в отчаянии уткнуться куда-нибудь головой, чтобы только ничего не слышать и не видеть. Одиночество... Полное одиночество... Добрый мой Никодим! Испытывал ли ты когда-нибудь тяжесть беспросветного одиночества?.. Это такая ужасная мука, когда ты один, совершенно один, когда некому слова сказать. Сегодня я вспомнил наши последние дни в городе. А ты их помнишь? Помнишь ли наши бессонные ночи, наши мечты — такие на редкость красивые, такие чистые, светлые? Помнишь вечера у Матрунина?.. Я знаю, ты не забыл про все это. Ведь кроме всего ты еще большой романтик, больший чем я, ты смелее, шире умеешь отдаваться во власть грез. И вот — послушай, Никодим,— все это у меня полетело вверх тормашками, разлетелось в пух и прах. Ничего решительно не осталось от того светлого и хорошего — черным-черно на душе и жутко. Не знаю, что дальше делать, боюсь, дрожу, готов сделать с собою все, что угодно. Спаси меня, Никодим, скажи такое слово, чтобы успокоить меня,— я пойму тебя — окажи поддержку. Верни хотя бы прошлое, чтобы снова увидеть и почувствовать жизнь, чтобы снова было на сердце радостно и светло, чтобы можно было жить, не расставаясь с добрыми надеждами. Пожалей меня, родной, мне тяжко, мне очень-очень тяжко...»

И еще в тот вечер ходил Лесницкий к Днепру и горько плакал там под старой развесистой ветлой...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Вот он тихий, седой большак, овеянный задумчивыми ветрами, овеянный бесконечно-грустными мыслями одиноких путников; весь он в томном августовском солнце, в терпких запахах близкой осени. Старинный большак, с обеих сторон обсаженный березами, продолжает жить чем-то печально-далеким и умиротворенно-стремительным. Вот он тащится, ковыляет себе помаленьку, словно глубокий, но живучий старичок, посмотрит по сторонам, пощурится на яркое солнце, улыбнется в седую свою бороду да и пошел, да и пошел дальше. И нету ему, кажется, ни конца ни начала, бесконечный он, как мир, как жизнь, и вечный он в своей безропотной старости.

Славин идет, неуклюже сгорбившись под тяжестью своей нескладной котомки, и всей своей фигурой очень напоминает одну из бесчисленных кривых березин, склонившихся вдоль дороги. Почему-то смешно, что он в одной бумазеевой сорочке (казалось бы куда проще надеть ему что-либо длинное и свободное, чтобы можно было спрятать свою худую фигуру), смешно, что сорочку он низко-низко перехватил тонким ремешком, и она висит карикатурно перекошенным от фигуры прямоугольником. А глаза у него, как тот большак — бесконечно-глубокие, тихие и немного грустные, добрые.

Славин идет и философствует. Он напряженно сморщил лоб, забыл, кажется, обо всем на свете и с потугой формулирует свою наивную теорию «золотого расстояния». Теория смешная, ребячья, но Лесницкому приятно слушать, потому что он улавливает здесь отголоски тех самых сомнений, тех душевных тревог, которые терзают и его самого. Если человека что-либо гнетет, ему всегда бывает легче от того, что и другого гнетет то же самое. Лесницкий ради приличия улыбается, однако за улыбкой незаметно прячет пытливую серьезность. Он даже готов и поверить. Он искренне хочет поверить — поэтому и ловит напряженно каждое его слово, с надеждой прислушивается к каждому звуку, боится, как бы не пропустить золотой крупицы истинной правды.

От чрезмерного напряжения морщинки у Славина сбегают со лба на переносицу, и тогда кнопочка-носик поднимается кверху, словно бы метит, шалун, выскочить из-под очков, чтобы самому сесть на них — уже достаточно поносил! — или совсем сорваться и полететь вверх, к солнцу.

— Ну вот так... можно, конечно, назвать иначе — дело ведь не в названии... Дон-Кихот выглядел смешным, потому что не знал меры... В каждом человеке скрывается часть Дон-Кихота,— каждый хоть раз в жизни должен попробовать сразиться с ветряной мельницей. Да только смешным остает-

ся тот, кто не знает меры, кто переступает «расстояние». Я давно думаю об этом. Все лето носилась эта мысль передо мной каким-то белесым призрачным туманом. Потом все встало по своим местам. Каждая вещь выглядит красивой на определенном расстоянии. Абсолютно красивого не существует. Есть граница всему совершенному. Стоит отойти дальше, чем надо, и это совершенное вдруг начинает расплываться в туманной, серой пелене, если же подойдешь слишком близко,— перед глазами оказываются голые, иногда даже безобразные формы... Я был как-то в саду... Стоял чудесный солнечный день, и сад выглядел настоящим раем: кругом цветы, изумительный аромат, масса птиц... Я ходил, любовался цветами (ведь видел, сколько их у меня?) ну и, знаешь, почему-то подумал: на какой яблоньке лучше всего было бы удавиться... Вдруг я заметил на дереве серый комок, как-то странно зажатый между суками. Заинтересовался, подошел ближе и замер от удивления. Комок неожиданно заискрился сказочными переливами; казалось, он сверкал всеми цветами, какие только есть в природе. Я было подумал, не редкий ли это какой-нибудь камень-самоцвет, не попало ли мне на глаза бесценное сокровище... Подошел еще ближе. И оказалось, что это трупик сизоворонки, уже начавший разлагаться, в котором копошилась грязная куча мух и червей и который распространял вокруг отвратительный гнилостный запах. Ты понимаешь? Вот здесь и открылось все, и я понял истину «золотого расстояния»...

Тут Славин с видом уставшего победителя снял очки и стал не спеша вытирать мокрое от пота лицо. Без очков глаза его выглядели какими-то вялыми и пустыми.

Он нескладно вертел ими в руках, словно хотел отогнать докучливые солнечные лучи.

Лесницкий спросил:

— Какой же скрывается смысл в этом твоем «расстоянии»? Где его философская сущность?

Славин многозначительно улыбнулся, помолчал с минуту, потом заговорил подчеркнуто размеренным, спокойным голосом:

— А вот какой смысл... Выходит, что в мире нету ничего некрасивого, противного, что всему решительно присуща своя красота и суть лишь в том, чтобы отыскать точку, из которой эта красота хорошо была бы видна, все дело в расстоянии. Самую отвратительную вещь можно так поставить, на такое расстояние, что она покажется необыкновенно милой и привлекательной... И наоборот: возьми распрекрасную статую или картину, подойди к ней вплотную и ты увидишь одни только краски, глину или еще что-нибудь. А стоит отойти чуть дальше, чем надо, и перед тобою окажется обыкновенное серое пятно... Теперь понятно?..

— Не совсем...

Славин на миг остановился, поднял вверх палец и выпалил с торжественной важностью:

— Вся наша жизнь прекрасная. В жизни нету ничего плохого — все хорошее. Дело только в «расстоянии»... Понимаешь? Вот я сейчас делаю психическую тренировку. Ты когда-нибудь наблюдал, как светит прожектор? Его лучи можно задерживать на любом расстоянии. Вот идет такой светлый, белый луч, а потом — стоп, и дальше уже темно. Можно его укоротить, удлинить — как пожелаешь. Вот что-то подобное, я это чувствую, нужно научиться делать и со своей психикой, и тогда будешь видеть во всем одну лишь радость и красоту. Любое явление в жизни может быть красивым, если только отыскать для него нужное «расстояние». Иногда оно само по себе находится. Помнишь, как мы ехали из города в деревню? Нам тогда все казалось прекрасным в жизни, потому что смотрели мы на нее с «золотого расстояния». Но стоило тебе приглядеться к ней ближе, чем надо,— и ты разочаровался. Не следовало вблизи рассматривать. Вблизи все выглядит ужасно противным...

— Выходит, по-твоему, на жизнь надо смотреть издали, со стороны, надо подальше отойти от нее, так, что ли?

Славин широко раскрыл глаза. Казалось, он был крайне удивлен его несообразительностью.

— Что ты? Зачем отходить? Нужно психику тренировать. Ты находись в самой гуще жизни, работай, борись, все, что хочешь. Только смотреть умей правильно. И на самого себя тоже, а не только на то, что вокруг тебя. Ну вот тебе пример... Меня как-то были арестовали (за что — я так и не знаю), два дня просидел в холодной. Я так настроил себя, что был очень доволен и рад. При всех неудобствах этой отсидки (мне почти не давали есть) я чувствовал себя вполне хорошо, потому что сумел отыскать «золотое расстояние» и смотрел на все это, как на красивое романтическое приключение.

Лесницкий не сдержался, громко захохотал.

— Чудак ты, Никодим! Дон-Кихот двадцатого столетия! Страус ты пугливый!.. Думаешь, надежно спрятался, сбежал? Голову только спрятал, а все остальное-то на виду, ха-ха-ха! Расстояние ты нелепое!..

Славин растерянно моргал глазами.

— Дон-Кихот не знал меры. Он отошел слишком далеко. Красоты вещей не видел, видел одни лишь серые туманные пятна, и уже сам создавал из них то, что требовало его болезненное воображение. А здесь совсем другое, все не так... Я не страус, я не собираюсь прятаться... Я хочу, чтобы было красиво и хорошо... Вот ты сам как-то говорил, что страшишься этой бури, что крестьяне жгут, уничтожают поместья, что дикость повсюду страшная, бесчеловечность... А может, все это выглядит как раз вполне красиво? Может, это не дикость

и бесчеловечность, а святой, справедливый гнев? Ты вот сбежал из деревни, тебе показалось все это отвратительным, страшным, и ты восстал... А может, ты восстал против красоты?.. Смотря как, откуда глянуть...

Лесницкий прервал его:

— Довольно! Давай отдохнем. Уже верст десять отмахали без передышки.

Они сошли с дороги, прилегли в тени, под невысокой кудрявой березкой. Оба сразу умолкли, каждый, видно, думал о своем.

Лесницкий лег на спину, уставился в яркое голубое небо и томно следил за хаотичным движением редких белых облачков — легких и прозрачных, как и философия Славина. Вместе с этими облачками поплыли перед глазами недавние картины-воспоминания, всплыло село — со страшным возмущением и неразберихой, несмело выглянуло печальное лицо Мокрины, полное чего-то неясного, загадочного, привезенного ею из города. Потом во всей своей привлекательности возник, будто вырос в густых березовых ветвях, образ Раисы и посулил какую-то трепетную, щемящую радость.

«Видно, встречу там...»

В неожиданном и непонятном возбуждении Лесницкий повернулся к Славину и шутливым, веселым голосом крикнул:

— Ну вот, философ, посоветуй, что мне делать. Я люблю сразу двух женщин — это ужасно изводит меня... Скажи, с какого расстояния мне надо посмотреть, чтобы одну из них разлюбить и тем самым избавиться от страшных мук?

Славин быстро встал.

— Вот оно что! Женщина... Так, так... А ты здесь попробуй без расстояния... Вот тебе пример, когда наша психика сама находит нужную точку, из которой мы и смотрим на данную вещь. Тут сама природа правильно поступает... Вот мы иногда восхищаемся красотою женского тела. Чтобы не портить тебе настроения, я не стану говорить о физиологии этого тела, о том, из чего она состоит — ты сам хорошо понимаешь... А вот любишь, восхищаешься красотою... А попробуй отойти слишком далеко, чтобы совсем не было этой физиологии,— и опять чепуха. Есть такая точка, такое расстояние, которое определяется в подобных случаях самой природой. Нужно, чтобы так было во всем, нужна техника, нужна психическая подготовка.

— Хорошо. Но ты все же ответь на мой вопрос: что мне делать?

Славин на какой-то миг задумался, потом громко захохотал.

— Ха-ха-ха! А тебе ничего и не надо делать. Зачем тебе разлюблять? Зачем избавляться от своей муки? Найди «золотое расстояние» и оттуда посмотри на себя, на свое на-

строение, на эту свою «муку». И тогда сама мука покажется настоящим счастьем, ты будешь рад ей, найдешь в ней наслаждение.

Лесницкий тоже рассмеялся.

— Ишь ты, ловкач, здорово выкрутился...

Лесницкий повернулся на другой бок и, уставившись на Славина, спросил:

— Послушай, Никодим... А как у тебя обстоят дела с женщинами? Как у тебя с этим расстоянием, а?

Он спросил шутливым тоном и сам удивился, когда вдруг заметил на лице у Славина медленно расплывавшуюся тень смутной тревоги. Некоторое время Славин сидел молча, как будто его целиком захватили какие-то неприятные, докучливые воспоминания, от которых никак не удавалось освободиться; потом глубоко вздохнул и тихо промолвил:

— Возможно, женщина, которая мне понравится, и не узнает, что я в нее влюблен...

Он снова лег на спину и медленно продолжал, четко выговаривая каждое слово:

— Люблю вот так идти куда-нибудь по старой молчаливой дороге... осенью, когда серебристая паутина проплывает над жнивьем, а от пожелтевших придорожных кустов веет непривычной тишиной и покоем... Повсюду на траве желтые листья — лепестки осенней печали... и жаворонок какой-то далекий, чужой, будто услышанная когда-то в детстве песня за рекою... Кажется, шел бы так и шел без всякой цели, без определенного направления, мимо вековых берез, в безбрежный загадочный мир. Где-то там, далеко-далеко, веселая деревня с покрашенными окнами, с палисадниками, цветами. А за околицей красивые девушки стелют лен и поют песни. Среди них где-то и моя девушка. У нее молодое здоровое тело, красивая стройная фигура, милая улыбка, обещающая полное счастье. Она стоит и вглядывается в далекую открытую дорогу, любуется старушками-березами, смотрит, не идет ли ее суженый. И тогда по ее лицу пробегают тонкие морщинки болезненной грусти, девушка вздыхает так глубоко, что сорочка едва сдерживает ее молодую белую грудь...

Тут Славин и сам вздохнул. Использовав эту минуту, Лесницкий решил продолжить ему в тон:

— И вот идет ее суженый — стройный, красивый герой Никодим Славин. Его очки блестят, как солнышко, сам он, словно ясная зорька, словно комета, а за спиной у него астролябия — он ходит по белу свету и измеряет расстояние, ищет, где бы остановиться, откуда бы разглядеть всю красоту своей избранницы...

Оба весело рассмеялись. Шагая дальше, они еще долго шутили над мифическим существованием Славина и его встречами с очаровательной девушкой, пока и сами всерьез не увлеклись мыслью о таком бесцельном, свободном путеше-

ствии, полном неожиданных приключений и бесконечно-свежих впечатлений. Кончили тем, что твердо, по душам договорились (даже пожали в восторге друг другу руки) летом следующего года вместе отправиться в белый свет и, путешествуя, наблюдать жизнь, изучать ее самые удивительные проявления.

Этот разговор Лесницкого со Славиным произошел в самом конце августа, когда они покинули родное село Никодима и отправились в город искать самостоятельное место в жизни. А перед этим Лесницкий две недели жил у Славина,— он сбежал к нему от бесконечных жизненных невзгод и превратностей, от страшной неразберихи, которая все время его одолевала после отъезда Андрея. Две недели пролетели в искренних товарищеских беседах, где были и воспоминания, и светлые мечты, и отчаяние, и смелые взлеты надежд. За эти две недели Лесницкий немного успокоился. Не потому, что время дало ответ на его сомнения, а потому, что он не испытывал одиночества,— любую мрачную мысль можно было растопить в горниле настоящей глубокой дружбы.

От деревни Славина до железнодорожной станции было двадцать пять верст.

Город встретил ребят глухим свинцовым рассветом. Еще в поезде они узнали о восстании Корнилова, о том, что город объявлен на осадном положении, что разворачивается серьезная и решительная борьба. Поэтому в тихое безлюдное время ребята легко уловили суровую, затаенную тревогу, почувствовали походную солдатскую напряженность. Во всем, что встречалось на пути, они готовы были увидеть что-то необычное, страшное. Когда сталкивались с какой-либо группой солдат, тотчас инстинктивно жались друг к другу, с ужасом ждали, что вот-вот их задержат, поведут куда-то, будут допрашивать, чего доброго еще примут за шпионов. А в любом автомобиле, со злым урчанием проносившемся мимо них, мерещился сам «главковерх» Корнилов или кто-нибудь из его главных приспешников. Каждый автомобиль они проводили осторожными замечаниями:

— Видно, какой-то очень важный генерал поехал... Гляди, как плотно окна завешены...

— А вон пулеметы брезентом накрыты, видишь? По форме отличишь...

— Вот санитарный, на таком раненых возят... И сестра сидит... видел?

Уже в самом центре ребята встретили довольно большой отряд вооруженных солдат. Солдаты шли стройными шеренгами, и мертвая тишина на улицах как-то особенно резко подчеркивала дружный топот сапог. У каждого солдата на

рукаве была синяя повязка с нарисованным на ней человеческим черепом. Под ним надпись — «корниловцы». Лесницкий первый заметил эти повязки и толкнул в бок Славина.

— Вот они какие, корниловцы...

Лесницкий и Славин остановились и с каким-то испуганным удивлением смотрели на солдат до тех пор, пока мимо них не прошла последняя шеренга. Наверное, у солдат был такой торжественно-боевой и грозный вид, а, может, просто причиной было тревожное настроение ребят, но только оба они уловили вдруг легкое дуновение тихого ужаса, живое дыхание кровавой битвы. Казалось, эти хмурые солдаты в любой миг готовы были остановиться, рассыпаться по команде в разные стороны и открыть пальбу, посылая свинцовую смерть в первого встречного.

Под влиянием этого настроения Славин зябко повел плечами и проворчал сквозь зубы:

— Не люблю войну... В ней всегда есть что-то стихийно-холодное, безжалостное, неумолимое... Железом и кровью от нее пахнет...

Лесницкий, чтобы как-то развеять тягостное впечатление, пробовал шутить:

— Попытайся взглянуть на войну с «золотого расстояния», может она покажется красивой...

Славин воспринял шутку вполне серьезно и с настойчивой поспешностью стал спорить:

— Несомненно. Потренировавшись, можно. Многие и смотрят на войну, как на что-то красивое. Поэты опевают войны в самых лучших своих песнях, народы слагают о них бессмертные легенды, для целой группы людей и теперь войны — родная, милая сердцу стихия... Только я еще не умею находить нужную точку, откуда бы следовало смотреть,— война мне не нравится...

Они свернули с центральной улицы и направились к Андрею — решили у него остановиться.

Когда подходили к его дому, Лесницкий вдруг почувствовал легкое и приятное волнение, словно шел на свидание к близкому другу, которого уже бог весть сколько времени не видел. С неожиданной четкостью возникли перед мысленным взором лица Андрея, Нины, Халимы и даже немощного, больного отца. Потом, когда уже прошли калитку, всем его существом овладело неприятное замешательство — оно всегда наступает, когда после долгого отсутствия переступаешь порог хорошо знакомого дома.

На крыльце их встретила Нина, широко расставив черные от сажи руки (разжигала печь) и не менее гостеприимно и тепло улыбаясь своими добрыми серыми глазами.

— Смотрите! Гости нежданные!.. Заходите, заходите... Давайте здороваться... Кто первый?

Она угрожающе выставила вперед свои запачканные руки.

Тем временем Лесницкий быстро-быстро засеменил вокруг, с шутливым вниманием разглядывая хозяйку.

— Подобрела, похорошела... совсем на девочку стала похожа... Подойди-ка поближе к свету, ну-ну... Да... И вас, вижу, жизнь затронула...

Действительно, ему бросилось в глаза, что на беспечно-веселое лицо Нины легла тень непонятной тревоги, а в уголках рта проступили едва заметные следы глубокого душевного волнения.

— Ну, кажется, довольно рассматривать, а то, гляди, обмажу сажей... Проходите туда, в комнату...

— А Халима дома?

Нина не смогла скрыть своего беспокойства. Она вдруг стала серьезной и строгой.

— Халима дома... Спит он... Вчера поздно вернулся домой... Идите к нему, разбудите... Он сам обо всем вам расскажет... Сможете убедиться, какой это упрямый человек...

Ребята, подогреваемые любопытством, быстро прошли в комнату. Халима спал, широко раскинув на кровати руки,— огромный и неуклюжий, как дубовая колода. Рядом, на стуле, на столе и на лежанке разбросана солдатская одежда и разная военная аммуниция. На стене висела сабля.

— Смотри-ка! Выходит, он уже служит в армии!..

И обоим стало смешно, что Халима, с которым они еще совсем недавно сидели вместе за ученической партой, уже военный, имеет оружие, форму. Сразу показалось, что это какой-то другой Халима, не тот, школьный.

Они осторожно стали его будить. Это оказалось довольно трудной работой, Халима, видно, решил проснуться лишь тогда, когда ребята стащили с кровати обе его ноги. Халима сел и принялся энергично тереть кулаками заспанные глаза. Наконец узнал их и серьезным, энергичным голосом завопил:

— Здорово, ребята!

Затем опять принялся за глаза, сонно заворчал сквозь громовую зевоту:

— Я думал — пришли уже... а оказалось, это вы... Ну, молодцы, ребята... А вот я... собираюсь арестоваться... меня арестовать... как бы вам сказать поточнее... ну, вот — меня собираются арестовать...

Потуги этой формулировки окончательно развеяли его сонное состояние... Он вдруг уставился на ребят широко раскрытыми, живыми глазами и спросил:

— Андрей дома?

— Нет, кажется, нету...

— А Нина?

— Нина здесь.

Халима с какой-то смешной предупредительностью глянул на дверь и тихо заговорил:

— Они уговаривают меня сбежать... это совсем легко, неинтересно... Я не хочу — пусть забирают, не пропаду... Ведь я ни разу еще не сидел. А полевым судом не засудят — брешут они, пугают, чтоб сбежал... Да только я не хочу — и все тут... Успею еще набегаться... Ну, ладно... Присаживайтесь, где кто хочет... Малышка! Малышка!

В комнату вошла Нина. Она глянула на ребят, на Халиму и смущенно улыбнулась:

— Какая я тебе малышка?.. Тоже еще придумал... Зачем звал меня?

— Кто сегодня дежурит?

— Андрей.

— А где он сейчас?

— Пошел куда-то...

— Кто же самовар поставит? Как же так?

И он бросил на Нину непонимающий взгляд. Нина в ответ только махнула рукой.

— Ладно уж, сегодня поставлю. Потом сочтемся...

Лесницкий вспомнил, как Андрей называл — «наша коммуна». Невольно улыбнулся, спросил:

— У вас всё по очереди делается?

Нина ответила с шутливой обидой:

— Ничего себе, всё... Печь я топлю, полдник я готовлю, продукты я покупаю, все я делаю... Ведь я безработная... Дежурный только самовар ставит да полы подметает... Вот как у нас...

Когда она вышла, Халима стал одеваться и рассказывать о своих злоключениях:

— У нас здесь беда... контрреволюция, черт бы ее побрал... Корнилов... слышали такого? Ну, так вот... Было хорошо, а теперь — еще лучше... совсем уже к царю подбираются... Вот и моя часть за него, за эту сволочь черносотенную... Вчера приказ издал Корнилов, уже повсюду развешан, может читали?.. А я ночью митинг собрал в своей части, поворачивать стал на большевистскую линию... Меня бы вчера еще арестовали, но ребята заступились. Я адрес им оставил, сказал, что буду ждать их ровно в десять. Они поверили... Сколько сейчас? Половина девятого? О, еще рано... Сбежать тут легко — перешел на другую улицу, вот и все. Только он долго не продержится, потому как поддержки не имеет... Так-то оно... Сбежать можно, но не хочу... Пусть себе...

В военной форме Халима выглядел вполне солидным мужчиной. И вообще за последнее время он заметно выровнялся, даже симпатичнее стал — более гармоничными, мягкими стали его крупные черты лица. Он немного стеснялся — видел, ребята в открытую его разглядывают,— и, чтобы как-то скрыть смущение, изо всех сил старался напустить на себя серьезную мину. И он действительно предстал перед ребятами каким-то новым, страшным...

Нина принесла самовар и молча поставила на стол. С каждой минутой лицо ее становилось все более мрачным и суровым. Это невольно сказывалось на настроении и гостей и Халимы. По комнате быстро расползалась гнетущая атмосфера, у всех напряглись нервы, каждое слово, каждый оброненный звук, казалось, были неуместными и фальшивыми. Так бывает всегда, если люди ждут неприятных новостей, знают о них и вместе с тем боятся или считают нетактичным вслух о них говорить.

А тревога росла. В помещении воцарилась неестественная тишина. Время от времени ее нарушал только Халима, он старался говорить за всех, даже пытался шутить и смеяться, чтобы хоть немного развеять тягостное состояние гостей. Изредка бросал на Нину испытующие взгляды (она беспокойно ходила туда-сюда, нервничала), и в этих его быстрых взглядах странно переплетались напряженное ожидание и озлобление. Казалось, он следил за каждым ее движением и ждал, что она вот-вот что-то сделает или скажет. И готовился грубо оборвать ее. Нина же на него и не смотрела, лишь упорно и затаенно молчала. Это, по-видимому, и сбивало его с толку.

Стрелки часов приближались к десяти. Все это видели и невольно прислушивались, ждали шагов, стука в дверь. И вот, когда уже осталось минут десять, Халима не выдержал, сорвался. Он вскочил со стула, сердито посмотрел на Нину и с силой ударил по столу тяжеленным своим кулаком.

— Хорошо. Я сбегу... Я сделаю это для тебя, Нина. Слышишь?..

Халима не сводил с нее злого взгляда. А та стояла молча у окна и смотрела куда-то в сторону, боясь сдвинуться с места, чтобы не дай бог каким-нибудь неосторожным движением не выявить своей радости и не вспугнуть неожиданной решимости Халимы. Один только раз она тайком глянула на него. И в этом ее трепетном взгляде сквозь тень тревожного неверия блеснул яркий луч счастливой признательности.

Халима поспешно и решительно стал собираться. Минуты через две он стоял уже в полной готовности — одетый, при оружии, сильно морщил лоб, вероятно, думал, как бы не сказать чего, а быть может, хотел что-либо сказать на прощание, но не знал, с чего начать.

В этот момент послышался стук в дверь. Нина инстинктивно бросилась к Халиме.

— Прячься!

Он улыбнулся.

— Поздно уже — ничего не поделаешь. Иди открой...

В его спокойном голосе явно прозвучала нотка радости. Он был доволен, что не надо будет теперь ни о чем думать, не надо будет тревожиться. А Нина снова стала замкнутой, мрачной и, не сказав больше ни слова, пошла открывать.

В комнату зашло трое солдат. У всех на рукавах были уже знакомые Лесницкому и Славину повязки. Халима встретил их с шутками, с веселой улыбкой на лице и тут же стал снимать с себя оружие и раздеваться.

— Молодцы, ребята, как раз вовремя. Сколько сейчас? Ровно десять? Ого, американская точность, минута в минуту... Так вот кого прислали за мной!.. Слушай, Мирончик (он обратился к самому маленькому чернявому солдатику), черт ты лысый, дьявол! Ведь ты вчера защищал меня больше всех... Какой же из тебя толк, а?..

Солдатик грустно улыбнулся.

— Вчера другое дело было, вчера это мы так, по-простому, товарищами... А сегодня приказали, вот и пошел... Служба, братец...

— Ха-ха-ха! По-простому, говоришь? Это ты здорово хватил... Ну, ладно, ребята, прощайте!

Он широко и крепко — по-своему — пожал руки Лесницкому, Славину. Когда прощался с Ниной, старался не смотреть ей в глаза. Видно, хотел так же спокойно пожать ей руку, как и ребятам, но потом спохватился и с какой-то сердитой поспешностью поцеловал в лоб.

— Ну, черносотенцы, айда!..

И они пошли — столпились на минуту у порога шумной гурьбой. Хлопнула дверь, во дворе послышались глухие взволнованные голоса, и стало тихо, в доме осталась тревожная, напряженная пустота.

Нина опустилась на скамейку и притихла в какой-то неестественной, застывшей позе — уставилась в серое, холодное пятно окна отрешенным взглядом. Славин подошел к ней и, осторожно поблескивая своими очками, стал утешать. Эта решимость выглядела смешной в ту минуту и была совсем некстати, и Лесницкий хотел уже было остановить Славина, но тут же передумал, счел неудобным. Нина вначале не слушала, что тот говорил, думала о чем-то своем. Когда же поняла, что Славин уговаривает ее, нервно передернулась всем телом и посмотрела на него с таким презрением, что Лесницкий невольно отпрянул назад,— он никогда не видел Нину такой злой. Обычно ласковые ее глаза стали вдруг влажными и заблестели синим огнем,— казалось, она готова была кошкой кинуться на беднягу Славина. Но это продолжалось одно короткое мгновение. Неуклюже-виноватый вид Славина сразу же умиротворил ее, Нина мягко улыбнулась, и вся печаль вылилась из ее глаз двумя крупными слезинками. Однако вслед за этим Славин сотворил еще одно чудачество — с какой-то неуместной поспешностью схватил ее руку и звонко поцеловал.

— Я вас понимаю, Нина... Я узнаю вас...

Лесницкий стоял в стороне, наблюдал за ними и искренне жалел обоих.

Ребята остались жить у Андрея — заняли вдвоем комнату Халимы.

Лесницкий в тот день с нетерпением ждал минуты, когда придет Андрей, уж очень хотелось повидать его. С ним связаны были кое-какие сомнения, в последнее время так сильно угнетавшие Лесницкого. Но он, конечно, не собирался говорить о них, даже вспоминать не думал, однако надеялся в душе, что Андрей сам догадается обо всем — вот только бы повидать его.

Больше всего Лесницкому не давала покоя мысль о поездке Мокрины в город. Она пробыла там три недели и вернулась в деревню какой-то совсем другой, вдохновенной. Сейчас они оба были очень рады встречам. Лесницкий старался быть с нею как можно более ласковым, внимательным, она же отдавала ему свое тепло и любовь с прежней готовностью. Они все чаще и чаще стали поговаривать — просто и открыто — о том, чтобы пожениться и начать совместную жизнь. И вместе с тем Лесницкий замечал в Мокрине что-то новое, едва приметное, но глубоко беспокоившее его,— оно, это новое, становилось на их пути досадным рожном, в известной мере холодило их отношения. Казалось, Мокрина привезла из города какое-то пугливое, сторожкое недоверие и глубоко затаила его под сердцем, будучи убежденной, что оно когда-нибудь понадобится и без которого никак не прожить на свете. И эта внутренняя настороженность временами выходила наружу и студеной струйкой гасила пламя их желанной близости. Несколько раз Мокрина подчеркнуто говорила Лесницкому «вы»,— это особенно крепко засело в его сознании. Позже она сама смеялась над этим и с мягкой покорностью просила у него прощения, бесконечно повторяя — «ты», «ты», «ты» и неизменно прибавляя полные ласки эпитеты. Но Лесницкий видел, что и сама она потом задумывалась,— видно, ее тоже волновали невольные, неосознанные проявления холодности. И вот все это Лесницкий почему-то связывал с личностью Андрея и в минуты тревожных мыслей и сомнений горячо желал встретиться с ним, полагая при этом, что сразу все станет ясным и понятным.

А еще глубокое смятение в душе Лесницкого оставила встреча Андрея с Раисой на станции, когда они уезжали в город. Откуда Андрей знает Раису и она — его, где они познакомились? Почему у Раисы на лице было хорошо заметно волнение, когда она здоровалась с Андреем? Почему он первый не захотел поздороваться с нею?..

Уже позже, спустя несколько дней после приезда, Лесницкий спросил было у Андрея об этом — спросил как бы между прочим, словно бы его это мало занимало. Андрей сразу стал серьезным, казалось, даже немного удивился. С минуту подумав, он ответил:

— По некоторым соображениям я не могу тебе рассказать

где и как мы встречались. Скажу лишь одно, по-товарищески, полагаясь на твою скромность: берегись ее, как женщины...

Лесницкий замер от неожиданности. Он было собрался еще о чем-то спросить, но Андрей решительно сменил тему разговора и больше ни словом не обмолвился о Раисе.

Это произошло уже спустя несколько дней после его приезда. Вначале же Лесницкий ни одним звуком не высказал своих сомнений, только внимательно присматривался к Андрею да напряженно ждал, не скажет ли тот сам что-либо.

Андрей явился лишь к полудню, явился ужасно измученным, видно было, что его одолевают какие-то тревожные заботы. Он без лишних слов поздоровался с ребятами и сразу стал расспрашивать об аресте Халимы. Потом, сердито нахмурив брови, ходил из угла в угол по комнате, что-то ворчал себе под нос, совсем забыв о том, что в помещении помимо него есть еще люди и что они смотрят на него в полной растерянности и не знают, как им быть.

Наконец он остановился, усилием воли отогнал от себя докучливые мысли и словно только теперь увидел перед собою ребят.

— Ну так как, ребята, приехали, значит? Как она жизнь-то? Что интересного слыхать на свете?.. Еще не полдничали? Подай-ка нам что-нибудь, Нина, голоден я, как волк...

Он снова был таким, как всегда, как будто и не было у него никаких забот, никаких хлопот. За полдником весело и живо расспрашивал у Лесницкого про деревню и настроение крестьян, про события, которые произошли там после его отъезда, и впечатление от пожара. Спросил и про Мокрину — и вот тогда-то широко раскрытыми глазами упорно посмотрел на Лесницкого. Лесницкий заметно смутился и, потупив взор, ответил что-то неясное и неопределенное. На короткий миг между ними вдруг глухой стеной встала какая-то леденящая напряженность. Однако Андрей тут же овладел положением и резко повернул разговор на другую тему. Он вспомнил о Халиме и с ворчливым укором покачал головой.

— Не будет толку... Пошел просто так, ни за кого — ни за нас, ни за себя... Пошел потому, что как следует не понял, куда идет, зачем идет.

Нина решительным голосом произнесла:

— Он хотел сбежать, но не успел.

Андрей махнул рукой.

— Дело не в этом. Здесь смотреть надо поглубже... Ну что ж, пусть так... там видно будет... Вот что,— вдруг вспомнил он и повернулся к Нине: — сегодня вечером сюда придет несколько человек, может, ты чай приготовила бы, а?

— Сходка будет?

— Не совсем так... Просто посидим, побеседуем...

Лесницкий деликатно заметил:

— Наверное, нам не следует тут быть?

Андрей засмеялся.

— Почему же? Вы, кажется, люди свои, разве от вас надо прятаться?

После полудня Андрей опять куда-то сбежал. Нина пошла на кухню приводить в порядок посуду, и на ребят напала тягучая скука, какая, обычно, всегда случается в первый день после переезда на новое место. С полчаса они сидели в комнате, все договаривались, куда бы пойти. Наконец Лесницкий вспомнил:

— Давай-ка сходим к Матрунину!

И оба обрадовались, заулыбались довольные. Они удивились, почему сразу не сообразили навестить старика. И вот теперь думали-гадали, как он выглядит, каких мыслей придерживается относительно последних событий.

Когда впереди показался дом, где жил Матрунин, у Лесницкого снова тревожно забилось сердце, точно так же, как и перед дверью Андреевой комнаты. Но он быстро овладел собою, успокоился, затем ясно представил себе доброе, ласковое лицо старого революционера.

Открыла им хорошо знакомая бабка. Вначале она внимательно на них посмотрела, потом тихим голосом спросила, нахмурив брови:

— Вам кого?

— Мы к Матрунину. Ведь он здесь живет, не так ли?

Старушка медленно повернулась вполоборота, словно раздумывала: вести с ними и дальше разговор или просто захлопнуть дверь. Потом сердито буркнула:

— Подождите!

И сама ушла, предусмотрительно закрыв дверь. Через несколько минут дверь снова приоткрылась, и на пороге показалась удивленная физиономия старика. Ребята приветливо заулыбались ему. Старик уставился на них холодно любопытствующим взглядом и никого не узнавал.

— Что скажете, молодые люди?

Ребята почувствовали себя в высшей степени неловко. Лесницкий, заикаясь, объяснил старику, что они старые знакомые, недавно приехали из деревни и пришли навестить его. И вот хозяин явно заволновался, весь сморщился, засюсюкал не то радостно, не то взволнованно:

— Помню, помню, как же... Я очень рад... Заходите, сделайте милость... Вот молодцы... Очень хорошо, что не забыли о старике...

И вот перед ними те же самые, со вкусом меблированные комнаты, где когда-то так ярко горело пламя романтических грез, где в едином дружном порыве сливались десятки юных сердец — энергичных и задорных. В гостиной тоже, как и тогда, тихо, по-домашнему уютно гудит голландка (старик любит тепло), и свет от нее живыми отблесками бегает по крупным узорам лохматого ковра.

Лесницкий переступил порог этой комнаты с глубоким благочестивым почтением, словно вошел в святой алтарь, где когда-то в религиозном экстазе давал присягу на верную службу неизвестному призрачному богу — Народу.

И почему-то стало тоскливо-тоскливо. Почему — и сам толком не знал. Может, потому, что сейчас царила пустота в этом алтаре и не было тех дружных восхищенных ребят (и куда только их разбросали бурные жизненные ветры?), один лишь тучный ленивый кот томно нежился в трепетном свете приветливой голландки... Быть может, потому, что жизнь грубо растоптала с таким умилением свитый венок золотистых грез... Быть может, потому, что Матрунин не сидел, подобно пророку, в окружении преданных учеников, а живо суетился вокруг, морщил лицо и бесконечно повторял, что очень рад их приходу...

Но хуже всего, что глаза у Матрунина стали другими, как будто их подменил кто-то. Тогда они светились увлеченностью, восторгом и самоотверженностью, теперь же испуганно бегали по сторонам, светились хитринкой и неискренностью.

В квартире было тихо и как-то очень неуютно.

Матрунин наконец усадил их, сам сел возле голландки и повел неторопливую беседу. Ребята молча смотрели на него и слушали, а в глубине души испытывали какую-то странную неловкость, словно ошиблись адресом и теперь оказались в чужом незнакомом жилище.

Старик жаловался на тяжелое смутное время.

— Хорошо было в первые дни революции. Вспоминаешь о них, как о светлом празднике, как о большом и радостном торжестве. Какое было дружное единство, отрадное восхищение! Все заодно, все готовы были идти рука об руку к одной заветной цели. Впереди ясные просторы — свобода, счастье, равенство... Изгадили, испоганили все, все в грязь затоптали. Великое имя «социалиста» превратили в грязную тряпку, напоминающую фартук неряшливой хозяйки с рынка. Теперь каждый встречный называет себя социалистом. Каждый норовит надеть маску социализма, только бы не отстать от моды. Никогда и нигде прежде не было такой страшной, такой грязной профанации самых светлых идеалов человечества. Любой мужик сегодня считает себя и называет социалистом, ибо он, видите ли, за социализацию земли; до этого наслушался большевиков и с беспардонным самовластием сейчас захватывает помещичью землю, потому как он — социалист. Да, дети мои, в грубые, в черные руки попал очаровательный цветок нашей свободы — ждет его впереди гибель. Народ очнулся от векового сна, он, подобно ребенку, идет на ощупь,— ему нужен вождь. И вот — нашлись, повели его, ударили по диким звериным инстинктам...

Все решительно пропадет, собственной кровью зальют люди свою свободу...

Старик распалялся все больше и больше, и чем дальше, тем сильнее начинали звучать в его голосе нотки злобы и раздражения.

Лесницкий воспользовался небольшой паузой и спросил о Корнилове — что может принести его вооруженное выступление. Матрунин сначала вроде бы растерялся, неожиданно замер, втянул голову в плечи, очевидно не ожидал такого вопроса. Потом неохотно проворчал:

— Что ж, Корнилов — военный герой, он любит порядок. Сейчас наступило такое время, когда нужна диктатура. Корнилов может восстановить порядок, с ним надо было бы войти в согласие, а не объявлять его врагом... Необходимо объединить все силы, чтобы справиться с анархией, преодолеть дурное влияние на темную массу разных безответственных элементов...

Он умолк, и на какое-то время в квартире воцарилась тяжелая тишина. Чтобы нарушить неприятное молчание, Лесницкий с натужной решимостью заговорил о первом, что взбрело в голову,— рассказал какой-то случай из деревенской жизни. Матрунин ухватился за это и стал с нетерпением расспрашивать. Чтобы сделать старику приятное, Лесницкий нарочно выбирал такие факты, которые бы иллюстрировали его пессимистические рассуждения: Матрунин хватался за них с наивной радостью, как ребенок за яркие красивые игрушки.

Немного погодя, дождавшись удобной минуты, ребята распрощались с хозяином и ушли. Уже во дворе Лесницкий с шутливым отчаянием шумно вздохнул и спросил у Славина:

— Ну, как?

Славин ответил не сразу. Было видно, его глубоко тронула эта встреча — он о чем-то напряженно задумался, с тупым упорством уставившись в землю. Затем еще раз глубоко вздохнул и серьезным тоном заметил:

— Потерял расстояние — уж теперь ему будет худо.

Лесницкий расхохотался.

Они еще с полчаса походили по городу и вернулись домой. На улице уже было темно. Дома у Андрея сидели гости, они расположились в комнате ребят — не хотели беспокоить своим шумом больного отца. Андрей познакомил их с Лесницким и Славиным. Лесницкому почему-то особенно ярко бросились в глаза двое: молодая еврейка с резко очерченным фанатичным лицом и мужчина лет тридцати — кажется, тоже еврей. У этого худощавого гостя было странное выражение лица: серое, неприметное на первый взгляд, словно вытертое, и вместе с тем полное какой-то притаенной глубины,— как будто он опасался чего-то, прятался, чтобы не заметили, что

у него много ума и доброты и вместе с тем хватает и силы воли. Когда явились ребята, он сидел за столом возле лампы и что-то читал по свежим типографским оттискам.

Лесницкий прислушался. Это были свежие сообщения о борьбе с корниловской контрреволюцией, об организации военно-революционных комитетов, об обороне Петрограда, о решительных мероприятиях Советов, о разложении корниловских войск и т. д. Это были нелегальные листовки, которые на следующий день должны были появиться в городе; это были листовки, с огромным риском отпечатанные под самым носом у корниловских агентов.

Когда он кончил читать, развернулась оживленная беседа, главной темой которой был вопрос, сколько еще продержится Корнилов. В том, что он вообще не продержится долго, никто не сомневался. Когда затронули вопрос о положении здесь, в городе, Андрей решительно встал, принялся нервно ходить по комнате, затем проворчал, недовольный:

— Это — не город, а какое-то болото. Все обыватели молятся на Корнилова... герой, явился, видите ли, спасать покой и порядок... Пропади оно все пропадом, пусть завтра жрать нечего будет, только бы тихо, мирно, только бы не пришло в движение болото... Ничего, еще оживет, еще и как заволнуется, погодите, мои дорогие!..

Потом все вместе ругали местный совет, местных меньшевиков, эсеров, бундовцев, жаловались, что вот уже сколько времени как не присылают сюда работников, что тяжело вести непосильную борьбу в Совете, среди рабочих, а также в деревне. В самом разгаре беседы раздался вдруг громкий, настойчивый стук в дверь. Нина пошла открывать, и через минуту в кухне послышался охрипший, с присвистом голос, принадлежавший, видно, очень неповоротливому и большому мужчине. Лесницкий вздрогнул. Голос этот показался ему назойливо-знакомым и почему-то очень неприятным.

И вот в комнату ввалился тот самый краснощекий рабочий в кожаной потертой тужурке, с которым у Лесницкого была когда-то на манифестации стычка.

Рабочего встретили радостными возгласами, он по очереди стал со всеми здороваться, осторожно пожимая своей широкой ладонью руки гостей. Подошел и к Лесницкому. Он уже хотел было и ему пожать руку и пройти дальше к столу, но самолюбие Лесницкого не позволило упустить такой удобный случай и не напомнить о злосчастной встрече. Прежде чем подать рабочему руку он решительным и потому слишком уж серьезным тоном произнес:

— Мы с вами уже встречались.

Рабочий отступил к свету, пристально посмотрел Лесницкому в глаза.

— На самом деле лицо мне ваше, кажется, знакомо... Вы не состояли в н-й организации?

Лесницкий почувствовал, что сгорает от стыда. Теперь уже, после этих слов рабочего, он просто не мог, не хватало мужества назвать действительное место их встречи. Он стоял и молча хлопал глазами и еще больше терялся от мучительных потуг найти какой-то выход. А пауза затянулась уже слишком долго, и Лесницкий готов был провалиться сквозь землю. Выручил его Славин — выручил по-своему, по-славински. Он подошел сбоку к рабочему, тронул его правой рукой (левой поправлял очки) и проговорил со спокойной деловитой серьезностью:

— Да нет, не в организации... Это вы его во время Февральской революции по голове ударили...

Рабочий взорвался громким хохотом и с искренним дружелюбием стал трясти руку окончательно растерявшемуся Лесницкому.

— Ха-ха-ха! Как же, хорошо помню... Ха-ха-ха! Значит, крестник. Ну, тогда здравствуй, здравствуй! Выходит, сейчас наш, так, что ли? О-го-го... Вот так встреча... Кто бы подумал, что здесь встретимся. Вот как бывает в жизни...

Все, кто находился в комнате, даже не будучи посвященными в подробности дела, падали от смеха. Нельзя было удержаться — настолько заразительным был хохот обрадованного рабочего. Лесницкий же не знал, что ему делать. Хотелось сбежать, потому что больше не хватало сил бесконечно терпеть этот дьявольский смех, однако сбежать нельзя было — тут же бы все обнаружилось и еще больше осмеяли бы. И он продолжал стоять, как грешник под градом каменьев, пока кто-то не сжалился над ним и не перевел разговор на другую тему. Тогда Лесницкий незаметно выскользнул из комнаты и больше не показывался. Он ушел на жилую половину — там Нина что-то читала больному отцу — и остался слушать, пока старик не уснул. А тогда завел с Ниной теплую, дружескую беседу,— подробно рассказывал ей обо всех своих приключениях, пережитых им за время их разлуки.

В соседней же комнате далеко за полночь слышен был живой, заинтересованный разговор,— там дружные единомышленники горячо обсуждали животрепещущие события прошедшего дня.

Корнилова посадили в одну из лучших гостиниц города. Каждый день в полдень мимо окон здания проходил, возвращаясь с занятий, ударный корниловский полк, и солдаты дружным криком «ура!» приветствовали своего арестованного шефа. Корнилов подходил к окну и с грустным видом проводил глазами колонны преданных ему бойцов.

В это время обычно напротив гостиницы собиралась толпа народа — городские мещане приходили поглазеть на несчастного «спасителя великой святой России». В собравшейся

толпе иногда слышны были нервные всхлипывания — это рыдали сострадательные старушки, твердо придерживавшиеся извечного обычая проводить слезами любую знаменательную перемену в жизни государства, какой бы характер она ни имела. Они плакали, когда менялся царь, когда на свет появлялся новый царевич, когда убивали очередного министра, когда объявляли войну или заключали мир.

Однажды и Лесницкий подошел поглазеть на Корнилова,— ему не давало покоя какое-то особое любопытство увидеть человека, который осмелился пройти широким шагом по ярким страницам истории российской революции. Вид Корнилова его крайне удивил. Он надеялся увидеть какого-то страшного, грозного генерала с гневными блестками во взоре, с резкими чертами лица, однако вместо этого за окном тускло мелькало заросшее редкой щетиной лицо спокойно-грустного мужчины, лицо, на котором четко определялись черты глубокой эмоциональности и которое выражало неподдельную искренность, даже фанатизм. Уже много позже Лесницкий не раз вспоминал это лицо и ему казалось, что из всех активных героев контрреволюции, из всех приспешников буржуазии генерал Корнилов был самым преданным и убежденным.

Конец корниловской авантюры принес в город удивительно сумбурную и безалаберную суету. Насколько в первые дни его выступления город был охвачен по-военному, по-боевому собранным настроением, настолько теперь чувствовалась повсюду свобода и распущенность. Фактически не было видно ни победителей, ни побежденных, многие даже толком понять не могли, кто это победил, кто посадил Корнилова и сидит ли он вообще или так просто живет здесь в удобном номере, откуда руководит войсками.

По улицам, беспорядочно-шумным, расхаживали и корниловские штурмовики со своими страшными для детей и поэтично привлекательными для женщин «смертями» на рукавах, и солдаты частей, поддерживавших Временное правительство. Иногда они заводили где-либо в боковой улице жаркий спор, но до открытой драки дело доходило редко. Один раз только пришлось Лесницкому быть свидетелем довольно серьезной потасовки, которая показалась ему настолько же поучительной, насколько и смешной.

Было это под вечер неподалеку от сквера, который находился на одной из центральных улиц города. Лесницкий подошел в ту минуту, когда в небольшой плотной группке военных отчаянно спорили корниловец с солдатом егорьевского батальона. Лесницкий задержался, стал прислушиваться. Ему сразу бросилось в глаза, что оба военных были заняты больше своей риторической ловкостью, чем существом самого спора,— это было видно по их сдержанно-гордых, полных спокойного самолюбования физиономиях, по тому, как

каждый из них, бросив очередную реплику, внимательно прислушивался к смеху и веселым окрикам со стороны сочувствующей ему части толпы. На самом же деле, обоим, видно, было совершенно безразлично, будет ли ездить на революции казачий генерал Корнилов или эсеровский адвокат Керенский. С таким азартом обычно спорят любители скачек: какой из рысаков возьмет верх — вороной с белой звездочкой на лбу или рыжий, с белыми копытами. А тем временем ни от того, ни от другого рысака никакой решительно пользы эти до предела возбужденные любители скачек не имеют. Было только приятно наблюдать, что и противники и публика сильно возбуждены, что они ищут любой способ как-то ослабить свое внутреннее напряжение.

Благодаря подзуживанию многочисленных слушателей противники все больше и больше распалялись, постепенно скатываясь с вершины тонкой политики на сугубо-личный обмен комплиментами. Конец их спора был приблизительно такой:

— Много ты понимаешь... Твой Корнилов — такой же дурак, как и ты сам...

— Пусть себе дурак... А ты вот только побольше слушай эту бабу Керенского... Глядишь, еще длиннее уши вырастут. И так уже, как у осла...

— Уши — ерунда, главное, чтоб нос не скривился... А то ведь... так и вернет на Оршу... Избил кто-то, не нюхай морсу... Да, да... Ха-ха-ха!

— А ты потише... Гляди, не зарывайся... На свой лучше посмотри... Видел вот это?

— Ты что... драться, а?

— А чего лезешь?

— Так вот, получи!..

До этого времени основное ядро толпы еще само собой разделилось на две приблизительно равные части, сгруппировавшиеся вокруг одного и другого. Поэтому начало драки выглядело на удивление быстрым и удачным. Уже в следующий миг в ней принимало участие десятка два человек. Прозвучало несколько выстрелов, но, очевидно, в воздух, потому что, как потом выяснилось, не оказалось ни убитых, ни раненых.

Лесницкому надолго запомнился тот случай. При всей своей незначительности он влил новую струю в ту мрачную неразбериху, которую наблюдал Лесницкий вокруг себя. Лесницкий рассуждал:

— Что же это, игра? Потеха? Развлечение? Цирк или революция? Кто и во что здесь играет? Кто рассчитывается за проигрыши?

В те дни он не находил ответа на подобные вопросы — тогда все перепуталось в одном трагично-беспорядочном клубке — невозможно было отыскать в нем начало и конец.

Дней через пять после ликвидации корниловского восстания Лесницкий, вернувшись вечером домой, застал живого и здравствующего Халиму. Халима успел уже навести в комнате буйный, как и сам, беспорядок и сейчас, широко раскинувшись на кровати, издевался над Славиным. Он выбрал для этого очень тонкую и изощренную по своей жестокости пытку. Халима преднамеренно вызвал Славина на открытый философский разговор, ждал, пока тот с потугой выскажется до конца, и тогда беспощадно высмеивал его, но делал это таким образом, что Славин не замечал подвоха, выкладывал всего себя и в горячем рвении, едва не со слезами на глазах, старался доказать свою правоту.

За экзекуцией молча наблюдала Нина. По выражению ее лица было видно, что она ужасно возмущена. Нина очень обрадовалась, когда увидела, что приход Лесницкого прервал эту гнусную сцену.

— Ну как? — спросил Лесницкий у Халимы.

Халима глубоко затянулся самокруткой, с трудом повернулся на кровати и проворчал:

— Все чепуха, я хорошо знал, чем это кончится. Если б неделю еще или две, ну, тогда, возможно, и сделали бы что-нибудь, черт им поверит... Сейчас выпустили да еще героями сделали — пострадали, значит, за революцию... И чего только не придумают, дьяволы... Ха-ха-ха! Я им как следует досадил, всю тюрьму взбудоражил... Последние дни провел в одиночке — скучно было, разные мысли лезли в голову, не давали покоя... Не люблю, брат, мыслей — мерзкая штука. Другой тужится, тужится, заберется в дебри, запутается, как котенок слепой, а думает, открыл Америку... Эх, мещанство! Поменьше думать надобно, Василь. Лучше совсем не рассуждать, а — бить, куда попало, больше толку будет...

В этот момент Славин, который тихо сидел в углу, резко поднялся, схватил шапку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Его провели недоуменным молчанием,— все заметили, он не просто так ушел, а был чем-то сильно расстроен. Когда хлопнула калитка во дворе, стало ясно, Славин подался в город.

— Что с ним случилось? — удивился Халима.

— Кто знает...

И тут Лесницкий вспомнил, что однажды подобное произошло с Халимой на квартире у Славина после их осечки на манифестации. Он хотел было напомнить об этом, но сдержался, только улыбнулся сам себе и подумал:

«Этот окна бить не станет».

А Халима опять сердито заворчал, лежа на кровати:

— Черт его знает... котенок какой-то, да и только... Не люблю таких мудреных... Философ мне называется... Козявка никчемная!.. Бунт на них на всех нужен, чтобы встряхнуть как следует это затхлое болото...

Он резко поднялся на локти и испытующе уставился на Лесницкого.

— А ты знаешь, почему ничего не вышло у Корнилова? Не сумел как следует бунт организовать, вот почему... Да и кто послушал бы его? А вот народ хочет бунта, понимаешь? В этом и вся философия. Кто пойдет с бунтом — того народ и примет... А то — фи-ти-фи... Философия...

Нина с улыбкой заметила:

— Всякий бывает бунт... Иногда просто окна бьют, чтобы кровь разошлась, если очень застоялась...

Лесницкий добавил с нескрываемой иронией:

— Да и окна бить — тоже не каждому дано. Например, Славин... Он не станет бить даже тогда, когда рассердится,— нет в нем этой застоявшейся крови...

Халиму это раздражало. Он с грубым рвением стал доказывать, что во всем есть свой смысл, что любой бунт имеет оправдание, ибо не позволяет жизни застаиваться и загнивать, освежает окружающий воздух. Аргументы его выглядели весьма неуклюжими и тяжеловесными. В них мало было логики и убедительности. Но они тем не менее невольно производили впечатление своей непосредственностью, простотой и экспрессивностью...

Неожиданный уход Славина не на шутку всех встревожил. В ту ночь он не вернулся домой, ночевал неизвестно где и пришел только на следующий день к вечеру. Переступив порог, сухо поздоровался (о вчерашнем ни единого слова) и сказал, что переходит на другую квартиру. Затем быстро собрал свои вещи и ушел. Так никто и не узнал о причине его неожиданного душевного расстройства. Только дня через два Лесницкому удалось чуть-чуть приподнять завесу, за которой Славин скрывал свою тайну.

Славин сам явился к Лесницкому и увел его на окраину города — показать свою новую квартиру. Это была большая комната, занимавшая почти половину дома. На другой половине жила хозяйка — какая-то старая бобылка. В комнате Славина не было никакой мебели, кроме разве старого расшатанного кухонного стола да непонятной и странной вещи, которую с большой натяжкой можно было назвать кушеткой. Славин сам себе смастерил — она состояла из четырех пар высоченных осиновых козел, двух перекладин и двух узких досок. На этом насесте лежал еще тонкий сенник, который услужливо предложила новому квартиранту сострадательная хозяйка.

Славин усадил Лесницкого на подобие кушетки, а сам сходил к хозяйке и притащил большой ящик. Какое-то время у них совсем не вязалась беседа. Лесницкий было спросил о квартире, о житье-бытье. Тот что-то ответил, потом снова молчали. Но по всему было видно: Славину не терпелось по-

говорить по душам, хотелось высказать все, что накипело на сердце за эти дни. И он начал первый — обходом, издали. Спросил о Халиме, о его настроении и почему-то о служебных делах. Затем немного помолчал и наконец заговорил тихим, задумчивым голосом:

— Он особенный человек... У него всегда одна грубость на языке... Я думаю, он умнее, чем ему самому кажется... О, он — умный, он — способный, у него неисчерпаемый запас жизненной силы, ему надо быть счастливым. Куда против него такой, как я! (И он горько улыбнулся). Я, быть может, завидую, что он такой сильный. Мне как-то тяжело с ним, я чувствую, что он не любит меня... Я, Василь, потому и перешел на другую квартиру... Ты думал — почему? Исключительно только по этой причине... Ты не думай...

Лесницкий его успокоил:

— Мы все так и думали... Какая же еще может быть причина? Ясное дело...

А Славин продолжал свои рассуждения о Халиме. Лесницкому показалось, он нарочно старается как можно больше говорить о Халиме, чтобы отвлечь внимание, а, во-вторых, в душе наверняка скрывает что-то более важное, более деликатное, о чем хочет и вместе с тем боится сказать. И Лесницкий не ошибся. Закончив основательную подготовку, Славин наконец спросил — глухо и вкрадчиво, как будто испугался собственного голоса:

— Они с Ниной, наверное, живут... как муж с женой, а? Тебе не кажется?

Лесницкий спокойным тоном ответил:

— Кто знает... С виду у них довольно близкие отношения... А там разве разберешь, что и как?

— Нина, видно, любит его... Когда его забирали, ужасно переживала... Хорошая она, Нина... Он должен быть счастливым человеком.

Славин умолк, задумался. Потом стал декламировать довольно милое стихотворение, в котором несколько раз упоминалось о прекрасных голубых глазах. Лесницкий догадался, что это собственное сочинение Славина. И вдруг ему захотелось открыть наивно разложенные карты, озадачить начинающего поэта. Как только тот окончил читать, неожиданно спросил:

— Ты что, Никодим, любишь Нину?

Однако желанного эффекта не получилось. Славин даже бровью не повел — ответил совершенно спокойно:

— Кажется, люблю... Но толком еще и сам не знаю. Одного не хочу: чтоб она знала об этом, даже чтобы догадывалась. Ведь ты, Василь, не скажешь ей, не так ли? Я очень тебя прошу...

И опять задумался, отвел куда-то в сторону свой невеселый взор.

Только сейчас Лесницкий понял настоящую причину странного поведения Славина в тот день. Но он обещал, что никому не скажет ни слова о состоявшемся между ними разговоре.

С помощью Андрея и Халимы Лесницкому удалось поступить на должность писаря в одну местную воинскую часть. Он с нескрываемым удовольствием надел военную форму и в новой одежде почувствовал себя новым человеком. Ему доставляла большую радость мысль, что сейчас он уже совершенно самостоятельный, что сам зарабатывает на хлеб и ни от кого не зависит. Особую же отраду приносила военная форма. Он ни минуты не мог усидеть на месте. Все время неведомая сила тянула его в город, хотелось пройтись с важным видом по улицам — в новенькой солдатской шинели, на которой красовались чистые, но пустые погоны.

И вот в эти счастливые дни Лесницкому выпала еще одна нежданная радость: он встретил в городе Раису.

Было это в какой-то праздничный день. Он шел по одной из безлюдных улиц города, отдавшись приятному ощущению своей новой шинели. И неожиданно впереди, шагов за пятнадцать, увидел Раису. Он сразу узнал ее, даже не заглянув в лицо, потому что такой красивой, стройной походки не замечал еще ни у одной женщины. Шла она легко, ловко и в то же время с едва заметной томной медлительностью, словно чувствовала, что кто-то следит за каждым движением ее тела, восхищается красотой ее стройных форм. Казалось, она думала с кокетливым самодовольством:

«Что ж, любуйтесь, если хотите. Для этого я и красивая, чтобы на меня заглядывались».

Лесницкий сразу узнал ее, и сердце его без всякой казалось бы причины тревожно забилось в груди, будто подавало оттуда предостерегающие сигналы. Первое время Лесницкий не знал, что делать: то ли отстать, остаться сзади, то ли догнать и заговорить. В конце концов выбрал последнее и прибавил шагу. Незаметно обогнал ее, прошел еще немного вперед и потом, как бы случайно, оглянулся.

Раиса не узнала его, а быть может, просто не заметила. Тогда он остановился, повернулся всем телом и, чтобы не пропустить ее мимо, издали, за несколько шагов, громко поздоровался:

— Добрый день, Раиса Андреевна!

От неожиданности она вся вздрогнула (так было глубоко о чем-то задумалась), но уже в следующий миг с искренним удивлением подняла свои красиво изогнутые брови.

— Это вы? Откуда, как здесь оказались? Кто это напялил на вас такую ужасную хламиду? Здравствуйте! Я от души рада видеть вас... Боже, какой вы смешной! Вы сейчас похожи на средневекового рыцаря, честное слово...

Лесницкий как-то неестественно, криво улыбнулся и, не выпуская маленькой ручки Раисы, смотрел на нее с жадным умилением, готовый, казалось бы, своими глазами поглотить ее молодую, свежую красоту. Раиса игриво засмеялась.

— Смотрите на меня, как на чудо... Что, симпатичная? Наверное, собираетесь влюбиться в меня, не так ли? Не забыли мои условия? Иначе я не согласна...

— Я уже говорил однажды, что готов принять эти условия, несмотря на их ужасную жестокость.

— О, какой вы добрый!

Она сделала вид, будто ее неожиданно охватило страшное отчаяние.

— Ах, я совсем забыла, что у меня есть счастливая соперница. Почтенный рыцарь! Как поживает ваша черноокая Дульцинея и где она сейчас?

— Сейчас она далеко, за пределами яркого света ваших очаровательных глаз.

— Ага, пошли комплименты...

Перебрасываясь шутками, они подошли к ближайшему перекрестку. Раиса остановилась.

— Дальше я вас не пущу... Вам куда идти: прямо или налево?

— Все равно...

— Тогда идите налево, потому что мне надо направо... И вот что... Сегодня вечером ровно в восемь вы непременно должны быть у меня дома... Эта самая улица, номер 26. Запомнили?

И не дожидаясь ответа, круто повернулась и ушла, оставив Лесницкого в состоянии приятной растерянности. Он не в состоянии был оторвать взора от удаляющейся фигуры и смотрел до тех пор, пока Раиса не скрылась за углом дальнего дома. Затем постоял еще с минуту и пошел куда глаза глядят, с низко опущенной головой, вяло, как бы нехотя, переставляя вдруг отяжелевшие ноги.

В ушах у него все еще продолжал звинеть мелодичный и приятный голосок.

Лесницкий явился к Раисе в точно назначенное время. Перед тем как зайти, раза два прошел мимо светлых, поблескивающих окон, чтобы хоть немного унять волнение. Однако сердце с новой силой забилось в груди, когда он взялся за ручку звонка.

Открыла высокая и очень полная женщина лет сорока. Она удивленно подняла на него широкие брови и грубым тяжелым речитативом спросила:

— Вам что нужно?

Лесницкий только было открыл рот, чтобы произнести заранее подготовленные слова, как из дальней комнаты вдруг послышался знакомый голос:

— Тетя! Пропустите! Это ко мне...

— К тебе?

Тетушка, видно, еще больше удивилась, но пропустила гостя в прихожую. И тут опять послышался голос Раисы:

— Тетя! Это земляк мой — я уже говорила вам... Помните?.. Проходите сюда, Василь Данилович!

Тетушка молча показала рукой на боковую дверь, а сама, тяжело переступая с ноги на ногу, скрылась в соседней комнате.

Лесницкий несмело приоткрыл дверь, сделал шаг в богато меблированный зал и невольно замер.

Раиса, видно, совсем хотела свести парня с ума. Она изо всех сил пыталась подчеркнуть свою яркую красоту, старалась завлечь его.

В зале расплывался нежно-розовый свет, насыщенный каким-то необыкновенно густым ароматом. В дальнем углу стоял массивный рояль, и на его черном полированном фоне особенно хорошо видна была Раиса в легком домашнем платье — тоже розовом, воздушно-прозрачном. Это платье подчеркивало каждую черточку ее тела — очень красивого и одухотворенного.

Она стояла, закинув за голову оголенные руки (поправляла волосы), и смотрела на Лесницкого с гордо-приветливой улыбкой. Она была воплощением женственности и казалась до святости грешной богиней бесконечно-отчаянных услад.

Лесницкому хотелось опуститься перед нею на колени и в молитвенной радости бесконечно созерцать эту молодую, полную жизни красоту. Охваченный неожиданно нахлынувшим порывом, он и в самом деле подошел к ней, опустился на одно колено и произнес с подчеркнуто-шутливой аффектацией:

— Вы — безжалостно прекрасная, Раиса Андреевна... Позвольте же несчастному рыцарю поцеловать хотя бы краешек вашего платья.

Она подошла к нему, подняла за уши и в тон ему ответила с улыбкой:

— О, мой бедный рыцарь! Вы, разумеется, заслужили чести прикоснуться своими шляхетскими устами даже к моей руке. Целуйте...

Лесницкий сидел у Раисы, словно в каком-то одуряющем угаре. Потом она играла на рояле щемяще-грустные мелодии, и душа его тихо изнывала от переполнявшей ее нежности и ласки. Он закрыл глаза и слушал, и тогда все: мысли и чувства, все существо его жило одним ощущением — оно казалось вполне материальным — туманно-розовым, расплывчатым, покрытым чарующе-мудрой системой прозрачных складок.

Когда Раиса кончила играть, у Лесницкого болезненно засаднило под сердцем — он понял, надо уходить, прошло уже часа полтора. Однако Раиса позволила ему остаться до

десяти, а потом, немного подумав, еще продолжила время.

— В десять придет дядя Мика, но вы можете при нем оставаться.

Они сели рядом на диване. Она вспомнила, что он знает много разных забавных историй, и велела рассказать некоторые из них. В награду за это он получил в полное распоряжение ее левую руку. Лесницкий стал рассказывать, но на этот раз получалось у него не лучшим образом, он больше был занят бесконечным целованием «своей» руки.

Вскоре после десяти явился Мика. Дядюшка Раисы полностью соответствовал своему имени. Это был забавный полный человечек, обильно сыпавший всегда готовыми шутками, с аристократически-пренебрежительной миной, с наивными, как у ребенка, круглыми глазами. Он мог бы прожить целый век (прожить беззаботно, сытно) и неизменно быть для всех большим смешным ребенком, над несложной наивностью которого всегда можно весело и безнаказанно пошутить. Он умел так ловко и глубоко скрывать свою тонкую кошачью хитрость, что, пожалуй, временами и сам о ней забывал, и тогда действительно выглядел добрым, безобидным простачком, за которого его все и принимали.

Раиса встретила Мику с большой и, как показалось Лесницкому, искренней радостью.

— Дядюшка Мика! Где это вы запропастились? Идите скорее сюда... Я вас с таким нетерпением ждала, вы даже не представляете.

Дядя Мика поспешно, с торжественным шумом разделся и тут же вкатился в зал веселым, беззаботным колобком.

— Извини меня, пожалуйста, я только на десять... всего на десять минут опоздал... Я был...

Раиса прервала его с шутливой резкостью.

— Стоп! Молчите! Идите сюда, ну! Долго буду я ждать? Нагнитесь... так... так... Вот вам, вот вам, не привыкайте опаздывать. В следующий раз будете знать.

Она, стараясь сохранить серьезный вид, долго трепала его за жидкий хохолок, и ему, бедняге, видно, с большим трудом удавалось выдержать в своих шутливых охах нотку удовольствия. Затем Раиса познакомила дядюшку Мику с Лесницким. Здороваясь, он посмотрел на Лесницкого с нескрываемым побратимским сочувствием, как будто хотел сказать своим взглядом:

«Да, да... Понимаю... Товарищ по несчастью...»

Лесницкому не понравился этот взгляд. И вообще, с приходом дяди Мики в дом завитало что-то из чужого, незнакомого Лесницкому мира, что-то уж слишком легкое, воздушно-пестрое. Ему непонятны были ни шутки дядюшки Мики, ни шумное веселье Раисы — ее отрывистый и короткий смех. Создавалось такое впечатление, будто он с Раисой перешел из одной комнаты в другую и в той, первой, осталась их глу-

бокая близость, остались одни лишь сладостные ощущения. Здесь, в этой шумной комнате, Раиса казалась ему совсем другой.

Чтобы окончательно не испортить себе настроение, Лесницкий вскоре распрощался и ушел. И действительно, не успел он дойти до ближайшего перекрестка, как от этого неприятного чувства не осталось и следа, и в полной мере к нему вернулся прежний восторг. И чем дальше шел, тем шире захлестывала его мозг волна сладостного опьянения, тем сильнее начинало биться сердце, все его существо охватывало какое-то радостное и решительное настроение, подчеркиваемое щемящим сознанием преступности и незаконности этого пылкого счастья. Подобное настроение бывает у ребенка, если он вместо уроков бежит куда-либо на лоно природы и с милой радостью предается любимым развлечениям, решительно махнув рукой и на опостылевшую школу, и на строгого учителя, и на возможное наказание.

Уже у самого дома Лесницкий вдруг вспомнил, что не договорился с Раисой относительно дальнейших встреч. Это его очень расстроило, он долго не мог простить такой промах. Но потом успокоил себя надеждой, что где-то в ближайшее время опять сможет встретить ее на улице.

Все последующие дни Лесницкий жил одними лишь воспоминаниями о приятно проведенном вечере. Где бы ни был — то ли дома, то ли на прогулке или еще где-нибудь, он, замкнувшись в себе, бесконечно перебирал в памяти все мельчайшие подробности той встречи, все слова, которые говорила ему Раиса, все самые тонкие оттенки своих ощущений. И это приносило ему удовлетворение, делало жизнь приятной и радостной. Иногда в его светлое настроение вплетались воспоминания о Мокрине. Он не отмахивался от них, не отгонял прочь, наоборот, старался как можно ярче представить ее образ, проверить свои чувства к ней. Мокрина стояла где-то далеко-далеко — неясная, как в тумане,— и пробуждала в душе едва ощутимую жалость.

Так прошло дня четыре. Потом эти воспоминания постепенно стали блекнуть и исчезать в сознании. Однако на смену им явилось горячее желание повидать Раису. И чем дальше, тем все более настойчиво бередило оно душу, наполняло все его существо неотступно-тревожным ожиданием. Лесницкий стал часто бывать на улице, где она жила, прохаживался мимо ее окон с замирающим сердцем — все ждал встречи... Наконец дошло до того, что непреодолимое желание повидать ее сломило стену деликатности и стыда,— он решил зайти к ней в дом.

Долго, очень долго колебался Лесницкий, прежде чем принял такое решение. Он знал, что может ее не застать на месте, может прийти в неудачное время. Вместе с тем хорошо понимал, насколько это неприлично — заходить в чужую

квартиру без приглашения. Однако так и не смог побороть себя — пошел.

Эта встреча с Раисой принесла ему много неожиданно ярких переживаний, довела до высшего душевного и физического напряжения, окончательно и нерасторжимо привязала его к этой красивой, временами удивительно странной и сумасбродной женщине.

Он направился к ней, как и тогда, в восемь часов вечера. Раиса была дома и, увидев его на пороге, даже обрадовалась. Выглядела она на этот раз совершенно по-другому. На ней было простенькое серое платье, да и сама она казалась такой простой, спокойной, уравновешенной. Ее красота не казалась теперь подчеркнуто яркой и броской, как в первый раз: глаза светились каким-то странным блеском, полным тоски и печали.

Когда Лесницкий зашел в комнату, она с тревожной поспешностью убрала со стола какое-то письмо, спрятала его в маленькую перламутровую коробочку. Затем села на диван, сжалась вся в комок, словно ей было холодно, и заговорила тихим, надтреснутым голосом:

— Сегодня, Василь Данилович, я получила из дому письмо и грустно мне стало. Вспомнилось детство — все еще представляю себя маленькой девочкой — невинной, чистой, как незабудка... И вдруг захотелось быть доброй. Только не знаю, как это сделать. Говорят, любить надо всех, как самое себя, а я себя люблю больше всех... Если б я не любила себя, меня уже не было б на свете... Я давно бы умерла... Вы бы меня, Василь Данилович, пожалели, если б я умерла? Всплакнули б?

— Разве только в слезах проявляются чувства?

— Да, это верно. Слезы часто смывают чувства. Бывает, поплачешь — и сразу становится легче и покойнее на душе.

Она задумалась и какое-то время сидела молча, низко опустив голову. Потом стала вспоминать о прошлом — подробно рассказывать о своем детстве, и ее глаза неожиданно загорелись тихим и ясным светом искреннего восхищения. Во время своего рассказа она вдруг уставилась на Лесницкого, все это время стоявшего в стороне, и сказала:

— Идите сюда, Василь Данилович...

Он подошел.

— Присядьте вот здесь, рядом со мной... Ближе, ближе, не бойтесь, не съем...

Затем она наклонила его голову к себе и стала задумчиво перебирать пальцами волосы. Потом сказала:

— У вас удивительные волосы, очень мягкие, шелковистые... Такие волосы чаще бывают у женщин... Да сидите же вы спокойно, не двигайтесь... Слушайте меня.

И стала дальше рассказывать о своем детстве, продолжая перебирать пальцами его волосы. Говорила минут пять, за-

тем снова умолкла, приподняла его голову и стала осыпать лицо тихими нежными поцелуями. Когда же он со своей стороны решил было проявить активность и тоже поцеловать ее, она больно ударила его по губам.

— Не смейте это делать! Кто вам разрешил? Не будьте грубияном...

Сама же опять его поцеловала и продолжала говорить с тихой улыбкой:

— Вы не такой, как все, Василь Данилович, вы не должны позволять себе грубости. Вы думали: я вас целую, так и вам можно, не так ли? Вы другой, совсем другой... Я не могу понять, Василь Данилович, почему у вас такие мягкие волосы, все равно как у женщины?

Лесницкому становилось до боли обидно от этих слов Раисы. Ее поцелуи не радовали, они лишь сухо обжигали лицо и казались навязчивыми, неприятными. В ушах болезненно застряло это слово — «другой», и с каждым поцелуем Раисы, с каждым ее загадочным и туманным выражением росло это до боли щемящее чувство обиды, как будто переливалась в него вся любовь, до сих пор горевшая в сердце, вся ласка и нежность. Наконец для него уже стала нестерпимой вся эта мука. В резком порыве он вырвался из ее объятий и стал нервно ходить по комнате.

Она удивленно спросила:

— Что с вами, Василь Данилович?

И только сейчас из его груди с надрывом вырвались слова, готовые пролиться слезами:

— Я не хочу, чтобы... «другой»... Я — не «другой»... Вы... так нельзя мучить... ведь это... это же бессердечно так...

Раиса поняла его возмущение и вдруг взорвалась громким и каким-то жестоким, обжигающим душу смехом.

— Вы обиделись, ха-ха-ха! Бедный рыцарь... Действительно, несчастный герой!

Лесницкий остановился перед ней с горячими, воспаленными глазами и с трудом произнес:

— Раиса... Андреевна... Перестаньте смеяться надо мной... Довольно уже...

Раиса сразу стала серьезной, глаза ее засветились каким-то другим, незнакомым Лесницкому блеском — страшным, грозным. Она быстро встала с дивана, сняла со стены плеть и протянула ему.

— Я виновата, я — плохая... Побейте меня, Василь Данилович! Ну что же вы... бейте меня... скорее... слышите? Почему стоите? Я хочу, я прошу вас... возьмите эту плеть и побейте меня. Я жду этого!..

Лесницкий с растерянным видом смотрел на нее и не знал, как дальше вести себя, что делать. А она все больше и больше распалялась, поблескивая глазами, и говорила с какой-то болезненной поспешностью:

— Вы не хотите? Да? Боитесь? Конечно же, я понимаю... Вам страшно... Ха-ха-ха... Мужчина, называется! Ведь страшно, не так ли? Страшно? Ну так вот вам... ха-ха-ха!.. Вот, вот...

И она несколько раз изо всей силы ударила его плетью и засмеялась странным каким-то, злорадным смехом...

У Лесницкого потемнело в глазах. Забыв обо всем на свете, снедаемый гневом, он инстинктивно бросился было на Раису, схватил ее за руку и... увидел гордо-приветливую милую улыбку, полную глубокого, неодолимого искушения. И ему, мгновенно обезоруженному, ничего больше не оставалось, как поцеловать маленькую белую руку, все еще сжимавшую плеть. Раиса тогда близко, совсем близко наклонилась к нему и почти шепотом заговорила, живо поблескивая лучисто-зеленоватыми глазами:

— Помните уговор? Вы сказали, что полюбите... Я хочу, чтобы вы полюбили... Василь Данилович, я очень страшная, коварная женщина... Я могу погубить... Хотите, я погублю вас, хотите? Я погублю вас своей любовью... Вы боитесь? Да? О, какой вы трус, Василь Данилович... Хотите — я вам отдамся? Я принесу вам полное наслаждение и этим погублю... Василь Данилович... Вася, милый мой... вот хоть сейчас... здесь... я сама... я готова раздеться... показать вам тело свое... Вы такого не видели... У меня прекрасное, красивое тело... Вася, Васенька... хочешь, я буду твоей... Но ты тогда погибнешь. Давай вместе... в любви, в счастье... Любимый... другой... Ты — другой, не такой, как все... Мучитель мой, радость моя...

Она плотно прижалась к нему, обдавая его лицо горячим дыханием, разжигая его кровь теплом своей близости. В голове у него зашумело, перед глазами поплыл густой серый туман, сквозь который лишь светились зеленоватым русалочьим блеском возбужденные глаза и мерещились стройные формы прекрасного молодого тела.

Дрожащими руками он обнял ее, приподнял, как ребенка, крепко, изо всех сил, прижал к себе и стал осыпать ее пылавшее лицо страстными поцелуями. Раиса затрепетала всем телом, словно ее охватил нечеловеческий ужас, резко вырвалась из его объятий и, упав лицом на диван, зарыдала. В ее страшных рыданиях было мучительное отчаяние человека, потерявшего все самое дорогое в жизни...

Лесницкий тут же забыл и о своей обиде, и о своих, как буря, нахлынувших чувствах. Он видел перед собою лишь безмерные муки человека, который в эту минуту стал для него самым дорогим существом на свете. Он и сам страдал и готов был сделать все возможное, только бы вернуть ей прежний покой. Полный нежности, он склонился перед ней и стал ласково, с большим душевным теплом гладить ее волосы и утешать наивно-милыми словами:

— Раиса... славная моя... не надо плакать, успокойся — это очень нехорошо... Я очень жалею тебя... Мне можно тебя пожалеть? Наверное, ты обиделась на меня? Я больше не буду... ничего не буду... Я только хочу любить тебя, ты разрешишь любить тебя, а? Я буду тебя так любить, как ты — помнишь? — говорила там, в купальскую ночь... Ну, не плачь, славная... хорошая моя...

Раиса, не отрывая от подушки лица, обняла одной рукой его голову и зашептала сквозь слезы:

— Я шутила... Я никому не отдамся... я не могу отдаться... Вы не подумайте, что я могла... так, запросто... Я только шутила, Василь Данилович... Я не буду вас любить, я не могу вас любить... И вы тоже не любите — не надо... Я только мучить вас буду... я не хочу... и не погублю вас... зачем это?..

В тот вечер она долго не отпускала Лесницкого домой. Сидя рядом с ним на диване, испуганно жалась к нему и говорила, что чего-то боится, что ее все время преследует какой-то ужас.

— У меня это часто бывает... Много думаю, мечтаю, а потом неизвестно что начинает казаться. У меня тяжелая жизнь, Василь Данилович... Я так много думаю, я так страдаю... Кажется, умерла бы... если б могла...

Он не стал расспрашивать о причине ее горя, знал, все равно не откроет душу. Поэтому постепенно стал свыкаться с мыслью, что у нее есть какая-то своя, глубокая тайна, которую она ни за что не выдаст, и что эта тайна ужасно терзает ее сердце. И он с молчаливой покорностью терпел, когда видел ее душевные страдания, и, как мог, старался утешить.

Где-то около полуночи Раиса тихо уснула у него на руках. С полчаса он сидел не шелохнувшись, испытывая чувство необыкновенного счастья. С нежной улыбкой заглядывал в ее целомудренно-чистое, как у ребенка, лицо и, казалось, не дышал — боялся нарушить этот очаровательный покой.

Потом она проснулась, удивленно посмотрела на него и, все поняв, с чувством большой благодарности тихо произнесла:

— Теперь идите домой... Мне уже лучше, я должна лечь и немного отдохнуть.

Перед тем как уйти, Лесницкий с серьезным видом обратился к ней:

— Раиса Андреевна! Обещайте мне, что, если вам когда-либо понадобится помощь постороннего человека, в первую очередь вы обратитесь ко мне.

Она сонно улыбнулась.

— Хорошо, Василь Данилович, обещаю...

Тяжелые грозовые тучи с каждой минутой становились темнее, они нависали над самой головой и, казалось, своей

угрожающе-хмурой тенью готовы были придавить все живое на земле. Росла в душе тревога, она невольно выливалась в настойчивое предчувствие, в убежденность, что уже надвигается и вот-вот загремит-загуляет дикая неукротимая буря.

Вокруг уже бушевало злое море, уже носились вдоль и поперек порывистые крутые волны, уже высоко, к самому небу, взлетали шальные, неистовые брызги безудержного возмущения. И на этих диких, яростных волнах, в тени этих грозных туч беспомощно болтался утлый челн буржуазно-демократического строя; захваченный ураганом, он вот-вот готов был перевернуться вверх дном и исчезнуть в пучине разбушевавшейся стихии.

Тревожные призраки, вопреки воле обезумевшей шайки вольных или невольных прихвостней буржуазии, с каждым днем обретали все более четкие и ясные формы, и уже минорно-торжественные песни о безотчетной анархии, о демагогической работе небольшой группы кайзеровских наемников, присланных для того, чтобы разжечь кровожадные инстинкты в темных массах и этим загубить силу «великой России»,— все эти песни окончательно потеряли свою убежденность и звучали теперь, как последние вздохи охваченного предсмертной агонией зверя. Тревожные призраки вставали перед прогнившим строем растерянной буржуазии грозным величием в виде возмущенных масс трудящихся, настойчивых, все более и более организованных требований мира, земли, заводов и фабрик — всего того, что несло рабочему и крестьянину подлинную свободу, что выводило их на прямую дорогу к новой лучшей жизни.

В это время с необычайной быстротой ширилось влияние на массы партии большевиков, которая открыто говорила трудящимся о существе и подлинных намерениях правительства Керенского, которая настойчиво вела их к вооруженному захвату власти. За большевиками дружными колоннами шли рабочие, активно поддерживавшие свои боевые Советы. За большевиками шли на тысячи верст разбросанной сермяжной массой крестьяне, осветившие безбрежные просторы «Российской империи» огнем пожаров, покрывшие громовыми раскатами стихийно-могущественного разрушения бастионы старого мира.

В страшной тревоге, в глухих и гневных раскатах грома приближался судный день, нарастал буйный вихрь великого народного бунта, разгорался невиданный в мире пожар.

Настойчиво, упорно приближалось неминуемое, грозное...

А в городе, где Лесницкому пришлось коротать эти дни, чувствовался все тот же мелко-суматошный застой, установившийся с тех пор, как покончили с Корниловым. Возможно, тайно еще кто-нибудь и действовал, возможно, молча готовились взаимно-враждебные силы, включившиеся позже

в борьбу, но внешне все оставалось по-прежнему. Ставка блистала штаб-офицерами, парадами, разными приездами, отъездами, мизерные отростки несчетных партий устраивали митинги и бесконечно спорили между собой, готовились к выборам в учредительный сейм и все вместе ругали большевиков, кричали об угрозе черной анархии, об опасности для революции; частные лица ругали как большевиков, так и тех, кто ругал большевиков, а пуще всего — ярмарочных крестьян, нагло вымогавших за свои продукты баснословные деньги.

И вот наконец ударил гром — и по всей необъятной стране полетели грозные его отголоски.

В тот вечер Лесницкий был дома. Он вслух читал какую-то книжку. Нина слушала и шила, а Халима как обычно курил, лежа на кровати, и то ли ворчал себе под нос, то ли тихо напевал. И вдруг — стук в дверь. В комнату вваливается торжественно-серьезный Андрей и заявляет приглушенным от волнения голосом:

— Началось... Есть телеграмма из Петрограда, что рабочие и солдаты подняли вооруженное восстание и захватили власть.

Все сразу притихли в каком-то напряженном молчании. А Андрей торжественно чеканил каждое слово:

— На улицах Петрограда идут бои, которыми руководит военно-революционный комитет... На сторону рабочих переходят все новые воинские части. Министры Временного правительства арестованы...

Потом он как бы сбросил торжественно-серьезную маску и глянул на всех с ясной открытой радостью.

— Слышали, а?.. Понимаете, что это значит? Халима, давай-ка свою лапу, черт лысый... Это же, ребята, наше пошло. Это пожар, Василь, понимаешь? Вот и подошло оно, началось то страшное, неминуемое, о чем — помнишь? — мы с тобой говорили...

Халима вдруг встал — сердитый, хмурый — и изо всей силы ударил кулаком по столу.

— Пошли!

Нина не то с тревогой, не то с интересом уставилась на него.

— Куда?

— Все равно... Пойдем, Андрей... Василь, пошли...

Андрей с ласковой улыбкой задержал его.

— Погоди... сейчас пойдем все вместе на митинг — наши сегодня устраивают. Гольдин доклад будет делать... Но у нас есть еще немного времени, давайте чай организуем, что ли?

Чай готовили всей компанией, чтобы не опоздать, и все ужасно мешали Нине. Пили тоже впопыхах — только бы отбыть свое,— и, быстро собравшись, поспешили в город.

Митинг предполагалось провести где-то на окраине города — то ли в рабочем, то ли в солдатском клубе, в приземи-

стом, длинном и мрачном здании, освещенном почему-то не электричеством, а газовыми лампами, которые бросали вокруг бледно-желтый трепетный свет и придавали помещению монастырско-унылый вид.

Народу на митинг пришло много — здание оказалось битком набитым. В большинстве своем это были солдаты и рабочие. Уже все знали про события в Петрограде, они заметно всех активизировали. В помещении стоял напряженный гул,— каждый старался поделиться с соседом своими сокровенными мыслями.

Докладчик Гольдин оказался тем самым худощавым парнем, который часто навещал Андрея во время корниловского восстания. Его голос удивительно соответствовал его внешности. Гольдин был сдержанным, тихим, глубоко сосредоточенным молодым человеком, полным какой-то особой, глубокой убежденности. Такой голос нельзя было не слушать — он сам по себе, даже вопреки желанию, доходил до сознания, заставлял мыслить, рассуждать.

Слушали Гольдина внимательно, несмотря на то, что в зале находилось немало его противников, которые время от времени отзывались из публики громкими и беспорядочными выкриками. Как ни странно, но эти выкрики не сопровождались обычным в таких случаях шумом, казалось, так и должно было быть, казалось, эти выкрики были частью самого доклада. Гольдин говорил о петроградских событиях и все свое внимание сосредоточил на том, чтобы доказать их историческую неизбежность и целесообразность, на глубокую связь с самыми широкими интересами рабочих и крестьян. В его речи было мало агитации — больше серьезных и трезвых рассуждений. Лесницкий с большим интересом прослушал доклад. Речь Гольдина многое прояснила в той страшной путанице, которой до этого времени все еще была забита его голова. Да и на остальных присутствующих доклад, как видно, произвел большое впечатление. Только в самом конце, когда оратор попытался придать своему голосу патетическую приподнятость — получилось это далеко не лучшим образом,— общее впечатление от его выступления несколько снизилось.

После доклада развернулись обычные партийные прения, которые стали уже традицией и порядком надоели Лесницкому. Он послушал еще, как в числе других ораторов говорил Андрей, со спокойной уверенностью чеканя каждое свое слово, как гремел нескладным перебором слов его хороший знакомый — розовощекий рабочий в потертой тужурке,— потом незаметно покинул помещение и побрел домой.

У него остался от этого вечера какой-то странный осадок на душе. Шагая по улице, он думал с легким, даже чуть радостным удивлением:

«Ну вот... И началось, пришло то, что так волновало и тре-

вожило. Где же оно? Как его увидеть? В чем его ужас, страх?..»

А на следующий день это недоумение укрепилось в нем еще больше. Утром он вышел из дому с твердой надеждой увидеть на улицах и площадях что-то новое, тревожное, уловить всеобщее возбуждение, вызванное вчерашними сообщениями, а оказалось, что вокруг лежал тот же самый застойный, со своей обычной мелочной суетой город — и никаких признаков, что произошло важное событие в жизни народа. Местные газеты в тот же день отметили важное восстание в Петрограде без особого шума, отметили. как очередную выходку большевиков, которая «угрожает свободе и революции» и которую «необходимо ликвидировать совместными усилиями всей страны». А вечером пришли новые вести — они свидетельствовали об очередных победах восставшего Петрограда, о расширении восстания, о вовлечении в него новых рабочих масс и новых воинских частей.

С того дня местные руководители общественного настроения включились в забавную, но мало поучительную игру, которая продолжалась более трех недель и которую потом вели на протяжении нескольких лет все темные силы, боровшиеся против Советов. Игра эта заключалась в том, что каждый день для успокоения «честной публики» устанавливалась нерушимая граница «большевистской авантюры» и говорилось приблизительно так:

«Преданные Временному правительству воинские части во главе с Керенским подходят к Петрограду, чтобы окончательно расправиться с бунтовщиками. Дни большевистского господства сочтены. Эта авантюра явится хорошей наукой всем, кто поддерживает темные силы, подрывающие единство и согласие в стране».

А еще через день приходили вести об окончательной победе большевиков над Керенским. Тогда ловкие прорицатели воздвигали новую границу, говорили или писали:

«Восстание, безусловно, нигде больше не достигнет таких случайных успехов, каких оно достигло в Петрограде...»

Однако с методической последовательностью телеграф передавал все новые и новые известия о победах Советов в Москве и других городах.

Тем временем пожар разрастался, перекидывался от центра на периферию, шел все дальше и дальше, захватывая новые точки на карте. И, несмотря на такую игру в успокоение, по городу поползли тревожные слухи, зашевелилось обычно инертное мещанство. Особенно стало тревожно, когда заговорили о возможном приезде в город большевистских войск для захвата ставки, о том, что и сюда может докатиться разбушевавшаяся волна и принести на своем гребне новые порядки и новый строй.

В эту пору Лесницкий почти ежедневно наведывался к

Раисе. Он регулярно приносил ей последние известия, которые обычно удавалось собрать в городе. Она слушала их с напряженным вниманием, а потом долго расспрашивала, что все это значит, чего можно еще ждать, какая и кого подстерегает опасность во всех этих событиях. Он, как умел, объяснял ей.

С каждым днем Раису охватывала все большая и большая тревога. После того как она прослышала о новых земельных порядках, о большевистском декрете, о волнениях среди крестьян, которые все чаще и чаще громили помещичьи усадьбы,— у нее в душе почему-то укрепилась твердая уверенность, что и в деревне должно произойти что-то страшное, что над отцом тоже нависла угроза. Ее опасения особенно усилились после того, как из дому перестали приходить письма. Это ее беспокоило больше всего. И напрасно Лесницкий пытался объяснить это вполне естественной для такого времени нечеткой работой почты,— она и слушать не хотела.

Как-то раз Лесницкий застал Раису особенно встревоженной, заплаканной. Увидев его в дверях, она быстро встала ему навстречу и сразу же заговорила дрожащим от слез голосом:

— Василь Данилович! Я не могу больше... Я поеду туда... Я завтра же еду... Вы говорили как-то — помните? — чтобы я обратилась к вам, если мне понадобится помощь... Вот я и прошу вас сейчас... Да нет, Василь Данилович, я шучу... я не потому, что вы сказали, а просто так... Поедемте со мной... Мне одной страшно... Только не отговаривайте бога ради, я все равно поеду, даже одна... Больше не могу...

Лесницкий не стал ее задерживать и сразу согласился сопровождать в пути.

На следующий день он рассчитался со службой (в отпуске ему отказали), а Андрею сказал, что получил из деревни письмо — просят как можно скорее приехать.

Они уехали домой в тот день, когда город заняли войска первого пролетарского главковерха — прапорщика Крыленко. Он приехал, чтобы решительно рассечь узел контрреволюционных настроений и действий, центром которых была ставка.

Город встретил приход этой новой фатально-напорной силы суматошливо-тревожным волнением и недоверием. Холодным стремительным ветром пронеслась по городским улицам весть:

— Матросы! Матросы приехали! Большевики! Страшные, злые... Полон город, деваться некуда...

Некоторые с ужасом разбегались по домам, чтобы спрятаться в своих безопасных норах; те же, кто был посмелее, бежали на центральную улицу поглазеть на матросов и большевиков, о которых ходили такие страшные рассказы.

По мостовой шли колонны лихих моряков — все, как один, высокие, стройные, полные веры в свою коллективно-дружную силу. От них действительно веяло грозой — в объединенной солдатской массе чувствовалась бескомпромиссность восстания, смелое и решительное покушение на все привычные для людей условности, на все антинародные законы — такие ненужные во время кровавой борьбы за жизнь.

Лесницкий с Раисой к вечеру приехали на станцию. Как только они вошли в помещение вокзала, их страшно удивило, что в зале ожидания было совсем немного пассажиров, что нигде не было видно серых людских толп, которые обычно заполняют железнодорожные вокзалы. Они позже поняли причину этого, став свидетелями кровавой сцены, разыгравшейся на перроне.

Лесницкий спросил у первого встречного железнодорожника, когда будет пассажирский поезд. Тот в ответ лишь безнадежно махнул рукой.

— Кто знает!.. Теперь на пассажирских не ездят. Поищите лучше какой-нибудь попутный эшелон.

Лесницкий удивленно посмотрел на него.

— Так ведь совсем мало пассажиров!

— Мало? А вы посмотрите, что творится на перроне.

И тут до ушей Лесницкого долетел приглушенный гул огромной толпы. Он предложил Раисе выйти посмотреть, что там происходит. Она молча согласилась.

И вот оба окунулись в клокочущий водоворот человеческих тел, над которым бились возбужденные, отчаянные голоса людей, сдобренные злой, соленой бранью. На перроне было море шинелей, тулупов, армяков — всего того, во что одевалась в то время обычная транзитная публика. И среди этой мешанины необычайно смело, решительно и важно плавали хорошо заметные издали матросские бескозырки.

Лица у большинства людей отражали упрямое, капризное раздражение, с шумом выливавшееся в задорно-крикливый говор, в напряженную суету. Только некоторые шныряли среди толпы из праздного любопытства, внимательно прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг, и надеясь дождаться какого-то необыкновенного и эффектного зрелища.

Лесницкий оставил Раису в укромном, относительно спокойном месте неподалеку от входной двери в станционное здание, а сам решил пройти вперед, чтобы своими глазами увидеть все происходящее. Раиса с нескрываемой тревогой схватила было его за руку, пытаясь задержать, но тут же отпустила и улыбнулась.

— Что это я... Ведь мы не в лесу...

Лесницкого сразу подхватила стремительная людская лавина, и он вынужден был покорно отдаться на ее волю. Через минуту он уже оказался у одного из вагонов какого-то поезда. Возле входа в вагон толпилась группа матросов,

окруженная и сжатая со всех сторон бурлящей массой. Лесницкий прислушался к неразберихе голосов, крику, ругани и, наконец, ему с большим трудом удалось понять, что в этом вагоне находится генерал Духонин и что разбушевавшаяся толпа требует его расстрела. Только тогда до сознания Лесницкого дошел весь смысл происходящего на перроне. Он теперь стал различать отдельные выкрики, отдельные голоса. Большая часть собравшихся лишь бросала короткие, бессвязные угрозы вперемешку с непристойными ругательствами; другие же кричали с пониманием обстановки — эти воодушевляли толпу, всячески настраивали ее на решительные действия.

— Корнилов сбежал, может и этот сбежать, мы уже знаем и не допустим!

— Надо показать ему, как становиться поперек дороги нашему брату!

— Разжирел на нашей трудовой крови — буржуазея проклятая!..

— Тащи сюда! Расстрелять его на этом месте, чтобы все видели собачью смерть!

— Бери его ребята, нечего долго думать!

Матросы, охранявшие вагон, с трудом сдерживали напор исступленной массы. В невообразимом шуме бессильно тонули их отчаянные голоса:

— Товарищи... Крыленко... нельзя... Погодите... Он должен приехать...

Потом на площадке вагона появился молодой, стройный мужчина в форме морского офицера. Он сделал было попытку что-то сказать, но на третьем или четвертом слове его голос захлестнул еще больший взрыв негодования. Тогда вместо него явился другой — в форме армейского прапорщика, и неистовый гомон сразу же утих, уступив место почтительному шепоту.

— Крыленко... Крыленко... Тихо!

Крыленко говорил медленно, не спеша, четко выговаривая каждое слово,— и при всей нервной возбужденности толпы его до конца выслушали с большим вниманием. Он говорил, что Духонина отвезут в Петроград, что он не допустит позорного самосуда, что только силой они смогут прорваться к Духонину.

Немного успокоенная толпа потребовала тогда, чтобы ей показали Духонина.

И вот он появился рядом с Крыленко — весь красный, потный, с диким испугом в глазах. Генерал хотел что-то сказать и уже начал было дрожащим голосом:

— Дорогие товарищи!..

Но его слова мгновенно поглотил мощный взрыв возмущения, хохота, свиста, и Духонин быстро исчез в глубине вагона, словно бы втянутый чьей-то сильной рукой.

Народ начал расходиться. Затихали возмущенные голоса, с разных сторон уже слышался веселый смех. И вот неожиданно на площадку вагона вскочил высокий, богатырского сложения матрос и стал возбужденным, немного осипшим голосом снова разжигать уже остывавшие людские страсти. С каждым его словом опять закипала, поднималась буря. Толпа с прежней решимостью и озлоблением хлынула к вагону. Опять все смешалось в диком крике и ожесточении. Потребовали вторично Духонина. Генерал вышел на площадку. И вот тут произошла кровавая драма. Как только люди увидели перед собой побледневшее, испуганное лицо Духонина, в их сердцах вдруг родилось что-то необычайно острое, едкое и стало быстро-быстро расти, завертелось в страшном вихре и объединило всю толпу в едином огненно-стремительном порыве.

Первый удар матроса послужил сигналом. Казалось, все напряженно ждали этого первого удара и все были рады ему. У входа в вагон взвился резкий, пронзительный крик, и в воздух тяжелым мешком полетело скрюченное тело генерала. Люди бросились к нему,— и все мгновенно смешалось в огромном клубке ненависти и возмущения.

Была минута, когда под напором задних рядов толпа несколько раз перекатывалась через то страшное место, и тогда неизвестно было, где лежит тело ненавистного генерала,— люди перебегали через него и, спотыкаясь, пачкали ноги в свежую кровь.

Потом матросы, охранявшие поезд, разогнали народ, накрыли полотном труп и, положив на носилки, куда-то унесли.

Лесницкому показалось, что в этот момент над перроном пронесся глубокий вздох облегчения. Его охватил необъяснимый страх, по спине пробежали мурашки, словно бы он физически почувствовал леденящее дыхание смерти. Затем туманно всплыло в памяти, что в решительную минуту у него у самого судорожно сжались было кулаки, и он вместе с остальными метнулся было вперед, готовый вцепиться в безжизненное тело. И еще яркой молнией мелькнула мысль, что в тот безумный, радостно-кровожадный крик влился неистовым визгом и его собственный голос.

Покидая кровавое место, он не мог смотреть в глаза встречным,— ему казалось, что на их лицах все еще гримаса ненависти, что люди еще чего-то ждут и на устах у каждого молчаливый вопрос:

— Кто следующий?

И не поверил бы, что это правда, если б случайно не наткнулся на какого-то приятного с виду бородатого крестьянина, который совсем по-домашнему вытирал о полу испачканные в кровь руки и виновато улыбался еще белыми от волнения губами.

— Так ему и надо, сволочи... Вот буржуйская морда... Еще и объясняется...

Раиса ждала Лесницкого на том же месте. Она была бледная, встревоженная. Увидев Лесницкого, бросилась ему навстречу, спросила:

— Василь Данилович! Что там происходило? Кого это несли здесь, накрытого брезентом?

— Только что возбужденная толпа расправилась с генералом Духониным.

И вдруг с ужасом заметил, что губы у Раисы вздрогнули, глаза часто-часто заморгали и стали влажными от слез. Она не выдержала большого нервного напряжения и судорожно зарыдала. В тот же миг совсем рядом послышался угрожающе-насмешливый голос:

— Ишь ты, пожалела... Сразу видно — панская кость...

Лесницкого охватил животный страх. Он изо всех сил сжал руку Раисы, прошептал:

— Молчите!

И поспешно увел ее в сторону, где было меньше народа. Она до крови прикусила губу, чтобы сдержать слезы, и только изредка всхлипывала.

Лесницкий все так же серьезно и строго обратился к ней:

— Теперь одно из двух выбирайте... Или вы немедленно вернетесь в город, или вынуждены будете искать эшелон и ехать вместе с солдатами.

Раиса решительно ответила:

— Я не вернусь в город!

Тогда они пошли по путям и с полчаса искали, пока не наткнулись на эшелон, который скоро должен был отправиться в их сторону. Они подошли к товарному вагону, в котором — это увидели в приоткрытую дверь — оставалось еще немало свободных мест. Лесницкий заглянул внутрь и обратился к сидевшим у самой двери:

— Нельзя ли нам поехать с вами?

Один пожилой солдат нравоучительно-серьезным тоном ответил:

— Зачем спрашиваешь? Видишь — есть свободные места, значит, можно. Это тебе не раньше: сюда — можно, а туда — нельзя.

В это время к вагону подбежал молодой юркий солдатик и фамильярно закричал:

— Давай, давай к нам, молодушка! Любушка, голубушка. До чего же милая, до чего красивая!..

Раиса испуганно ухватилась за руку Лесницкого. Однако рассуждать долго не приходилось, никто не знал, когда отправится поезд. Он помог ей, дрожащей от ужаса, забраться в вагон, за ней сам вскочил, и они заняли в углу тихое и укромное местечко.

Солдаты поглядывали на Раису с открытым умилением

и время от времени бросали не совсем пристойные шуточки. Затем один из солдат подсел к Лесницкому и фамильярно хлопнул его по плечу.

— Что, землячок, жену везешь?

У Лесницкого мелькнула счастливая мысль, и он с приветливой искренностью ответил:

— Да... Приезжала навестить, немного вот погостила... А сейчас я взял небольшой отпуск, родных решили проведать...

— Смотри ты... В армии женился?

— Недавно совсем... До этого в Смоленске стояли, там и женился. Так-то оно вышло... Сегодня женился, а через три дня выступать... Даже не было время посмотреть друг на друга...

— Что и говорить, доля наша такая солдатская... У каждого так...

И вот под влиянием наивно-искреннего тона этого на ходу придуманного рассказа все, кто находился в вагоне, прониклись каким-то особым сочувствием к Лесницкому и смотрели уже на него и на Раису с товарищеским участием. Потом стали рассказывать друг другу о своих семейных делах. Дошло до того, что когда один из солдат позволил себе острое словцо, все дружно цыкнули на него:

— Тише! Не видишь — женщина сидит.

Лесницкому стало легче на душе. Успокоившись, он сам себе думал:

«Это же надо встретить таких добрых и славных ребят...»

Даже совестно стало, что обманул их доверие и, солгав, добился такого теплого расположения.

Поезд тронулся поздним вечером. Солдаты плотно прикрыли дверь, и в вагоне сразу воцарился глухой мрак. Слышно было, как ритмично постукивали колеса на стыках рельсов и тихо разговаривали сближенные дорогою люди. И поплыло тогда в ровном покачивании что-то спокойно-безбрежное, открывая человеческие сердца для ласки и тепла.

Раиса примостилась, как кошка, на руках у Лесницкого и так плотно прижалась к нему, что он хорошо чувствовал мягкое, приятное тепло ее тела. Она тихо шептала ему:

— Обними меня крепче, мне очень холодно... Согрей меня... Вася...

А ему хотелось, чтобы на их пути нигде не было остановок, чтобы можно было ехать так бесконечно и всегда держать в руках свое драгоценное сокровище, свое счастье. Проникнутый глубокой нежностью, он шептал ей на ухо:

— Ты — жена моя... ты — дорогая, любимая женушка... Я тебя никому не отдам, всю жизнь буду держать вот так... буду крепко-крепко обнимать... вот так, вот так...

На узловой станции, где им предстояла пересадка, пришлось ждать до самого утра. Раиса пошла в женскую комна-

ту — единственный пункт, где еще можно было отыскать свободное место, а Лесницкий стал бесцельно прохаживаться по огромному мрачному помещению вокзала, толкаться среди толп пассажиров, дожидавшихся попутных поездов. И чем больше он ходил, тем внимательней прислушивался к нервно-возбужденным людским разговорам, тем глубже проникался каким-то новым, еще не совсем ясным чувством, связанным с желанием уехать куда-то далеко-далеко, с желанием послушать шум родных просторов — широких и безбрежных. Его постепенно захватывало общее настроение, которым жила вся эта серая людская масса. Внутри у него начинала расти необыкновенная легкость и вольготность, характеризующая психологию и дух восстания и вырастающая из протеста против всего, что угнетало до сих пор и лишало свободы. Когда он слушал, как на стихийных, тут же в помещении вокзала или на перроне организованных митингах с радостно-торжественным запинанием (потому что не умели) произносили солдаты свои немудреные речи, в которых с особым умилением назывались понятные и близкие слова «мир», «земля», «свобода»,— у него сжималось все внутри и хотелось самому говорить, хотелось совершить что-то, куда-то пойти с горящими глазами.

Но вот рождалась мрачная, обидная мысль, что он не может, не умеет быть вместе со всеми, что он почему-то оказался в стороне, что не приглашен на этот огромный и людный бал, даже не понимает его исторической сущности и справедливости. Вместе с этой мыслью в сознании возникало родное село, мелькала черная враждебность, тупое непонимание, жестоко застрявшее между ним и односельчанами. И было тогда очень неловко, хотелось спрятаться куда-либо, убежать от самого себя.

В одном из углов вокзала он увидел идиллически-смешную картину. На большом ящике сидели рядом офицер и солдат — оба пьяные. Офицер обнимал солдата и все объяснял, что сейчас они равные, любят друг друга и так далее. А солдат в это время задумчиво опустил голову и тихо напевал тонким, но полным рьяной игривости голосом:

По...те...ряла я колечко-о-о,
По...те...ряла я любо-овь —
Я любовь.
Наверно,
По...те...ряла я любовь...
И...з-за этого колечка-а-а
Буду плакать день и но-очь —
День и ночь.
Наверно,
Бу...ду плакать день и но-очь...

Лесницкий подошел к ним и спросил:

— Что, веселимся?

Солдат и не повернулся — продолжал напевать свою песню. Офицер же охотно отозвался, вступил в разговор с ним — благо нашел собеседника. И Лесницкий целый час просидел с офицером, довольный, что хоть с пьяным сумел найти что-то общее, что хоть с его помощью приблизится к этому удивительно-смелому потрясению.

Чем ближе подходили они к деревне (со станции шли пешком — не нашли подводы), тем мрачнее становилось настроение у Раисы. Она все больше замыкалась в себе. И опять казалась чужой и далекой — с глубоко скрытыми своими мыслями, с наглухо закрытым для Лесницкого миром своих чувств и переживаний. Лесницкий изо всех сил пытался сохранить тепло недавней близости — много говорил, всячески старался придать своему голосу дружескую простоту и фамильярность, выбирал наиболее ласковые слова, полагая с их помощью устранить неожиданно образовавшуюся щель холодной отчужденности. Говорил до тех пор, пока не стал замечать, что слова его, как искры, гаснут в какой-то глухой пустоте, что на ее лицо ложится тень досадливой опустошенности. Увидел все это и замолчал, с отчаянием продолжая поглядывать на нее, холодную и чужую.

Когда переезжали через Днепр (река была неспокойная, ветер гнал крупную волну и дико завывал в прибрежном голом кустарнике), Раиса спросила:

— Василий Данилович! Вам не повредит эта поездка по службе или еще как-нибудь?

Он не сказал ей правду и заверил, что ничем не повредит.

— Я так вам признательна, Василь Данилович. Не представляю, что бы делала, если б не вы...

У Лесницкого в сознании в ту же минуту мелькнула резкая, грубая мысль:

— Что это? Расквитаться желает?..

Отец Раисы после пожара остался жить в деревне, в поповском доме. Чтобы попасть туда, надо было пройти почти через всю деревню. Лесницкий видел, как в окна высовывались любопытные детские лица, как вслед за ними начинали глазеть взрослые — все проводили их удивленно-насмешливыми взглядами. Лесницкий почти физически ощущал неприятно-колючее прикосновение этих взглядов, и в душе его рождалось едкое чувство не то стыда, не то отчаяния, от которого хотелось бежать, скрыться от людей и от самого себя.

Раиса попросила Лесницкого зайти к ним в дом на минуту-другую.

— Папа ужасно испугается, когда увидит меня одну... Вы

поможете мне убедить его, что ничего не случилось, что я ничем не рисковала, отправляясь одна в дальнюю дорогу. Обещаете это сделать?

Пожалуй, это был первый случай, когда Лесницкий с большой неохотой выполнял просьбу Раисы — уж очень не хотелось ему встречаться со старым паном.

Пан уже, видно, давно встал. Он встретил дочь с испуганно-суетливой радостью, по-старчески одновременно смеялся и плакал, даже чуть шепелявил от большого волнения.

— Боже мой! Как же это ты? Доченька моя дорогая... В такое время... одна... как же так?

Раиса нетерпеливо принимала слезные ласки отца и старалась его успокоить.

— Я не одна, папа, я с Василем Даниловичем... И ничего страшного нету... Честное слово, папочка, все обошлось хорошо... То же самое может тебе сказать и Василь Данилович...

Пан только сейчас увидел Лесницкого. Он внимательно посмотрел на него и улыбнулся.

— А-а-а... молодой человек... Если не ошибаюсь, я уже где-то встречался с вами... Да-да, вспоминаю... От души вам спасибо... От души спасибо... Ведь в такое неспокойное время все может случиться в дороге, не так ли? Так, говорите, все хорошо обошлось, доехали спокойно?.. Садитесь, пожалуйста!

Лесницкий для приличия что-то ответил старику, но присесть не захотел, сказал, что сейчас же уходит домой. В это время Раиса спросила:

— А где Карл Иванович?

Пан тяжело вздохнул и, низко опустив голову, безнадежно махнул рукой.

— Забрали Карла Ивановича, арестовали... Какая-то ужасная неразбериха пошла здесь у нас. Каждый делает, что хочет... Никто никого не боится, полное своеволие повсюду... Уже и землю нашу забрали, сейчас лес раздают, кому хотят... Кругом творится страшная анархия...

Раиса прервала его:

— Давно арестовали?

— Уже три дня.

— Ему ничего не угрожает?

— Кто знает, детка... Сейчас все в их руках. Все, что захотят, сделают...

Раиса повернулась к Лесницкому и, застенчиво улыбнувшись, сказала:

— Василь Данилович! Извините, что я так часто пользуюсь данным мне правом... Но дело в том, что мне не к кому больше обратиться. Вы здесь всех знаете, они тоже вас хорошо знают. Поэтому я об одном прошу вас: точно узнайте, что здесь произошло и что можно сделать, чтобы помочь ему.

Лесницкий согласился. Он только спросил, кто в деревне

этими делами руководит, и оказалось, что все осуществляет комитет во главе с Рыгором.

— Я сейчас же пойду и обо всем узнаю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы как можно скорее исправить это недоразумение.

И он ушел, немного удивленный тем спокойствием, с каким Раиса встретила известие об аресте своего родного дядюшки.

Рыгор встретил Лесницкого с холодной и злой улыбкой, ехидно спросил, не глядя ему в глаза:

— Что, барышню из города привез?

Лесницкий не ожидал такого вопроса, соврал:

— Встретились на станции, вместе и пришли. Послушай, Рыгор, ты не знаешь, что здесь случилось с Карлом, за что его арестовали?

— Если арестовали, значит, знали за что... У некоторых вовсе не спрашивали...

Лесницкий вскипел:

— Я считаю, каждый гражданин может знать, что делают представители всей общины.

Рыгор вроде бы смягчился.

— Спроси в волости, что ты у нас спрашиваешь...

— Разве он в волости?

— Да, уже там. Еще вчера его отправили в распоряжение волости.

И Рыгор проводил Лесницкого той же холодной и едкой улыбкой, какой и встретил. Только теперь уже не отворачивался в сторону, а уставился прямо на него, сверкая злыми глазами.

Лесницкого охватила упрямая решимость. Вначале он было решил пойти домой и запрячь коня, но потом передумал. «Дома наверняка могут задержать».

И тут же, не заходя домой, быстрым шагом направился в волость.

В волости его долго рассматривали с пристальным вниманием, подозрительно шептались, потом потребовали, чтобы он показал свои документы, и, наконец, дали совершенно неожиданный ответ:

— Час тому назад его выпустили.

Лесницкий потащился назад, вконец растерянный и опустошенный, проникнутый досадой, острым и жгучим стыдом. Он не мог себе простить, что согласился выполнить просьбу Раисы и что вообще так горячо взялся за это дело.

Еще до его возвращения в село все узнали, что он приехал с барышней, что ходил в волость выручать Карла, что даже не нашел минуты времени забежать в родной дом. Сельчане смотрели на него с презрительным отчуждением, с нескрываемой враждебностью, как на какого-то ненавистного и отверженного преступника. Он видел и чувствовал это и не-

вольно опускал глаза, стараясь избегать осуждающих людских взглядов. Сознание его работало с какой-то лихорадочной поспешностью:

«Забежать домой, повидать родителей и сразу же ехать назад, в город... сегодня же... тотчас... Только на минуту забежать...»

Родная хата показалась ему глухой, заброшенной и неприветливой, будто в ней уже давно никто не живет. Только теперь, когда присмотрелся ко всему, у него засаднило сердце от печальных мыслей.

«Живы ли хоть все, здоровы ли?»

Во дворе под навесом увидел брата. Он с каким-то невеселым и странным упорством дрессировал неповоротливого толстого щенка.

— Тю-тю!.. Буржуй! А ну-ка, служи! Слышишь, что тебе говорят? Буржуй! Фю-фю-фю!..

Лесницкий позвал брата:

— Здорово, Петрок! Ну, как здесь у вас?

Петр тут же подхватился, заулыбался, потом округлил свои большие голубые глаза и тихо сказал:

— Отец хворает... А мамы нету, сегодня утром поехала в местечко...

У Лесницкого екнуло сердце. Он зашел в хату с тревожным чувством. Осмотрелся, затем, виновато склонив голову, подошел к кровати, где лежал больной отец. Старик, увидев сына, с большим усилием приподнялся на локоть, чтобы поздороваться.

— Здравствуй, сынок, здравствуй... Молодец, что приехал... А я вот, видишь, что-то сплошал...

И, словно бы прочитав мысли сына, почувствовав его душевные переживания, отец сразу заговорил тихим, ласковым голосом:

— Ничего, сынок... Всяко случается в жизни, разное выпадает человеку... Когда она-то отыщется — своя дорога в жизни... И тебя обидят не раз, и сам, случится, обидишь кого-либо... А потом все и забудется...

Лесницкий сел за стол, подпер руками голову и с тоскливо-умиротворенной болью слушал добрые отцовские слова. Глубокая тишина родной хаты навевала покой и воспоминания. Он на миг представил себя босоногим егозой, беззаботно-счастливым баловнем, как когда-то в детстве... Его уже ничуть не пугала мысль, что не придется возвращаться в город, что надо будет задержаться у больного родителя. Только бы избавиться от всего злого и неприятного. Только бы остаться здесь, в этой мягкой, нежной тишине, в милом сердцу покое.

Минут через десять старик умолк, затем послышалось его ровное дыхание — заснул, утомленный долгой беседой. Лесницкий неподвижно сидел за столом, погрузившись в глубо-

кое раздумье, слушал, как глухо стучала кровь в висках.

Потом несмело заскрипела дверь, и в светлицу вошла Мокрина. Она подошла к нему и тихо, шепотом произнесла:

— Здравствуй, Василек! Я к тебе на одну минутку...

Лесницкий поднял голову и испытующе посмотрел на нее, будто спрашивал: «Ну, чего тебе?»

От этого взгляда в ее ясном лучистом взоре забилась тревожная тень. То, что Мокрина собиралась сказать ему, видно, застыло на ее устах, и она какое-то время стояла, переминаясь с ноги на ногу, и не знала, что делать дальше. Потом присела на скамейке и едва слышно прошептала:

— Василь! Зачем так делаешь?

— Как это — так?

Ей, очевидно, нелегко было высказать вслух свои мысли.

— Ну... я не знаю... Как-то не так... ты раньше не такой был... Будто стал совсем другим человеком, не таким, как мы все здесь, в деревне, а уже вроде бы выше всех остальных...

Он досадливо прервал ее:

— Мокрина! Ты ничего не понимаешь... Ты совсем другое... Я остался таким, как и прежде, просто ужасно нелепо, глупо сложились обстоятельства. Возможно, произошло какое-то недоразумение.

Мокрина молча выслушала, затем опять заговорила тихим голосом:

— Я и раньше знала, что у нас все так кончится... Поначалу мне очень тяжело было... Я все плакала, думала: зачем я его так полюбила, зачем связала долю свою? Но в конце концов свыклась, смирилась — ничем уж тут не поможешь; видно, не пара мы друг другу...

Лесницкий снова прервал ее:

— Мокрина! Что ты говоришь? Ты даже не спросила, люблю я тебя или нет, даже не поинтересовалась, что у меня сейчас на душе...

— Зачем спрашивать? Разве я сама не вижу?.. Да я, Василек, совсем не обижаюсь. Пусть себе... Пусть будет так... Может, другая больше полюбит тебя, может, будешь с нею счастливее... Мне что... Знаешь, Василек, чему я рада? Что не заимела от тебя ребенка... Была бы несчастная душа... сиротка росла бы горькая, печальная...

— Мокрина, брось об этом... Мне сейчас и так тяжко... Будет еще время... поговорим...

— Я сейчас пойду... А уж говорить еще о чем-то — нет, лучше не будем. Я уже решила, как мне дальше быть... Довольно!.. Любила тебя сколько годков, отведала и счастья, хлебнула и горя... Кто знает, может, и еще любить буду, пока не забудусь... Только забыть про это... про первую любовь... Да ничего не поделаешь, как-то ведь должно пройти... Ты прости меня, Василек, если что... за все, за все... спасибо тебе...

И не успел Лесницкий опомниться, как она в глубоком волнении схватила его руку и поцеловала. Крупная, как горошина, слеза скатилась на его ладонь. Лесницкому показалось, что была она очень-очень горячая. Он хотел было задержать Мокрину, сказать ей что-то, но она с решительной поспешностью направилась к выходу и, не оглянувшись, вышла из хаты.

Из состояния глубокой растерянности Лесницкого вывел брат, который принес свежую новость:

— Поехали уже наши паны. Все: и пан, и барышня, и Карл... Три подводы нагрузили разных ящиков да чемоданов — все повезли на станцию.

Лесницкий молча встал и медленно, тихо — как лунатик — пошел к Днепру.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Сначала все смешалось в могучем, стремительном вихре,— в тучах непроглядной пыли происходило первое, наиболее усердное и чаще всего безотчетное разрушение. Под сумбурно-напористым движением стихии стерлись было границы и станы, с трудом определялись лагеря — враги шли врукопашную друг на друга и отчаянно дрались в кровавых отблесках пожаров. А подчас бывало, что противники двигались плечо к плечу, не узнавали один другого, пока их лица не освещал багровый и жуткий всплеск жаркого пламени. Тогда только во всю свою силу вспыхивал испепеляющий жар ненависти и дико напрягались силы для смертельной схватки. А бывало и так, что в разгар сражения люди не узнавали друг друга и только в конце жестокого поединка с радостным удивлением протягивали дружеские руки.

Так проходили первые дни революции. Это был дикий и безудержный бунт...

Потом с необычайной быстротой пошла концентрация сил — ясно и четко стали определяться два непримиримо-враждебных лагеря. В первом лагере находилась огромная масса восставших рабочих и крестьян, во втором собрались, воедино слились в исступленной своей ярости паны со своими вольными и невольными приспешниками. Началась невиданная дотоле война — в ней звериная свирепость странно переплеталась с образцовой и решительной отвагой, с беспредельной преданностью своим товарищам по борьбе. Потому что война эта для обеих сторон решала вопрос: жить или не жить.

И еще была одна мрачная сила — закованная в железную кайзеровскую дисциплину, плотно затянутая в мундир беспросветной муштры, немецкая армия. Сила эта страшным ураганом двигалась на революцию, которая смело бросила

всему миру желанный лозунг — «долой войну», которая в ответ на упорное сопротивление немецкого империализма объявила роспуск российских солдат, мужественно открыла свое лицо перед рабочими и крестьянами, загнанными под штыки империалистических армий.

Третья сила шла на революцию.

Так было весной 1918 года.

В Белоруссии в те дни куролесила шайка под штандартом генерала Довбар-Мусницкого, который к всеобщему удивлению сумел соединить в себе извечную реакционность и мракобесие российского самодержавия с фанатично-тупым и диким польским шовинизмом. Легионы этого бесславного героя за короткое время своего господства густо залили белорусскую землю невинной кровью мирных крестьян, озарили чистое голубое небо заревом бесчисленных пожаров, огласили лесные просторы жутким стоном и рыданиями. Словно омерзительная стая диких шакалов, носились они перед грузно наступавшей кайзеровской армией и в безумной ярости впивались в истерзанное тело нашей отчизны.

Так было весной 1918 года.

В конце марта того же года Лесницкий возвращался в город. Было это в ясное солнечное утро, когда отдохнувшая за зиму земля поблескивала лужицами и мягко курилась сизым дымком, а тихие дали с необыкновенной щедростью раскрывали свою чистую, как стекло, прозрачность. Он шел от самой деревни пешком, потому что железная дорога уже была перерезана поляками. Правда, несколько раз ему удалось подъехать, но большую часть все-таки прошел, промерил уныло-тоскливыми шагами полотно ровного, как линейка, большака.

Когда в ярких солнечных лучах снежной белизной засверкали купола городских церквей, Лесницкий вспомнил какой-то далекий серебряный звон и мелодичную весеннюю кручину (в небе в эту минуту колокольчиком звенела песня жаворонка),— ему захотелось свернуть в сторону, в густой ельник, и полежать, погрузившись в чарующую тишину, целиком отдаться во власть невеселых воспоминаний.

На иголках молоденьких елок мелко дрожали в прозрачной чистоте изумрудные капли росы — деревца с наивным кокетством приподнимали искристо-зеленую росистую одежду, обнажая свои стройные крепкие ноги.

Милые, славные елочки!

И жаворонок...

Капли росы на елочках почему-то напомнили Лесницкому Мокрину. Она такая же чистая и невинная.

Кого больше хотелось повидать: ее или Раису?

В то мрачное время, когда болезнь отца накрепко привязала его к хате, к враждебно настроенной к нему деревне, когда жизнь зажала его в железные клещи глухих противоре-

чий (теперь при воспоминании становится смешно, тогда же вполне серьезно хотел утопиться в Днепре),— в то мрачное время Мокрина, наспех распродав свои пожитки, собралась и уехала в город. С ним и попрощаться, видно, не захотела. После того памятного разговора в хате они ни разу и не виделись.

Зиму провел Лесницкий во мраке беспросветной тоски, в бесконечных душевных муках. Стоило ему теперь на какой-то короткий миг оглянуться назад, в прошлое, как перед глазами во всем своем ужасе снова вставал мрак — оттуда на него веяло ледяным холодом, отчужденностью и одиночеством.

Из глубины прошлого все выглядело кривым и до неузнаваемости искаженным, казалось, не лица там, а страшные маски, не хорошо запомнившиеся события, а какие-то странные чудачества. Тяжелую, опостылевшую зиму Лесницкий коротал в бездумной будничной суете, крепко сжатый четырьмя стенами родной хаты, по своей воле замурованный в подвале вынужденного одиночества,— снаружи напирала глухая враждебность села, через которую проходило в фантастически-запутанных формах то неизвестное, новое, что на полную силу уже бушевало вокруг.

С весной вернулось к старику здоровье, а к Лесницкому надежда и жажда жизни. Весна освободила его молодые крепкие крылья, широко открыла перед ним согретые щедрым весенним солнцем просторы. И пошел он тогда — свободный и беззаботный — искать свои стежки-дорожки, искать выход из зачарованного черного круга. А быть может и еще что-либо, потому что часто, ой как часто стояли перед глазами до боли знакомые образы и щемящей тяжестью давила на сердце печаль.

Кого больше хочется повидать?

Лежа на спине под маленькой густой елочкой, Лесницкий пристально вглядывается в изорванную ветками голубизну неба, старается так напрячь зрение, чтобы в глазах все смешалось, расплылось в одном тоне,— тогда легче будет увидеть желанные образы, особенно тот, по которому так печалится душа. Именно так представлялись Лесницкому в далекие годы детства белые, как снег, ангелы в небе или большие аппетитные пряники.

Лесницкий напряженно смотрит вверх, в бездонную глубину. И вот зеленые, широко растопыренные ветви постепенно тонут на фоне неба, и в глазах разливается что-то трепетное, светлое... Откуда-то сбоку появляется огромное чудовище — рога, клешни кривые, когтистые лапы. Шевелится, лезет вперед... Лесницкий невольно вздрагивает от неожиданности и видит, что над самым глазом по тоненькой веточке ползет крохотный жучок. Лесницкому вдруг становится смешно и радостно. Какая-то внутренняя энергия поднимает его, и он

идет, широко улыбаясь, по росистой траве, с веселой готовностью подставляет руки под легкие и приятные уколы густых зеленых елочек. На дорогу выходить не хочется, тянет куда-то в сторону, душа рвется на простор — широкий, бескрайний. Ведь он сейчас совершенно свободный, может идти, куда пожелает, а может и здесь остаться до вечера.

Вскоре ельник стал редеть, расступаться в стороны, оголяя желто-серые участки большой поляны. В этот момент Лесницкого остановил короткий оклик. Кто-то крикнул резким голосом:

— Эй!

Лесницкий повернулся вправо, влево — никого не видать. Постоял с минуту, пошел дальше. Но тишину поляны вторично нарушило это настойчивое и сердитое «эй!»

На этот раз Лесницкий увидел на краю поляны хозяина голоса. Из-за широкого куста высунулась голова моложавого еще мужчины с растрепанными волосами, с ленивым блеском выцветших глаз, с редкими, низко опавшими усами, придававшими лицу то ли глубоко-апатичное, то ли философское выражение. Вслед за головой показался и сам мужчина в лаптях, в широком синем галифе, самотканой суконной куртке и странной желто-синей форменной фуражке. Он был подпоясан военным ремнем с двумя портупеями, на груди висел бинокль и еще что-то в кожаном футляре. В руке незнакомец держал винтовку.

Лесницкий удивленно уставился на него. Человек тем временем не спеша вышел на открытое место и опять произнес своим нудно-резким голосом:

— Ну? Что ты?

Лесницкий совсем опешил:

— Вы ко мне, что ли?

— Нет, к этому вот дереву...

Незнакомец сделал шага два вперед, принял отчаянно-серьезный вид и громко гаркнул:

— Чего шляешься по передовой линии боевого огня?! Предъяви документы!

У Лесницкого за душой было только какое-то старое ученическое удостоверение. Он показал его. Тот, видно, лишь для вида провел раза два по бумажке своим медленным взглядом, затем, не выпуская из рук удостоверения, поднял голову и закричал:

— Мить-ка-а-а... Взвод-ны-ый... Мить-ка-а!

И проворчал, словно сам с собою разговаривал:

— Что ж, кликнем начальство... Дело ясное...

Через минуту явился взводный — подвижной, розовощекий, еще совсем молодой солдатик.

— Чего тебе?

— Шпиона поймал... Делать, вижу, тебе нечего — отведи его к Багуну.

Взводный строгим взглядом окинул Лесницкого и повел его куда-то в сторону, ближе к большаку. Они вскоре вышли на просторную поляну, посреди которой дымился костер. Вокруг него лежали люди самого разного возраста, одетые кто во что. Тут же рядом лежало оружие, различное походное снаряжение. Взводный обратился к крупному, широкоплечему мужчине в кожаной тужурке, который, вытянувшись во весь свой богатырский рост, что-то рассказывал под дружный хохот компании. Это, очевидно, и был тот самый Багун, к которому вели Лесницкого. Лица его Лесницкий сразу не увидел, потому что тот лежал, повернувшись в противоположную сторону. Когда же взводный доложил о случившемся, Багун повернулся и тяжело уставился на Лесницкого своими большими круглыми глазами. И вот раздался густой, сиплый, с удушливым подсвистом хохот, от которого Лесницкому стало как-то обидно и вместе с тем радостно. Услышав этот хорошо знакомый хохот, он и сам было заулыбался, крайне удивленный неожиданной встречей. Улыбнулся и подумал:

«И чего только не бывает в жизни... Надо же так... В который уже раз судьба сводит меня с этим рабочим?»

А Багун все еще не мог успокоиться.

— Шпион... ха-ха-ха! Вот так шпион!.. Это же мой крестник! Ха-ха-ха! Вот так оказия!

И он живо стал рассказывать товарищам о том, как встретились они с Лесницким на улице в первые дни революции. Все, кто слушал, тоже расхохотались. Лесницкий стоял молча в сторонке и кипел от злости и стыда, он готов был броситься на рабочего, заткнуть ему рот, чтобы только не мучил своим хохотом, своей грубой, как камень, насмешкой.

Когда все вволю нахохотались, Багун усадил Лесницкого рядом с собой и стал с нескрываемым интересом расспрашивать, как он здесь оказался. Когда Лесницкий рассказал о цели своего путешествия, Багун усомнился, покачал головой.

— Ты уверен, что благополучно бы добрался?.. Твое счастье, что попал к нам. Попадись в руки текинцев — капут бы тебе.

И Багун рассказал Лесницкому, что в те дни творилось в городе.

Днепр разделял город на две неравных части. Большая и главная часть была оккупирована польскими легионами, а в другой, меньшей части, фактически в предместье города, хозяйничал отряд текинцев — остатки известной дикой дивизии, на которую когда-то опирался Корнилов. Этот отряд текинцев вобрал в себя еще немало и старого офицерства, так что собралась довольно крупная и сильная банда, чтобы своим разбоем и грабежом терроризировать население предместья, а также ближайших деревень. С этой бандитской шайкой пробовали драться плохо организованные и вооруженные отряды добровольной красной гвардии, расположенные у шос-

се — версты за две от города. В один из таких отрядов и попал Лесницкий. Багун был избранным его командиром.

Рассказ Багуна произвел на Лесницкого тяжелое впечатление, навеял на него туман глухого, щемящего уныния. Он понял, в необозримую даль улетело то, о чем так вдохновенно мечтал всю долгую дорогу, что своей неотступной привлекательностью рождало силу и энергию, создавало твердую уверенность в каком-то счастливом конце. Он шел в город, чтобы отыскать там заветную «точку», которой так не хватало в его серых, беспросветных буднях, чтобы отыскать саму жизнь. Город сейчас казался ему бесконечно далеким и призрачным, как мечта.

— Слушай, Багун, неужто и на самом деле нет никакой возможности пробраться туда?

— Если попадешь в лапы к этим дьяволам, живым не выпустят... Они готовы любого незнакомого человека принять за большевика, особенно если молодой... А уж тогда конец... Я думаю, тебе это не очень светит, не правда ли?

— Не говори...

— К Андрею зайдешь?

— Ясное дело...

Багун слегка улыбнулся.

— Надо было бы ему кое-что рассказать про нас... связь совсем плохая, черт бы их побрал... Ну что ж, валяй, если отважишься... Главное — не нарвись на текинцев. Дальше будет проще... Митька! Митька!

Подошел уже знакомый Лесницкому взводный.

— Ты сегодня, кажется, собрался туда, к ним... Так вот возьми с собой этого молодца.

Митька широко ухмыльнулся и как-то странно, всей своей живой фигурой, подмигнул Лесницкому.

— Шалтай-болтай... большевик... даешь-берешь... фить-тифить...

При этом он сделал очень выразительный жест,— все громко расхохотались. У Лесницкого же холодная волна тревоги подкатила под самое сердце, но он не показал виду. Наоборот, надо было как-то подчеркнуть свою решимость, и он, с трудом улыбнувшись, ляпнул Митьку по плечу.

— Ничего, браток, не пропадем!

Весь день Лесницкий пробыл в состоянии напряженного ожидания, временами переходившего в острое, беспокойное возбуждение, в неясную тревогу. В такие минуты с болезненной лихорадочностью билось сердце, и он не находил себе места — неудержимо хотелось куда-нибудь пойти, что-то делать.

Чтобы хоть как-то расслабить терзавшее его напряжение, Лесницкий стал внимательно присматриваться ко всему, что делалось вокруг. И, к своему удивлению, обнаружил много интересного. Это был один из тех первых отрядов красной

гвардии, которые формировались в разных районах Восточной Белоруссии, заменив собою распущенную армию, и которые активно развернули борьбу с местной контрреволюцией. Отряды эти состояли из самых пестрых элементов. Вместе с сознательными защитниками революции сюда шло много любителей веселой и беззаботной жизни или просто жуликов, привносивших тенденции грабежа, разбоя и анархии — все то, что нередко дезорганизовывало боевую деятельность отрядов. Разномастные по своему личному составу, одетые в самое пестрое платье, вооруженные не менее пестрым набором всевозможного, какое только существовало в то время, оружия,— эти отряды являли собой действительно неповторимую картину. Весь внутренний распорядок жизни в отрядах строился на свободной товарищеской дисциплине, которую большинство понимало в том смысле, что любое приказание надо выполнять, предварительно подумав хорошенько, что вообще не следует очень уж потворствовать начальству — тем более, что сами-то его и выбирали.

В отдельных случаях все наиболее важные стратегические вопросы решались общим собранием. И несмотря на такую пагубную для воинской части систему, на такое своеволие и анархию, были отряды, показывавшие подлинную боевую выучку и организованность. Главную роль в подобных случаях играла та часть высокосознательных красногвардейцев, которые были беззаветно преданы делу революции.

За день, прожитый в лагере красногвардейцев, Лесницкий успел близко сойтись с ними. За весь день не прозвучало ни единого выстрела — текинцы сидели тихо, отряд же не собирался пока начинать сражение. Поэтому время прошло в самых мирных занятиях: бойцы пекли картошку, кипятили чай, пели песни, рассказывали забавные истории и анекдоты. Теплая весенняя погода способствовала общему хорошему настроению. От этого чувства, переполнявшего бойцов, укреплялось взаимопонимание и товарищеская дружба. Казалось, все уже давно друг друга знают и понимают с одного слова.

Лесницкий лежал в окружении красногвардейцев и с нескрываемым интересом слушал их бесконечные рассказы. Подчас даже забывал о своих хлопотах, обо всем, что ждало его впереди. В такие минуты он чувствовал, как легко и радостно становится на душе,— он готов был остаться здесь навсегда, среди этих добрых, сердечных людей, готов был делить с ними все тяготы походной жизни.

Под вечер Лесницкий встретил на поляне еще одного знакомого. Встреча эта не принесла ему радости, наоборот, на какое-то время испортила настроение. А было так. Он стоял, прислонившись к дереву, и разговаривал со взводным Митькой. Вдруг почувствовал, кто-то осторожно прикоснулся к его руке. Повернулся — видит: рядом человек со странной физиономией. Крохотное измятое личико состроило самую

что ни на есть довольную мину; синюшный глаз быстро-быстро смыкается в нагло-радостном блеске; глупая улыбка бегает по сморщенному носу, щекам, лбу. Сам человек замер, весь напрягся и, казалось, с трудом сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху,— с нетерпением ждал шумного дружеского узнавания. И как-то настороженно, словно из-под полы протягивал Лесницкому свою черную, грязную ладонь.

Лесницкий изумленно смотрит на это привидение и начинает что-то вспоминать. Стремительно проносится в сознании: школа, учитель, Халима, вечер, что-то черное, лампочка, какая-то боль, музыка...

— А-а-а!.. Узнаю... узнаю... Здорово!

Перед ним стоял тот самый флегматичный босяк, который был его непрошеным защитником на манифестации.

— А ты что здесь делаешь?

Босяк таинственно подмигивает и кивает головой в сторону — желает говорить с глазу на глаз. Они отходят шагов на десять в кусты, и босяк с опаской наклоняется, шепчет на ухо:

— Я с тобою тоже пойду... Хорошо?

— Зачем?

Тот хитро морщится.

— Там, говорят, хорошо платят... и это есть... польская чистая...

И выразительно щелкнул пальцем по горлу.

У Лесницкого от гнева все закипело в груди. Ему захотелось удавить эту противную тварь, избить до смерти. Сразу пропало хорошее, добродушное настроение, появившееся после встречи с красногвардейцами,— и ему очень жаль, что все пошло насмарку. Лесницкий с отчаянной решимостью поворачивается и делает несколько шагов в сторону поляны.

— Я сейчас же скажу Богуну...

Слова эти ужасно напугали босяка. Побелевший, встревоженный, он спешит к Лесницкому и начинает просить его:

— Братец, не говори... Убьет меня... Ведь я просто так... в шутку сказал... А ты и поверил, а? Видишь, как оно получилось... Да я пошутил только...

Босяк тихо, как наушник, смеется и с виноватым видом смотрит Лесницкому в глаза, продолжая упрашивать... Наконец Лесницкий брезгливо махнул рукой:

— Ладно уж... Уходи прочь!

Босяк метнулся назад, к кустам, но Лесницкий заметил, как тот бросил на него холодный злобный взгляд.

На землю быстро опускался вечерний сумрак. В синем небе засверкали первые звезды. По кустам беззвучно поползли густые тени. Временами они подступали к самым глазам, и тогда казалось, вот-вот наткнешься на дерево, пень или куст. И чаще всего натыкались совершенно неожиданно, ко-

гда впереди вроде бы не было никакого препятствия. Виною была звездная — без луны — ночь.

Багун вывел Лесницкого и Митьку к дороге и, перед тем как проститься, еще раз повторил наставления, дал необходимые советы. Он казался сейчас совсем другим, не таким, как всегда, и очень нравился Лесницкому. В нем вдруг раскрылась большая душевная мягкость, тихая задумчивость, товарищеская чуткость. Темная ночь не давала возможности увидеть, насколько не соответствуют все эти качества его грузной фигуре... Говорил он шепотом, в голосе его не было слышно ни резкости, ни грубости. Словно рядом стоял не тот самый Багун, с которым они провели весь день, а совсем другой человек.

— Ну, дальше не пойду. Прощайте, ребята! Счастливого пути! Ты, Митька, хорошо переоделся? Наган оставил? Если понадобится, у Прудника есть... Смотри, записку не потеряй... Передавай, Василь, всем нашим привет, а Андрею расскажи подробно обо всем, что мы с тобою говорили... Будьте здоровы!..

Он круто повернулся и растворился в ночной темноте, а Лесницкий с Митькой, стараясь соблюдать полную тишину, медленно пошли дальше.

Кустарник подступал к самым крайним дворам предместья. Потом надо было незаметно пробираться по задворкам, через огороды, потому что идти по улице — значило наверняка попасть в руки текинцев.

Не успели ребята пройти и сотню шагов, как вдруг услышали за собой тихий хруст: кто-то осторожно крался за ними. Они остановились, прислушались. У Лесницкого от страха мурашки побежали по спине, сильно забилось сердце. Шаги тем временем становились все явственнее. Наконец во мраке раздался тихий голос:

— Это я, не бойтесь!

Лесницкого всего передернуло от гнева.

— Убирайся вон, негодяй! Не подходи!

Босяк — словно бы ничего не слышал — приблизился к ним почти вплотную и быстро зашептал:

— Ну, чего стали? Пошли, пошли... Зачем нам здесь долго стоять?

Лесницкий решительно повернулся к взводному:

— Митька! Вернемся сейчас же назад... он не должен идти с нами. Понял меня?

Но тут произошло что-то совсем неожиданное. Только Лесницкий успел произнести эти слова, как босяк метнулся в сторону, и уже издали, из черноты ночи, послышался ненавистный, полный злорадства голос:

— А я не пущу назад, я буду стрелять...

Лесницкий опешил, не знал, что дальше делать. Митька спокойным, сдержанным тоном произнес:

— Хорошо... Пойдем. Но с наганом брось шутить... Смотри, попадешься...

— Не волнуйся, наган я брошу, только там, дальше...

Пошли все вместе. Митька чуть впереди, уверенно выбирая дорогу, ловко раздвигая податливые ветви кустов. Босяк шел вслед за Лесницким и все что-то шептал не то Лесницкому, не то самому себе. Лесницкому ужасно неприятно было чувствовать за своей спиной его присутствие. Казалось, что-то противное липнет сзади и не дает повернуться — холодное, влажное.

Чем ближе они подходили к городу, тем все больше проникался Лесницкий каким-то незнакомым до этого чувством, в котором черные тени тревоги и страха удивительным образом переплетались с веселым подъемом, с приятной легкостью. Мысль о том, что вот он идет на такое опасное дело, что он даже рискует своей жизнью,— эта мысль, рождая беспокойство и волнение, вместе с тем приносила ему какую-то чисто детскую усладу. Он начинал представлять себя подлинным героем, неуемная фантазия рисовала всевозможные яркие картины и перспективы,— на душе было удивительно светло и приятно. Уверенно шагая вслед за Митькой, он напрягал все мускулы тела, старался, чтобы каждое движение было размеренным и легким, и с радостью думал: до чего же он быстрый и ловкий...

Пошли огороды. Приходилось часто, затаив дыхание, перелезать через шаткие, полусгнившие заборы, приходилось подолгу стоять, прислонившись к какой-нибудь глухой стене сарая, и ждать, когда перестанут лаять собаки и утихнут людские голоса на улице. Наконец, когда уже совершенно выбились из сил от этих бесконечных перелазов, Митька остановился и прошептал:

— В этом месте мы должны перейти улицу. Если текинцы нас заметят — не удирать! Скажем, что местные, загуляли на вечеринке, домой возвращаемся. Проверять не станут: или расстреляют на месте, или отпустят... Ну, айда! Доберемся до Прудника, значит,— живы...

Чей-то огород упирался в самую улицу и заканчивался не очень высоким пряслом. Соблюдая полную тишину, со всеми предосторожностями приблизились они к пряслу. С минуту постояли, послушали. Вокруг стояла глухая тишина. На улице — ни души. Митька взялся за прясло. И вот тут с Лесницким произошло что-то странное,— его вдруг охватил беспричинный страх. Почему-то показалось, что главное сейчас в том, чтобы поскорее перелезть, чтобы не остаться. С отчаянной поспешностью бросился он к пряслу и стал перелезать, нервно подтягивая ноги, словно опасался, что кто-то может уцепиться за них. А когда спрыгнул на землю, неудержимо хотелось побежать. И, пожалуй бы, побежал, если б не

увидел, что Митька еще на прясле, что он совсем не спешит, перелезает не спеша, спокойно.

Лесницкий с Митькой были уже на середине улицы, когда от прясла до них долетел полный нечеловеческого отчаяния и страха крик босяка:

— Подожди-те!

Он все еще возился там, зацепившись за что-то своими лохмотьями. Очевидно, и его охватил тот же дикий ужас, который только что покинул Лесницкого.

И вот от соседнего дома отделились две огромные мрачные тени, зловеще звякнув на ходу затворами винтовок.

— Кто здесь?

Лесницкого, как ножом, полоснули по сердцу,— в резком окрике он мгновенно уловил чужой акцент.

«Текинцы!»

Митька же сразу ответил — в его голосе звучала наивная беззаботность и простодушие.

— Это мы... свои, здешние... С девчатами гуляли, задержались немного...

В это время что-то тяжело и глухо шлепнулось возле прясла. Один из текинцев тотчас устремился туда и через минуту приволок до смерти напуганного босяка. Тут, словно из-под земли, выросло еще несколько текинцев, они наперебой залопотали на своем отрывистом гортанном языке и подозрительно уставились на ребят. Потом арестовали всех троих, под ружьем повели в дальний конец глухой темной улицы, где стояла охрана, и затолкали в большую пустую комнату — караульное помещение.

Началась самая придирчивая перетряска. Когда наружный осмотр не дал никаких результатов, последовал приказ раздеваться. Лесницкого эта процедура начинала занимать и вместе с тем успокаивать. Раздеваясь сам, он с интересом наблюдал, как раздевается босяк. Его ужасно смешила серьезность и удивительно-спокойная аккуратность, с которой он снимал и укладывал свои совершенно заношенные лохмотья. Потом Лесницкий мельком бросил взгляд на Митьку и остолбенел от охватившего его ужаса. Митька сидел на скамейке белый-белый, как смерть,— текинец с грубой поспешностью стаскивал с его ног носки. Сняв их, он сначала в один, затем в другой засунул руку и, ехидно осклабившись, вытащил в несколько раз сложенную записку.

— А-а-а! Большевик! Попался!

Второй текинец с холодной готовностью вытащил из ножен кинжал и со свирепым блеском в глазах направился к Митьке. Но в последнюю минуту его остановили.

— Стой! К командиру сначала надо... Еще успеешь...

Кто-то сказал:

— Командир уже спит... будить его сейчас нельзя... завтра отведем и покажем...

Затем они снова говорили на своем гортанном, непонятном языке, горячо и долго спорили,— видно, решали судьбу задержанных. Наконец все ушли, покинув их одних в темной, страшной комнате. Двери снаружи надежно закрыли.

Митька ощупью отыскал Лесницкого и судорожно сжал его руку.

— Пропали, братец... Завтра пустят в расход...

Лесницкий, пожалуй, не понял всего смысла этих слов. С той минуты, когда он увидел побелевшее лицо Митьки, когда его, как острым ножом, полоснула страшная догадка,— с той минуты в его душе образовалась глухая пустота, а голова наполнилась тупым болезненным звоном. Не в силах собраться с мыслями, он, как изваяние, застыл в углу и широко раскрытыми глазами смотрел в беспросветный мрак ночи. Он даже не заметил, как вышли текинцы, как вокруг стало темно и тихо, не расслышал и не понял, что ему шептал Митька.

Очнулся Лесницкий лишь тогда, когда по комнате прокатился мощный храп босяка, прозвучавший страшным диссонансом жуткой тишине и тревожному одиночеству. Первая мысль была о том, чтобы дотянуться до него ногой, изо всей силы толкнуть, прервать этот наглый храп. Но тут же улыбнулся сам себе — это желание показалось ему совершенно неуместным и бессмысленным. Потом думы полетели одна за другой, стали обрастать яркими красками и призрачными образами, стремительно завертелись в каком-то безудержном хороводе.

С мыслью о неминуемой смерти примирился как-то сразу, без долгих и мучительных рассуждений. Надежда на освобождение появилась значительно позже, до этого ее вовсе не было. Сначала в душе гнездилась лишь тупая уверенность в том, что убьют, и страшное отчаяние, сожаление о безвременно загубленной жизни. Пестрым роем налетели воспоминания — один за другим выплывали откуда-то до боли яркие, четкие образы, выплывали давно забытые вещи и самые крохотные, самые неприметные мелочи жизни,— все казалось теперь таким милым и дорогим, все возбуждало глубокую жалость, готовую каждую минуту пролиться тяжкой и горькой слезой. Вспоминалась почему-то мать (раньше редко ее вспоминал), потом отец, брат. Они казались ему тихими, ласковыми, грустными, и горло невольно сжали судорожные рыдания. Затем — березка за хатой, неповоротливый щенок Буржуй, дубки над крутым днепровским берегом, ежевика, смородина, яркое летнее солнце, отраженное крутой волной, и веселые рыбки — пескарики, ельцы, голавлики.

Лесницкий тихо вздрагивал всем телом, изо всех сил стараясь сдержать рыдания,— не хотел, чтобы его услышал Митька. Он знал, Митька не спит и встревожен отчаянным положением не меньше его самого. Может, тоже тихо плачет?

А, может, лучше бы им поплакать вместе? Но кто знает, чего доброго еще смеяться будет над ним, над его душевной слабостью.

Чтобы как-то успокоить себя, Лесницкий решил не думать больше о доме, о своих родных, о Днепре и солнце. Свои мысли решил направить на что-либо другое. И тогда вспомнил Раису.

А вообще лучше бы она не вспоминалась! Раиса явилась перед его мысленным взором как живая, вполне реальная, в полном блеске своей красоты. Она подняла в сердце Лесницкого страшный вихрь чувств, до сих пор тихо и покорно дремавших. Эти чувства — свежие, беспокойные — сжимали его грудь с ужасной силой и, казалось, не давали дышать. Он дрожал, как в лихорадке, скрежетал зубами при мысли о своем полном бессилии, рвал на себе волосы. Наконец перестал плакать и в отчаянии протянул вперед руки, будто хотел поймать этот желанный образ, обнять его, прижать к себе, испытать неизведанное дотоле счастье...

И вот вместо покорности судьбе у него вдруг появилось огромное желание выжить, выжить во что бы то ни стало. Все внутри тотчас всколыхнулось от могучего протеста. Пожалуй, впервые он осмысленно задал себе вопрос:

— За что? Почему?

Лесницкий успокоился, стал трезво, вдумчиво анализировать все, что видел, слышал и делал в этот день. Оказалось, он даже толком не знает, чего хотят от них текинцы, чего добиваются. А ведь в этом было все дело. И он решил поговорить с Митькой.

— Митька, ты спишь?

— Нет, не сплю. А что?

Голос у Митьки изменился до неузнаваемости — стал каким-то глухим, неровным.

— Скажи, что нужно этим дьяволам? За кем они идут, кого поддерживают?

— Корниловцы?

— Да. Корниловцы. Кого поддерживает Корнилов? Он ведь утверждал, что выступает за Россию, а Россия его прогнала. Знают ли текинцы, за кого выступал Корнилов?

Рассуждения об этом развеяли тяжелое душевное состояние Лесницкого, немного успокоили его. И только потом, когда мозг уже не выдержал огромного напряжения, навалился тяжелый, лихорадочный сон, а вместе с ним и страшные кошмары. Беспрестанно мельтешили перед глазами текинцы — пугали своими мохнатыми шапками, сверкающими, как угли, глазами и длинными горбатыми носами. Они все корчились, как сумасшедшие, строили ужасные гримасы и размахивали кинжалами. Приходила еще Раиса, нежно прижималась к нему всем телом и больно-больно целовала. С диким хохотом ее оттащили в сторону текинцы. Он порывался

встать, защитить ее, но был крепко связан — и только глухо стонал от душившей его злобы и отчаяния.

Ночью Митька будил Лесницкого. Он спрашивал задумчивым, болезненным голосом:

— Василь! Ты веришь в бога?

Он впервые назвал Лесницкого Василем. Лесницкому стало безмерно жаль его — возможно, потому, что и себя было жаль. Хотелось ответить на вопрос как можно мягче и теплее.

— Сейчас трудно верить, Митька... Уж слишком много допускает глупостей этот бог... Лично я не верю в него...

— А нужно ли молиться, как ты думаешь?

— Брось, еще живыми будем, чего там...

— Я знаю, завтра умру...

Сказал тихо, но твердо — и умолк. Больше он не трогал Лесницкого, оставил его на волю тяжелых и мучительных кошмаров.

А может и этот короткий разговор тоже был во сне — неспокойном и тревожном?

Проснулся Лесницкий, когда в широко распахнутую дверь властно хлынул поток свежего воздуха. В первое мгновение никак не мог сообразить, где он и что с ним. Только разогнав остатки сна, понял все... Однако сейчас его уже не терзали вчерашние муки, он сохранял трезвое спокойствие и уверенность, что все кончится хорошо. Разве только будут небольшие неприятности, но уж тут ничего не поделаешь — обстановка сложная.

Их сразу повели к командиру. Улицы выглядели необычно тихими и пустынными. Местных жителей совершенно не было видно. Повсюду только позвякивали своими кривыми саблями смуглые, страшные текинцы да изредка мелькали одинокие, довольно обтрепанные фигуры армейских офицеров. Такой непривычный вид улицы снова посеял в душе Лесницкого тревогу. И чем дольше они шли, тем больше встречали суровых лиц текинцев, тем больше охватывало их беспокойство.

Вошли в какой-то большой и довольно красивый дом. В широком пустом зале пришлось ждать, пока старший ходил докладывать командиру. Минут через пять он вернулся и повел с собою почему-то одного Митьку. Лесницкий и босяк присели на скамейке. Возле них остался теперь один текинец — видно, неугомонный по натуре человек, потому что сразу же завел с ними оживленную беседу. Лесницкий охотно поддерживал разговор — пытался как-то развеять свою тревогу и опасения. Невыносимо тяжело было сидеть и молчать, ужасно мучила неизвестность. Он не знал, что его ждет в ближайшем будущем. Особенно не давала покоя мысль: куда повели Митьку?

Мучительно долго тянулось время. И вот минут через де-

сять откуда-то из глубины дома послышался приглушенный стенами крик, как будто кто-то громко ругался, а вслед за этим до ушей Лесницкого долетел едва слышный стон. У Лесницкого заныло сердце, по всему телу пробежала мелкая дрожь. Он почувствовал, что весь побелел.

«Неужто будут пытать? Нет уж, пусть лучше сразу расстреляют, я так и скажу».

А в это время их охранник беспрерывно тараторил на ужасном русском языке:

— Большевика бьем... большевика сечем... Большевик плохой человек, начальства не признает... Корнилова нашего забрал... Корнилова убил... За что убил?

Лесницкий прервал его:

— А зачем тебе Корнилов, а? Скажи: зачем он тебе? Что он тебе дал?

Текинец бросил на него настороженный, недоверчивый взгляд и отвернулся, потом немного подумал и ответил унылым голосом:

— Нам надо быстро домой ехать... У нас хозяйство, виноград... Жена была молодой — будет старый... У нас жена старый бывает скоро очень... Только у вас долго молодой жена...

В этот момент в зал с улицы вошел высокий неповоротливый текинец. Он дальше не пошел, а почему-то стал медленно ходить туда-сюда с задумчивым видом. Как только тот появился, Лесницкий уставился на него удивленным взглядом.

«Что это, привидение? А может двойник? Почему — текинец? Как он здесь оказался?»

Все, что произошло дальше, показалось Лесницкому совершенно невероятным, нелепым и вместе с тем радостным сном. Текинец увидел его и замер — глаза стали широкими-широкими, они выражали полное недоумение. Медленным шагом текинец подошел к нему, и — что за наваждение! — перед Лесницким стоял не текинец, а Халима — живой, хорошо знакомый. Халима до боли пожал ему руку и заговорил своим грубым, как будто сердитым голосом. Казалось, слова его долетели откуда-то издалека, с улицы, и были приглушены расстоянием. Потом Халима исчез, вместо него добродушно улыбался охранник и о чем-то долго-долго и непонятно говорил, но Лесницкий его не слушал.

Вышли все вместе: Халима, старший текинец и Митька (Митька с уставшим, измученным видом, с мутным исступленным взором). Старший злобно покосился на Лесницкого и резко махнул рукой.

— Иди!

Потом, тоже рукой, показал на Митьку и босяка и коротко буркнул охраннику:

— Расстрелять!..

Митька держался гордо, оставался таким, как и прежде,

только едва заметно вздрогнул — так обычно вздрагивает во сне ребенок, если ему на лицо сядет муха. Босяк же вдруг вытянулся весь, словно схваченный судорогой, широко и страшно выкатил из орбит свои бесцветные глаза. Он хотел что-то сказать, но вместо ясных и членораздельных звуков лишь прошептал что-то невнятное. У него сильно задрожали губы и несколько раз он жутко щелкнул зубами. Потом перевел на Лесницкого и Халиму свой нетвердый взгляд, в котором светилась отчаянная мольба, молчаливый крик о помощи. Лесницкий растерянно посмотрел на Халиму, собираясь что-то сказать, но тот не пожелал слушать и, подхватив его под руку, поспешно вывел на улицу.

Какое-то время Лесницкий шел молча, потом быстро привел в порядок свои мысли, чувства и с ужасом подумал, каким удивительным образом он избежал смерти, как легко вырвался из ее холодных объятий. К нему постепенно возвращалось ощущение реальной жизни, исчезал страх. Появилась острая потребность что-то делать, что-то предпринять, чтобы полнее почувствовать окружающий мир. Хотелось много говорить, хотелось остановиться и оглядеться по сторонам и убедиться, что все это не сон, а живая действительность. Он посмотрел на Халиму, смерил его взглядом с ног до головы и громко воскликнул:

— Халима! Что же будет с моим товарищем? Ты не смог бы его выручить?

— Текинцы не шутят. Помочь ничем не могу...

Лесницкий мрачно посмотрел на него и негромко спросил:

— Что ж это ты? Тебя совсем не узнать! Что здесь делаешь?

— Разве не видишь — воюю...

— С кем?

— Черт его знает... Все равно с кем...

— Как попал сюда?

Халима не ответил, перевел разговор на другое.

— Жрать хочешь?

Лесницкий забыл, когда ел в последний раз, и вдруг почувствовал волчий голод.

— Да, я голодный.

— Пойдем!

Они зашли в небольшой чистый мещанский домик. На кухне возилась по хозяйству еще не старая женщина — топила печь. Увидев на пороге незнакомых людей, угрюмо насупилась, исподлобья бросила на них колючий взгляд. Халима остановился перед нею, широко расставив ноги, и быстро затараторил, подражая манере текинцев:

— Калы — мара — чукун — якшы — памир — тянь — шань — сухум... дайешь шамать!..

Напуганная хозяйка в растерянности засуетилась перед ними, не зная, что делать, только руками всплеснула.

— Нету у нас ни яиц, ни масла,— сало же вы не едите...

— Дайешь сало... Поджарь сало на сковородке... сухум — капр — стамбул...

Только теперь Лесницкий понял, каким образом собирался угощать его Халима. Ему стало ужасно стыдно и неприятно, и он прошептал Халиме на ухо:

— Я не хочу... Уйдем отсюда...

Халима метнул на Лесницкого холодный взгляд и схватился за рукоятку кинжала.

— Попробуй только молимониться здесь...

Хозяйка быстро приготовила завтрак, и Лесницкий хочешь не хочешь вынужден был кое-что съесть. Мародерски добытая еда не лезла ему в горло.

Во время завтрака в комнату зашла дочь хозяйки — молодая и очень энергичная, подвижная девушка. Она тут же ввязалась с непрошеными гостями в разговор, даже немного кокетничать стала. Лесницкий смотрел на нее и с трудом верил, что человек так легко, так непосредственно может приспособиться к смертельно-опасной обстановке, царившей в городе, и чувствовать себя в ней, как рыба в воде.

Позавтракав, они пошли к Халиме на квартиру. Там, вольготно растянувшись на кровати, с наслаждением попыхивая трубкой, Халима под настроение высказал Лесницкому несколько философских мыслей, которые немного осветили таинственную сущность его странной трансформации.

— Вот так и воюем, братец Василь... прохлаждаемся... Только что был человек, а через минуту его уже и нет... Это, братец, не всегда так будет, это, братец мой, великая штука — натура... Человек возрождается — вот что... Ха-ха-ха... Тебе Андрей там все объяснит про меня, все расскажет, как надо... Я, видишь, предатель, я не пожелал признавать их уставы и приказы... А мне все равно: или там, или здесь, или еще где-нибудь... Нужно только воевать, буянить, чтоб не погас бунт, чтобы еще больше разгорался. Ты знаешь, Василь, в чем сущность всего, что мы сейчас переживаем? В конце концов произойдет большое возрождение — человек станет другим, он пройдет через многие испытания и закалится, станет сильным, не таким, как теперь. Чем шире бунт, тем глубже изменения. Надо только, чтобы побольше крови было, чтобы побольше смертей, покрепче бы их только припугнуть, сукиных сынов... Ты тоже боишься... Такая уж ваша судьба... Славин вот еще... Воевать надо, бить куда попадет... Мне совершенно безразлично, где ты будешь — там или здесь. Все равно одно дело делаем — бьем старый мир, бунтуем... Человек видит природу — жизнь и смерть, это хорошо...

Лесницкий жестом руки прервал его и с многозначительной улыбкой спросил:

— А сам-то ты не боишься?

— Я тоже боюсь, но не так. У меня страх перед смертью, а у вас перед жизнью. Вы страшитесь полной жизни. Вам нужны игрушки, а не жизнь.

Лесницкий не стал спорить. Перед ним многое прояснилось, и дальше уже тяжело было слушать Халиму. Страшная усталость переплелась с беспокойством, с тревожными мыслями о том, что делать дальше. Его душевное волнение никак не удавалось связать с предметом спора. Халима заметил это и предложил ему лечь спать, а сам куда-то вышел.

Проснулся Лесницкий под вечер. Халимы в комнате не было. Вернулся он позже, чем-то очень раздраженный, хмурый, и решительно заявил, что тоже пойдет в город.

— Надоело здесь, никакого интереса... Пойду — может увижу что-нибудь...

На следующий день после полудня они без особых приключений перебрались на тот берег Днепра и оказались в занятой поляками части города.

Халима с Лесницким условились встретиться на следующий день в десять часов утра в одном из городских скверов. Халима отправился искать себе другую квартиру (к Андрею идти он категорически отказался), а Лесницкий тем временем решил побродить по улицам, поглазеть на шумную городскую жизнь. Ночевать он намеревался пойти к Андрею.

Лесницкий был доволен, что остался один. В эти минуты хотелось целиком отдаться тем мягким и добрым чувствам, которые обычно всегда рождаются в душе при возвращении на старое, хорошо знакомое место. Хотелось тишины и покоя, хотелось, чтобы в растревоженной памяти беспрепятственно возникали светлые воспоминания. И еще хотелось в полной мере испытать жгучее чувство негодования, рождавшееся при мысли, что город захвачен пришельцами, что в нем сейчас господствует вражья сила — незнакомая и чужая, которой раньше не было здесь и духу. С особой силой это чувство возмущения проявилось при встрече с первым офицером польского корпуса.

Улицы города, полные солнца, тепла и весенних запахов, пестрели шумными толпами. Среди них время от времени мелькали улыбающиеся, самодовольные физиономии легионеров, которые жадно ловили любопытные взгляды обывателей, хотя и делали вид, что не обращают на них внимания. Легионеры умышленно громко и непринужденно вели беседы между собой, словно бы их совершенно не интересовало все происходящее вокруг. Вели они себя грубо и нахально, всякий раз стараясь подчеркнуть свой шляхетский гонор.

На одной из боковых улиц Лесницкий впереди увидел горделивого всадника в форме уланского офицера. Офицер

с высоко поднятым подбородком ехал по панели, кокетливо раскачиваясь на своем стройном жеребце. Все, кто шел навстречу, уступали ему дорогу. Лесницкий видел, как какой-то паренек не успел вовремя отойти в сторону,— офицер грациозно нагнулся, резким ударом плети полоснул мальчишку по спине и с довольной улыбкой поехал дальше.

Лесницкий замер как вкопанный, и так стоял, пока офицер не скрылся за ближайшим углом. Сначала было тяжелое, как гнет, удивление. Потом закипела в душе дикая ненависть, сжала горло болезненным спазмом, толкнула вперед. Он устремился вслед за всадником, пробежал целый квартал, сам не зная для чего. Затем, с трудом переводя дыхание, остановился и бессильно махнул рукой.

«Что ты с ним сделаешь!»

Еще с полчаса Лесницкий бесцельно слонялся по улицам. С каждой минутой его все больше и больше одолевала скука — давало себя знать одиночество. Глухая тоска подкрадывалась к сердцу. И вот как-то само по себе определилось дальнейшее направление,— он подался в сторону, где жила Раиса. Вначале не было и мысли проведать ее, просто хотелось пройти мимо ее дома, посмотреть на окна, оживить давнишние воспоминания. Однако с каждым шагом все больше крепло желание непременно сегодня же повидать ее, и разум, подчиненный этому чувству, послушно выискивал аргументы, которые укрепляли и поддерживали его решение, как вполне естественное и приличное.

Воображение стало рисовать яркие, полные острого драматизма картины возможной встречи. Быть может, она сразу и не узнает его, начнет вглядываться в его лицо, удивленно поведет головой, бровями. А потом заулыбается, наверняка заулыбается, точно так, как при первой встрече,— с гордой приветливостью, с милым, только ей одной свойственным кокетством. Потом они присядут на широком мягком диване, и он начнет рассказывать о своих последних злоключениях. Она будет искренне удивляться и смотреть на него с нескрываемым умилением. Разумеется, он не упустит случая рассказать и о том, как в минуту самого страшного испытания он вспоминал о ней. И вообще сегодня обязательно признается ей в любви. Ведь это и так ясно, зачем же молчать. После долгой разлуки его признание прозвучит весьма кстати...

— А может ее нет в городе?

Опасение это сразу охладило его разгоряченную голову. Оно перешло в тревогу, тревога росла, ширилась и наконец захватила все его существо. Лесницкий невольно ускорил шаг, словно боялся опоздать, боялся упустить возможное счастье.

Вот и знакомый красивый дом, в котором она живет. Широкие окна отражают солнечные лучи, отражают живо, приветливо, но и с какой-то притаенной хитростью — никак не

узнать, что там происходит внутри, за толстыми глухими стенами.

Что его ожидает в этом красивом светлом доме?

Открыла ему незнакомая девушка, вероятно, служанка. Ничего не спросив, пропустила в переднюю. Лесницкий первый обратился к ней:

— Раиса Андреевна дома?

— Сейчас.

Она прошла в ту самую дверь, куда когда-то, в первый его приход, поплыла монументальная тетушка. Через дверной проем навстречу Лесницкому вырвался веселый звон бокалов и шумные голоса. В глаза бросились широкие офицерские погоны.

Вышел к Лесницкому почему-то Карл, серьезный, нахмуренный и не совсем твердым голосом вяло спросил:

— Что скажете? Вам по делу нужна Раиса Андреевна или вообще?..

Лесницкий раздраженно подчеркнул:

— Не вообще, а по делу Раису Андреевну.

— Вы кто такой?

— Передайте, что ее хочет видеть Лесницкий.

— Хорошо, сейчас.

Лесницкому показалось, что, когда Карл приоткрыл дверь в зал, там звенел веселый, задорный смех Раисы. Через минуту дверь снова отворилась и навстречу опять вышел Карл.

— Раиса Андреевна просила вас прийти завтра в двенадцать часов.

Лесницкий, непонятно почему, переспросил, как школьник:

— Когда?

— В двенадцать часов.

Ему ничего больше не оставалось, как молча повернуться и уйти.

Все тело пронзила горькая обида, она неожиданной тяжестью навалилась на плечи, захватила дыхание. В ушах все еще стоял звон посуды и шумный говор гостей, а также густой сиплый голос хмурого Карла и беззаботный хохот Раисы. Хотелось плакать — и заплакал бы где-нибудь в уединении, может быть, легче стало бы на сердце.

«Как же это так? Называется, встретились!.. Завтра в двенадцать часов...»

Нет уж, завтра он не пойдет, это точно. Но как унять душевную боль, обиду эту и стыд? Чтобы не думать, забыть обо всем. Где там! Все проходит стороной, ничего не задерживается в голове, только вот это горькое, болезненное...

Усилием воли пытается Лесницкий вызвать в своем воображении образ тихой, покорной Мокрины. Быть может он внесет свежую струю в его мысли и направит их в новое русло. Мокрина вспоминается смутно, неясно, без внутреннего

волнения — какой-то неинтересной, серой, будничной. Не то, что Раиса. Ее образ неотступно стоит перед глазами — сияет ярким светом, неповторимой красой, влечет к себе все мысли и чувства. То, что произошло у нее в доме, начинает казаться черным, зловещим сном, каким-то дьявольским наваждением, случайно принесенным откуда-то со стороны. Оно медленно, но властно начинает сливаться с надменным форсом легионеров, с плетью спесивого офицера на лошади — и невольно рождает внутри чувство гнева и глухой ненависти. Обида и стыд отступают на второй план и от этого вроде бы чуть легче, мысли становятся легкими, живыми; где-то в глубине души оживает жажда мести за злодеяние и оскорбление.

Лесницкий не спеша направился в безлюдный, еще не прибранный после зимы, городской сад, сел у высокой кручи, под которой, облепленный крохотными хатками, расстилал зеркальное лоно седой Днепр, и в мирном уединении отдался тихим мыслям, которые медленно рассеивали мрачное настроение. Пробыл он там до самого вечера и уходил домой то ли немного успокоенным, то ли просто уставшим от пережитой душевной травмы.

Уже у самого порога, где жил Андрей, Лесницкий вдруг почувствовал странное и необъяснимое волнение.

«Неужели и здесь подстерегает какая-нибудь неприятность?»

Но тут же овладел собой, улыбнулся.

«Пуганая ворона и куста боится».

И постучал в дверь с веселой бодростью и спокойным сердцем.

— Кто там?

Лесницкий узнал голос Нины и откликнулся, немного удивленный тем, что она, не открыв, спрашивает. Раньше никогда этого не было. Нина сразу отбросила щеколду и еще из-за двери с напускной обидой заговорила:

— Такого гостя, конечно, впустить надо, хотя он этого и не заслуживает, совсем от рук отбился. Ладно уж, проходите... Наверное, забыли, где и дверь-то у нас, не правда ли?

В комнате, где когда-то жил Лесницкий, горела лампа с голубым абажуром, она бросала на стол ровный круг мягкого, теплого света. На столе скомканной кучей лежало какое-то шитье. В комнате, кроме Нины, никого больше не было.

Лесницкий вошел и остановился в растерянности — не знал, то ли начать расспрашивать о житье-бытье, то ли подождать, когда она сама заговорит. Нина поняла это и первая нарушила неловкое молчание.

— Отца уже нету, помер. Я живу совсем одна — в этой комнате. Здесь самое уютное место.

— А как Андрей?

Нина ответила не сразу, казалось, она подбирала нужные ей слова.

— Андрей тут живет, в городе... Только на другой квартире...

Потом, заметив на лице Лесницкого еще большее недоумение, махнула рукой.

— Так и быть, объясню уже все подробно. Андрей скрывается, потому что его разыскивают. Он один из руководителей нашей подпольной организации. А вот здесь вы видите тот самый пересылочный пункт, через который только и можно к нему попасть. Заведую этим пунктом — я. Понимаете? А сейчас разрешите спросить у вас: вы хотите есть? Правда, без самовара я все равно не смогу вас покормить. Поэтому давайте сначала поставим самовар...

Лесницкому не терпелось еще кое о чем спросить, однако он не отваживался. Решил лучше подождать, когда сама скажет или может позже невзначай завести разговор. Однако Нина не долго испытывала его терпение. Видно, только из деликатности и не стала ему сразу говорить. Копаясь возле самовара, она сделала вид, будто случайно вспомнила:

— Да, тут недавно была ваша землячка — Мокрина, она какое-то время работала на трепальне. Всего несколько дней как уехала в деревню.

— Домой?

— Нет, здесь недалеко — верст пятнадцать или двадцать. Поступила куда-то на службу.

Лесницкий с удивлением заметил, что это сообщение не произвело на него почти никакого впечатления. Сейчас ему было решительно все равно — повидать Мокрину или нет.

Нина, кончив возиться с самоваром, села за стол и принялась за свое шитье. Лесницкий сделал было попытку рассматривать ее со стороны, но она сразу это заметила и, весело улыбаясь, подняла на него свои ласковые серые глаза.

— Что вы уставились на меня? Старая уже стала, некрасивая... не на что и смотреть...

Лесницкий хотел было возразить, но увидел, что так оно и есть на самом деле. Только приличия ради сказал:

— Нет, нет... Совсем не старая. Даже ничуть не похудели...

Нина расхохоталась.

— Какой вы смешной, Лесницкий! Разве вы не видите, что я беременная... Через два месяца у меня будет ребенок...

Последние слова она произнесла с чувством нескрываемой радости и гордости. Потом, увидев в глазах Лесницкого молчаливое любопытство, твердо и поспешно произнесла:

— Вы хотите знать, замужем ли я? Я жила с Халимой, это будет его ребенок. Да, я любила его — вы разве не заметили этого?..

Нина умолкла и опять склонилась над своим шитьем.

Внешне она выглядела совершенно спокойной, а может быть только делала вид. Лесницкий не знал, как ему быть: то ли жалеть ее, то ли, наоборот, проникнуться искренним и глубоким уважением. Слова ее ужасно его поразили. Перед ним встала тень какой-то страшной драмы, а может, комедии, но так или иначе — чего-то необыкновенного, трогательного. Он еще раньше знал, что за спокойной уравновешенной внешностью этой девушки скрывается большая душевная сила, и эта сила вдруг потянула к себе своей таинственностью, своим глубоко затаенным движением. Ему захотелось услышать от нее что-то наподобие исповеди, и он ласково попросил:

— Нина! Знаете что... Расскажите мне об этом, расскажите о своей жизни... если, конечно, можно и если вам не будет тяжело от этого... Давайте поговорим по душам, как — помните? — когда-то раньше.

Нина улыбнулась.

— Я, наверное, не смогу вам про многое рассказать, потому что просто не умею... про свое, личное... Да и не о чем... Ну, случилось то, что случается с каждым. Я полюбила его, а любил ли он меня, я, к сожалению, и теперь не знаю. Ну, что... рассказать вам, как люди любят друг друга? Вы, кажется, знаете об этом не меньше меня... (Она многозначительно улыбнулась). Смотрела я на все это совсем просто и ничуть не каюсь... Я сама хотела, чтобы у нас был малыш... у нас никакого не было обмана... понимаете?.. А потом... потом он стал совсем другим... убежал... изменил... Теперь нам не по дороге... он мне стал противен и ненавистен. И я его всегда буду ненавидеть. Ребенка же буду воспитывать. Я уже сейчас чувствую к нему материнскую привязанность... Когда вырастет, расскажу ему про отца все, что буду знать сама. А может он и не заинтересуется этим, как вы думаете, Лесницкий?

Вместо ответа Лесницкий спросил:

— Вы не знаете, где сейчас Славин?

Нина рассмеялась:

— Вы, видно, хотите узнать, что я к нему питала... Ха-ха-ха! Он все-таки не выдержал и признался мне в любви. Славин очень добрый и чуткий — мне искренне жаль его. Знаете что? Я всей душой хотела его полюбить... Может я и сейчас стараюсь это сделать... Вам смешно? Но я уже одного достигла: очень хочу, чтобы он был счастлив, чтобы не был таким... никчемным... А где сейчас — не знаю. Он уехал вскоре после того, как вы уехали... Вот... Но теперь не до этого. Теперь надо думать о революции — борьба идет не на жизнь, а на смерть...

Эти слова Нины особенно удивили Лесницкого. В них не было и тени напыщенности, аффектации. Она произнесла их

просто, от души. По всему было видно, что речь шла о дорогом и близком сердцу деле.

В это время зашумел самовар. Нина спокойно улыбнулась Лесницкому, словно дала понять, что все это скорее забавно, чем серьезно, и пошла готовить чай.

В тот вечер они долго сидели вдвоем в ее небольшой уютной комнатушке, связанные теплой товарищеской близостью, и открывали друг другу потаенные страницы личной жизни. Лесницкий рассказал о своих последних злоключениях и пережитых ужасах, о том, что он испытал здесь, в городе, высказал и ненависть, которая с особой силой вспыхнула в его груди после всего увиденного. Об одном только умолчал — о неудавшемся визите к Раисе; и еще: вместо Халимы вставил в свой рассказ имя знакомого парня — не хотел еще больше терзать сердце Нины.

Нина внимательно выслушала Лесницкого и, когда он кончил, сказала:

— Вы — странный какой-то человек, Лесницкий. У вас замечается один интересный штрих в характере, видно, типично отцовский, крестьянский. Вы верите только в то, что собственными глазами увидите и собственными руками пощупаете. Именно таким странным вы выглядите со своим наивным возмущением. Мы все уже давно привыкли смотреть на подобные вещи с твердым сердцем и ищем корень зла, ищем подлинную причину людских бед; на одних эмоциях далеко не уедешь.

Лесницкому даже неловко стало, что она разговаривает с ним, как с ребенком, что она чувствует себя более подкованной в таких серьезных вопросах. Однако это первое неприятное впечатление сразу же отступило перед искренней доверительностью, с которой она вела беседу. Он даже сам потом задавал ей вопросы, просил объяснить не совсем ясные вещи.

Лесницкий остался ночевать у Нины. Она с шутливым недовольством уступила ему его бывшую комнату, а сама перешла в соседнюю. Укладывался он спать с чувством душевного покоя и каких-то очень светлых радостных надежд. Уже засыпая, еще раз твердо и решительно сказал себе:

«К Раисе завтра не пойду!»

К десяти часам Лесницкий явился на условленное место — в городской сквер. Халиму он с трудом узнал — на нем не было вчерашней одежды, из грозного текинца он превратился то ли в рабочего, то ли в обнищавшего мещанина (пиджак, синяя сорочка, высокие, сильно истоптанные сапоги, измятая старая шапка). Халима выглядел смешным и неуклюжим,— бросался в глаза его длинный нос, запавшие щеки, узкий сморщенный лоб.

Лесницкий спросил у Халимы, где он остановился. Тот только рукой махнул.

— Как тебе сказать... У одного жулика с рынка, по имени Шмуйл... Чистый дьявол... Но, несмотря на это, дочь у него, скажу тебе,— настоящая красавица. К ней было прицепился один вояка из высоких панских легионов. За то, что я смазал ему кулаком по физиономии, Шмуйл с полным основанием реализовал мою черкеску и вместо нее купил вот этот костюм. В результате обмена имею еще в кармане несколько свободных монет.

— Значит, успел уже набуянить?

— Кажется, все обойдется. У храброго вояки был такой вид, что он наверняка не захочет больше иметь дело ни со мной, ни с дочерью моего приятеля.

Лесницкий с Халимой заняли очень удобную скамейку, откуда хорошо было видно уличное движение, и повели оживленный разговор. У Халимы, видно, было неплохое настроение, он все время непринужденно болтал и даже пробовал шутить. Лесницкий вначале смеялся, потом перестал, слушал собеседника невнимательно, а вскоре и вовсе стал думать о другом. Чем ближе подходило время к двенадцати, тем чаще и с большей настойчивостью он повторял мысленно:

«К Раисе ни за что не пойду. Было бы непростительным унижением, это бы показало, что у меня нет никакой гордости, что я тряпка — и ничего больше».

Когда же стрелки часов показали без пяти минут двенадцать, Лесницкий неожиданно для самого себя поднялся и нетвердым голосом сказал Халиме:

— Я должен сейчас сходить в одно место, может, на полчаса или час. Где встретимся?

Халима удивленно посмотрел на него, наверное, хотел спросить, куда тот вдруг заспешил, но по глазам Лесницкого понял: никаких вопросов задавать не надо, и сделал безразличный вид.

— Приходи туда, где я остановился. Я скоро тоже туда явлюсь.

Халима сказал адрес. Лесницкий, волнуясь, как бы не опоздать, поспешно направился к Раисе. Всю дорогу его неотступно преследовали злые, докучливые мысли, он изо всех сил старался их отогнать, только бы не чувствовать своей слабости и унижения, не растравлять еще больше душу. Теперь он был уверен — все равно пошел бы, в любом случае, несмотря ни на какие предыдущие решения.

Он вошел в дом очень взволнованный, с неспокойным сердцем, с чувством какой-то неприятной, пугливой неопределенности. Раиса встретила его в своей комнате. Она была не одна — рядом находился еще дядюшка Мика (веселый, блестяще-слащавый волчок), они о чем-то оживленно беседовали.

На Раисе было темное гладкое платье, которое придавало ее красоте известную строгость и официальность. Она мило улыбнулась Лесницкому и с томной важностью протянула свою оголенную руку. Лесницкий пожал руку не совсем изящно и уверенно — он продолжал смотреть на нее, удивленный холодным, безжизненным блеском ее мраморного лица. Потом поздоровался с Микой и вдруг почувствовал в глубине души омерзение и неприязнь к этому человеку. Казалось, имей он достаточно смелости, не задумываясь вышвырнул бы его за дверь — до такой степени нежелательным он был здесь в эту минуту.

Раиса пригласила Лесницкого сесть, задала ему для приличия несколько вопросов и вернулась к прерванной беседе с дядюшкой. Лесницкий сидел в каком-то глупом молчаливом одиночестве, угнетенный непривычной для него обстановкой, озадаченный холодностью Раисы. Но довольно скоро успокоился, предполагая, что она сознательно уделяет много внимания дядюшке, чтобы поскорее выпроводить его, ибо только при нем вынуждена держать себя подчеркнуто официально. И он терпеливо стал дожидаться конца их беседы, украдкой любуясь Раисой и утешая себя мыслью о возможной близости и полном взаимопонимании, которое вне всякого сомнения установится между ними, когда они останутся одни.

Разглядывая тонко обозначенную шелковыми складками фигуру Раисы, знакомые черты ее красивого лица, Лесницкий с воспаленной горячностью восстанавливал в памяти счастливые минуты, когда он обнимал этот прекрасный гордый стан, когда целовал эти трепетные уста, ощущал их сладостный жар, от которого все существо начинало искриться желанными надеждами и кипеть кровь в груди. Даже на миг он не представлял, что все это может уйти в небытие, раствориться, не покинув никаких следов, остаться за глухой стеной безразличия и забывчивости. Нет, нет, это все временно, все это вот-вот кончится. Еще немного и она ласково заулыбается — не так, как при встрече,— в ее глазах вновь игриво засверкают зеленые огоньки и, беспрепятственно проникнув в душу, разогреют ее веселым искристым соблазном. Она снова будет улыбаться, будет подтрунивать над ним, а он как бы шутя скажет ей о своей любви. Как она воспримет его признания?

И Лесницкий напряженно следит за их беседой — скоро ли закончат? — и с каждой минутой все больше ожесточается против слащаво-блестящего волчка, его плоских шуточек, аристократически-пренебрежительных гримас и тошнотворного медоточивого сюсюканья. Что ему нужно? Чего он сидит здесь сиднем?

Вдруг Раиса прервала беседу, глянула на часы и, встав с кресла, сказала:

— Ну, я пошла в город. Дядюшка Мика, вы пойдете меня провожать?

Дядюшка Мика, исполненный самой решительной готовности, вскочил со стула. Лесницкий тоже поднялся и как бы застыл в полном недоумении.

«Как же так? Неужели все? Неужели конец? Как же теперь... сказать — прощайте! — и уйти? Посидел тихо и пошел... законченный дурак... молчаливый вздыхатель... Сгореть от стыда можно... Нет, этого нельзя допустить...»

И он решительно обратился к Раисе:

— Раиса Андреевна! Я хочу поговорить с вами один на один...

Голос Лесницкого прозвучал глухо, нетвердо и сразу же выдал его волнение. Раиса удивленно повернулась к нему.

— Со мной? Это не много займет время?

— Всего несколько слов.

Дядюшка Мика деликатно заволновался:

— Я вас, кошечка, подожду у крыльца.

А Лесницкий в этот момент с мучительной поспешностью подбирал эти «несколько слов» и никак не находил подходящих. С ужасом подумал, что не будет чего сказать — получится смешно и глупо, стыда не оберешься. Как ножом полоснула укоризненная мысль:

«Зачем все это? Кому это надо? Как я допустил еще одну непростительную глупость?»

Раиса нетерпеливо ждала. Он видел это и еще больше волновался — еще мучительнее одолевали его беспокойные мысли. Она поторопила:

— Ну так что вы хотели сказать, Василь Данилович?

Лесницкий наконец нарушил тяжелое молчание; он ужасно нервничал, спешил, с трудом подбирал нужные слова и от этого еще больше терялся.

— Я хотел сказать... Раиса Андреевна... мне очень тяжело стало... вы встретили меня не так... вы — совсем как-то официально, холодно... Я думал, мы с вами встретимся, как приятели... ну, как хорошие знакомые... Я очень хотел с вами повидаться, думал долго об этом... все время надеялся и ждал...

Раиса слушала его со спокойной мягкой улыбкой. Когда же он слишком затянул, подыскивая какое-то слово, она тактично заметила:

— Я совсем не хотела вас обидеть, Василь Данилович, и мне кажется, вы напрасно на меня сетуете... Если же действительно с моей стороны была допущена какая-либо нетактичность, я прошу извинить меня, это в моем характере нарушать условности.

Лесницкий окончательно растерялся. Он не знал, что дальше говорить. Раиса связала его своей казенной вежливостью, своим упорным нежеланием касаться всего, что могло

бы как-то их сблизить. Прошла минута тягостного молчания. Раиса сделала едва заметное нетерпеливое движение в сторону, где находилась дверь. Лесницкий уловил это движение и с последним отчаянным усилием произнес:

— Вы преднамеренно говорите не то что надо. Вы все хорошо понимаете, только делаете вид, что не понимаете... Вы, наверное, хотите забыть обо всем, что было между нами раньше...

Она придала своему голосу тон шутливого упрека.

— Василь Данилович, как вам не стыдно... Что вы хотите этим сказать? Между нами, кажется, ничего не было, кроме невинных шуток, не так ли? Честное слово, вы меня хотите рассердить.

Лесницкий весь запылал, заволновался.

— Неправда! Было. Много чего было... Вы прежде не были такой, как сейчас... Вы... вы сами сделали так, чтобы я полюбил вас... Да, да, именно так... И я полюбил... Я и пришел к вам только потому, что люблю вас... Вы меня ужасно мучите, Раиса Андреевна... Вы очень жестоко поступаете со мной...

А Раиса все улыбалась. Она ответила ему, игриво блеснув глазами:

— Если б вы любили, Василь Данилович, вы не стали бы меня задерживать в то время, когда меня ждут, не огорчали бы. От тех, кто меня любит, я требую самого внимательного отношения к себе. Как видите, дядюшка Мика несравненно тоньше проявляет свою любовь. Дядюшка Мика! Вы здесь?..

Лесницкий понял наконец, что пора кончать. Он в последний раз глянул на Раису горячими, полными обиды и боли глазами. Она уловила его взгляд и улыбнулась с веселым самодовольным кокетством. Лесницкий глухо и мрачно произнес:

— Прощайте, Раиса Андреевна... Навсегда...

— Прощайте!

Он быстро, раньше ее, покинул дом. На крыльце стоял Мика и улыбался Лесницкому с презрительным сочувствием.

«Зачем я сказал «навсегда»? Почему — «навсегда»? Навсегда... навсегда... ох, какой же я дурак, какой дурак... дурак... дурак...»

От отчаяния хотелось вцепиться в собственные волосы или сильно-сильно укусить себя за палец. Зачем разыграл всю эту комедию? Почему так глупо поддался чувству, так раскис? Она, хохоча, рассказывает этому толстобрюхому идиоту, как боязливо и нерешительно признавался ей в любви наивный крестьянский парень — ее случайный знакомый,— как с комичным трагизмом сказал ей — прощайте... навсегда... А тот с животным самодовольством смеется — рох-рох-рох —

и чувствует свое несравненное превосходство, и — идиот, еще жалеет его, сюсюкает слащавым своим голоском:

«Несчастный парень. Он, видно, бесконечно предан вам, кошечка моя. Мне его жаль было еще тогда, когда впервые встретил у вас дома. Это, наверное, открытая и экзальтированная натура. Такие индивидуумы иногда встречаются среди нашего крестьянства».

У-у-у, свинья!

Зло на самого себя переходит на лысого ожиревшего Мику, а с Мики на всех лысых и ожиревших. Вспоминается вчерашний офицер, гладкие надменно-спесивые физиономии легионеров, вспоминается Карл, старый помещик, высоченная тетушка Раисы,— все они сливаются в одно лицо — чужое, ненавистное, в один отвратительный мир, в который он было заглянул, полный чистых, искренних чувств. А его с насмешками и презрением вышвырнули оттуда да еще больно прихлопнули дверью.

Зачем он полез туда, в это мерзкое логовище, где его ненавидят, где его никогда не назовут «настоящим» человеком!

Лесницкий рад, что в душе у него растет, ширится одна кипучая ненависть — он сознательно дает ей простор, волю. Он с вызывающей смелостью бросает на встречных легионеров полные презрения взгляды, никому не намеревается уступить дорогу, умышленно ищет причину с кем-нибудь вступить в самый жаркий спор. Он бы охотно сейчас ввязался в самую отчаянную и безрассудную драку, с огромным удовольствием вцепился бы в чью-нибудь холеную физиономию. Но, как на зло, навстречу попадаются самые тихие и милые горожане, которые, даже заметив его воинственную готовность, не помышляют чем-либо обидеть, наоборот, бросают на него удивленные взгляды и деликатно уступают дорогу.

Лесницкий мало-помалу успокаивается, на сердце остается лишь какой-то неприятный осадок — то ли недовольство, то ли отвращение, то ли беспокойное и болезненное раскаяние. На мгновение перед мысленным взором всплывает прошлое, незабываемо-приятное (может, ночь в спокойном покачивании вагона?), вспоминается ласковая, как кошечка, Раиса, ее голос, дрожащий от холода:

«Вася! Согрей меня... обними...»

Глубокая щемящая боль пронизывает сердце, и мозг гнетет неотступная мысль о том, что безвозвратно что-то упущено — что-то очень дорогое и неповторимое. Поэтому, чтобы как-то избавиться от этого неприятного чувства, Лесницкий снова начинает распалять себя,— как ни странно, это очень хорошо ему помогает.

Лесницкий направился к Халиме. Он довольно быстро разыскал нужный дом и хозяина Шмуйла. Шмуйл вначале спросил у Лесницкого его имя, потом жалостно поохал и кликнул в соседнюю комнату:

— Сора! Подай товарищу записку, которая лежит под большим фикусом на среднем окне.

Записку принесла красивая дочь хозяина — со следами слез на черно-бархатистых глазах. Лесницкий тут же развернул записку и прочел:

«Я буду ждать тебя до двух часов на рынке».

Лесницкий посмотрел на часы — без четверти два. Ничего больше не сказав хозяину, вышел из дому и, что было силы, поспешил в сторону рынка.

Халиму он нашел на одной из крестьянских телег. Тот лежал на соломе рядом с огромным боровом и, попыхивая цигаркой, молча смотрел в безоблачное, яркое от полуденного солнца, небо. Лесницкий и узнал-то его, пожалуй, только по хорошо знакомой ему раскинутой позе.

Халима в нескольких словах объяснил, что с ним произошло:

— Вышло так, что мой крестник не успокоился и натравил целый отряд легионеров, которые и собирались меня арестовать. Но мне удалось скрыться, и вот я сейчас намереваюсь отправиться к своему дядюшке, благо встретил знакомого крестьянина из соседнего села. Да вот еще забота — надо продать этого красавца.

Халима ласково похлопал по жирной шее борова и тут же, увидев неподалеку какого-то мещанина, зычным голосом затянул:

— Продаю кабана... Варшавского завода, шляхетского рода... Откормленного, жирного, одно сало — нет ни костей, ни мозгов... Вот он, вот он, смотрите! Настоящий полковник!..

Лесницкого осенила неожиданная мысль. Он резким жестом прервал Халимовы стенания и спросил:

— Послушай меня, Халима! Нельзя ли мне с тобою поехать?

Халима удивленно посмотрел на него.

— А ты от кого бежишь?

— От одного внутреннего врага. Потом обо всем расскажу...

И Лесницкий болезненно, криво улыбнулся. Халима встал, приложил палец к носу, что-то прикидывая в уме, и решительно хлопнул Лесницкого по плечу:

— Айда! Поехали.

Через минуту-две подошел крестьянин — привел с собою двоих купцов. Начался горячий торг, в котором самое активное участие принял и Халима.

В село, где жил знакомый Халимы, приехали поздно вечером. К дядьке же надо было еще идти пешком верст восемь, поэтому решили переночевать. В путь тронулись утром, на рассвете.

Всю дорогу, особенно теперь, когда они полусаженными

шагами мерили покрытую пушистой пылью дорогу, когда на полную грудь вдыхали ароматную свежесть росистого утра и когда по всему телу животворящей силой разливалась ласка веселого солнца,— Лесницкий ощущал необыкновенную легкость, какое-то хмельное воодушевление, безбрежный радостный порыв. Все, что было пережито за последние дни, осталось туманным сном где-то далеко-далеко сзади. А если подчас и вспоминалось, все равно не ложилось тяжелым камнем на сердце, только рождало инстинктивное желание безостановочно идти вперед, все дальше и дальше, чтобы навсегда уйти от этой неприятной житейской суеты.

Возле хаты, где жил дядька Халимы, громко шумела людская толпа, играла музыка и плотной серой тучей поднималась пыль,— видно, до седьмого пота танцевала молодежь. Халима подошел к группе сельчан, стоявшей чуть в стороне, спросил у первого попавшегося мальчишки:

— Что здесь за гульбище?

Мальчишка удивленно вытаращил глаза.

— Какое гульбище? Это же свадьба у них здесь.

— А кто женится?

— Вот здорово... Разве вы не знаете? Филипп свою дочь отдает — Арину.

Халима радостно толкнул Лесницкого.

— Слышишь? У дядьки свадьба... Значит, гульнем!

И Лесницкому действительно стало радостно на душе, что у дядьки свадьба. И повеселиться захотелось, да так, чтоб всем чертям тошно стало на том свете.

Они протиснулись сквозь толпу и зашли в хату. В густой липкой духоте, в тучах табачного дыма толпилась масса людей — больше всего молодежи. В красном углу, казалось, где-то далеко-далеко (а хата была всего аршин девять), за широким столом плотно сидели гости. Там стоял пьяный гомон и смех. Там ярким пунцовым маком цвела счастливая невеста.

Халима протиснулся к столу и молча остановился — серьезный, даже нахмуренный — ждал, чтобы на него обратили внимание. Вначале Халиму никто и не заметил, потом некоторые стали скользить по нему хмельными, рассеянными взглядами. И вот наконец сквозь пелену сизого табачного дыма Халима был опознан юркой остроносой сватьей.

— Батюшки мои! Кто это? Филипп! Филипп! Да ведь это же твой родной племянник!

Дальше все переплелось в каком-то беспорядочном, сумбурном хаосе. Кто-то что-то кричал, кто-то кого-то обнимал и целовал. В этот всеобщий ералаш попал и Лесницкий. Он и оглянуться не успел, как очутился за столом рядом с широкоплечим кряжистым матросом — раскрасневшимся и добродушным от выпитой водки. Сватьи в честь новых гостей дружно затянули свадебную песню. Им вразнобой стали под-

тягивать все остальные, сидевшие за столом. Лесницкий, еще и не приложившись к рюмке, почувствовал себя захмелевшим. Потом ему поднесли большую вместительную чарку, и он осушил ее с лихой удалью, чем и заслужил дружную похвалу соседей.

Матрос целиком завладел вниманием Лесницкого и вовлек его в бесконечный пьяный разговор. Он все наклонялся к уху Лесницкого и шептал с многозначительным видом:

— Братец... Мы вот пьем, гуляем... а почему? Потому, что отдаем Арину? Это чепуха... Может потому, что вы приехали? Молодцы, ребята, это замечательно. Но почему все-таки пьем — догадываешься? Знаешь? Горе наше пьет... вот... О-о-о, сволочи... Ты не представляешь, что творится кругом. Эх, братец... как тебя зовут-то... да, да, Василь... Василь?.. Душа ноет... Сожгли целые деревни, рубят, бьют, стреляют... Забирают все, что попадается под руку... Вот, Василь, что творится... А почему? Потому, что силенок мало, нет как защитить... Ты их не видел? Приедут, может, и сегодня еще явятся. Вот если б это ребят с полсотни,— быстро бы я закрутил им хохлы... А может еще и закрутим... Ты свой... я не боюсь тебя... Если хочешь, можешь пойти к нам... Что? Боишься... Но ничего, время еще есть, потом подумаешь... А сейчас выпей...

Лесницкий выпил еще одну чарку, затем еще и еще... В голове зашумело, глаза стали тяжелыми, неповоротливыми — все кругом закрутилось в живом стремительном танце. Хочется говорить и смеяться. Матрос кажется ему необыкновенно симпатичным человеком, добрым и милым, надо с ним обязательно поцеловаться.

А матрос тем временем продолжает что-то шептать на ухо. Один другого мало слушают, лишь головами покачивают. Но, как только Лесницкий заговорил про большевиков и упомянул имя Андрея, тот сразу уставился на него.

— Ты его знаешь?

Лесницкий сказал, как знает Андрея. Тогда матрос вошел в какую-то дикую экзальтацию. Он схватил Лесницкого за плечи, обнял, стал целовать.

— Братец! Василек! Так ты с ним знаком? Жил с ним под одной крышей? Черт тебя задери! Вот это здорово! Это же дьявол, а не человек. Он же был здесь... Да я... подай мне его сюда, чертяку. Ведь я готов за него, баламута, и в огонь и в воду, куда хочешь... Андрей такой — он любого проймет... Это же он всех нас зажег...

Потом снова зашептал над ухом:

— Я тоже большевик, да, да... Я тебе все скажу... я тебе верю, потому как Андрей... До чего же славный парень... Давай-ка за него по чарке возьмем... Выпьем, Василь, за Андрея...

Пили еще. Много раз целовались, хлопали друг друга по

спине. Затем матрос совсем расчувствовался и решил немедленно познакомить Лесницкого со своей девушкой. Позвал ее:

— Анна! Аннушка! Аннушка! Встань передо мной, как лист перед травой! Телушечка моя!

Откуда-то вынырнула и подошла, застенчиво улыбаясь, полная симпатичная девушка. Матрос обнял ее, прижал к своей груди.

— Вот моя телушечка... Видишь, Василь? Ну как, нравится? Хочешь поцеловаться с ней? Целуйся... Ну?.. Еще, еще...

Лесницкому девушка очень понравилась, и он охотно с ней целовался. Она была чуть под хмельком и, очевидно, поэтому уже со второго раза горячо отвечала на поцелуи — губы ее стали мягкими и податливыми, в глазах засветился похотливый огонек. Когда же Лесницкий, как бы невзначай, прикоснулся рукой к ее очаровательной пышной груди, матрос вдруг ужасно рассвирепел, закричал на всю хату и уже было вознамерился ответить на эту вольность Лесницкого ударом мощного своего кулака. Однако Лесницкий оставался невозмутимым. Он тут же бросился матросу на шею и стал его лобызать с таким же пылом, как и его невесту. Это придало инциденту совершенно другое, мирное направление. Матрос сразу остыл и предложил выпить — и все трое осушили по рюмке.

Веселье продолжалось бы без перерыва весь день, если б не случай, неожиданно всколыхнувший всю деревню, нарушивший спокойное течение ее жизни. Все началось с того, что часа в четыре пополудни в село нагрянули поляки (слова матроса таки подтвердились). Весть об этом мигом облетела все хаты. Не обошла стороной она и хату дядьки Филиппа. Гости забеспокоились, сразу прекратились песни и шутки, каждый старался побыстрее передать соседу тревожную новость:

— Начали трясти с того конца — ищут большевиков, оружие. Ломают, крушат все, что попадает на глаза. Все лучшее забирают и грузят на телеги. Если кто оказывает сопротивление — избивают плетьми...

Матрос, услышав о вероломстве поляков, изо всей силы громыхнул кулаком по столу.

— Довольно терпеть! Попили нашей крови... Время и поговорить с ними... Пошли, ребята!

Его пытались задержать — знали, натворит беды, но все попытки оказались тщетными. Матрос широко махнул руками (сильный, как вол), и все рассыпались по сторонам.

Лесницкий ни на шаг не отставал от него. От выпитой водки, от страстных призывных матросских слов да еще от быстрого бега в груди у Лесницкого бушевало безбрежное море ненависти, готовое толкнуть его на любое безрассудное действие.

Возле одной из хат уже собралась довольно большая тол-

па. Ворота во двор были закрыты, а перед калиткой стоял солдат с винтовкой наперевес и отгонял народ. Матроса сразу пропустили вперед, а за ним прошел и Лесницкий. Они подошли к солдату, возле которого уже стоял, широко расставив ноги, Халима и то ли спорил, то ли дразнился с поляком. В глубине двора слышен был шум, какой-то треск, женский плач и тихий мужской стон.

Матрос вплотную приблизился к охраннику и, с трудом сдерживая ярость, крикнул:

— А ну-ка пропусти!..

Солдат молча навел на него винтовку. Матрос остановился.

— Ты что это, стрелять вздумал? Хочешь убить, да? Думаешь, это тебе так пройдет? Сейчас же пропусти, слышишь, что говорят?

В это время отворилась калитка и показался офицер — видно, старший в группе — высокий мужчина с узким лицом, на котором в презрительной гримасе шевелились усики и тупо плавали масляные кошачьи глазки. В руке он держал наган.

— Что здесь происходит? Чего собрались толпой, а? Разойдись!

Матрос не тронулся с места. Стоял, как каменная скала. Затем грозным тоном произнес:

— Что здесь ищешь? Что потерял в этом доме?..

— Разойдись, а то прикажу стрелять! Сейчас же расходись по домам!

— Что здесь потерял, спрашиваю?

— Разойдись! Солдаты, ко мне!

И в этот миг произошло совершенно неожиданное. Матрос ловко выхватил из кармана револьвер и в упор выстрелил в офицера. Тот взмахнул руками, судорожно глотнул несколько раз воздух и осел на землю. Побелевший от ужаса солдат неуверенным движением навел на матроса винтовку, но выстрелить не успел,— Халима, незаметно подкравшийся сзади, резким движением поднял вверх винтовку и потом без особых усилий отобрал ее.

Матрос громко крикнул:

— За мной!

Озлобленные люди ворвались во двор. Кто-то стрелял, кто-то дико кричал. Поднялся страшный шум. Разъяренная толпа оттеснила Лесницкого к огороду, и тогда он увидел, как уже далеко, возле самых гумен, бежали обезумевшие от страха поляки. Они на ходу бросали оружие. Один из них, перелезая через прясло, зацепился за что-то и упал. Подбежавшая женщина стала усердно колотить его коромыслом. С большим трудом удалось мародеру вырваться из-под града ударов,— вскочив на ноги, он что было силы помчался по полю догонять своих храбрых вояк.

В толпе поднялся хохот. За поляками дальше не погнались, все оживленно обменивались шутками и своими впечатлениями. Затем не спеша вернулись на улицу и, обступив матроса плотным кольцом, стали совещаться, что делать дальше. Решили отнести убитого офицера за околицу и бросить в какой-нибудь ров, а матросу посоветовали без промедления, сию же минуту, скрыться.

Матрос взял с собою троих ребят и куда-то исчез. А минут через десять явился по-дорожному одетый, вооруженный и стал прощаться со всеми жителями села. Один из парней, которые находились рядом с ним, тоже был готов в дальний путь.

Матрос выглядел совершенно трезвым — его немного грубоватое лицо отражало беспокойство и тревогу. Прощаясь с Лесницким, он сказал ему с грустной улыбкой:

— Не пришлось нам повеселиться вместе... Но не будем печалиться, может еще когда и увидимся. Если что — спросишь у ребят, они скажут, как меня найти... Будем вместе воевать...

Свадьбу играли дальше. Вначале — под свежим впечатлением — только и разговору было о стычке с мародерами. Потом водка сгладила, успокоила беспокойные мысли, и все пошло как и прежде.

Лесницкий первое время замечал отсутствие своего веселого собеседника, но потом, когда в голове снова расплылась хмельная муть, а в глазах мелькнуло еще мокрое от слез, но уже согретое знакомой озорной улыбкой лицо Анны,— настроение поднялось, и в жилах опять забушевала горячая кровь. Вскоре он оказался возле Анны, стал утешать ее, угощать вином и, наконец, завел легкий, шутливый разговор, от которого девушка то застенчиво опускала голову, то игриво поблескивала живыми глазами.

Когда на землю опустились вечерние сумерки, по селу полетела новая весть: на дороге в волость кто-то убил польского коменданта. Все сразу подумали:

«Матрос убил».

Эта новость в душе Лесницкого почему-то вызвала волну тупой неясной тревоги. Невольно подумалось:

«Поляки этого не простят».

Однако в охмелевшей голове мысль эта надолго не задержалась: мелькнула на какой-то миг и тут же растаяла в общем веселом гомоне.

Поздно ночью Лесницкий пошел прогуляться с Ариной. Они вышли за околицу, обошли стороной небольшую рощицу, потом уперлись в какой-то частокол. Лесницкому почудилось, что они заблудились в густых непроходимых дебрях. Но вместо того, чтобы обойти преграду, Лесницкий задержал Арину, обнял ее и стал целовать. Вначале она томно принимала его ласки, потом, когда тот стал слишком настойчивым,

слегка ударила его по руке и убежала. Лесницкий, оставшись один в ночи, почувствовал вдруг страшную усталость и решил немного передохнуть. Сел на землю и принялся вяло рассуждать об излишней деликатности женского рода, о таинствах ночного отдыха где-нибудь в глухом безлюдном месте. Как лег на траву и как уснул, Лесницкий уже не помнил...

Проснулся от глухого, но сильного удара в бок и сразу увидел над собой серый цвет раннего утра, темные зубастые листья крапивы и группу польских солдат. «Дебри» оказались всего-навсего невысоким пригорком за селом, на котором росло несколько полузасохших деревьев.

Солдаты будили с решительной настойчивостью и не стесняли себя в выборе приемов. От второго удара сапогом Лесницкий вскочил на ноги и готов был делать все, что ему прикажут. Грубо подталкивая в спину, солдаты повели его по улице села. Возле Филипповой хаты он увидел довольно большую группу парней, окруженную конными солдатами. Среди арестованных заметно выделялась высокая фигура Халимы.

Лесницкому дали еще один подзатыльник и затолкали в толпу задержанных. Он очень удивился, увидев, что все ребята сохраняют полное спокойствие: весело шутят, смеются, казалось, их собрали сюда, чтобы показать какое-то забавное представление. Но тут же один из парней украдкой шепнул ему на ухо:

— Матрос в лесу с ребятами. Когда нас поведут в волость,— отобьет. При первом выстреле бросайся на одного из солдат...

Тогда и Лесницкий заулыбался, довольный тем, что станет свидетелем и участником смелой баталии.

По деревне туда-сюда разъезжали всадники — ловили парней и тащили их к Филипповой хате. С каждой минутой все громче становились рыдания несчастных женщин, которые вышли проводить своих родных в неизвестную страшную дорогу. Изредка с разных сторон доносились крики жертв, отчаянная ругань, обычно кончавшаяся бессильным тяжелым стоном,— польские жандармы умели наводить порядок.

Погнали их, как скот, беспорядочной толпой — пустили вперед, сами же ехали сзади с винтовками наготове. Если парни шли не так живо, как хотелось конвоирам, на них наезжали лошадьми и наотмашь хлестали плетьми, в кровь рассекая головы, лица.

Потянулось широкое, еще пустое и серое поле. За ним далеко-далеко, едва приметной синей полоской темнел лес, протянувшийся верст на шесть, до самого волостного центра. На лес все поглядывали с затаенной надеждой, с тревожным биением взволнованных сердец. Наверное, каждому дорога через поле показалась бесконечно долгой и тяжелой. Жандар-

мам здесь не пришлось подгонять ребят: все двигались с нервной напряженной поспешностью.

Вот уже совсем рядом желанный лес. Все ближе и ближе. Уже глаз проникает в его молчаливую таинственную глушь, уже видно, как на гладко укатанную дорогу наступают с обеих сторон кряжистые деревья, как протягивают свои длинные голые ветви придорожные ветлы.

И видят ребята, как на дороге — далеко-далеко впереди, у самого поворота, едва заметно поднимается пыль. В глазах у всех мелькает тревога.

«Кто это? Неужели наши на конях?»

Пыльное облачко растет, ширится, потом, на какой-то миг задержавшись, открывает взору силуэт одинокого всадника. Минуту спустя можно уже различить польского улана, который галопом несется навстречу. Он подъехал прямо к командиру — бледный, взволнованный, со странно болтающейся левой рукой (рукав был густо залит кровью), и, захлебываясь от волнения, стал о чем-то докладывать. Кто находился поближе, смог уловить смысл этого доклада: улан наткнулся в лесу на большой отряд партизан и, будучи раненным в руку, сумел спастись только благодаря резвости своего скакуна.

Жандармский командир, выслушав улана, тут же приказал свернуть в сторону от дороги, и ребята теперь вынуждены были идти какими-то извилистыми незнакомыми тропками. Настроение сразу упало,— лица у всех стали мрачными, хмурыми; прекратились разговоры, каждый ушел в свои невеселые думы.

Польская комендатура располагалась в волостном центре. Туда и привели арестованных крестьян. Не дав никому из них ни минуты передышки, поляки сразу же приступили к суровому допросу (требовали выдать большевиков). Однако никакие угрозы не подействовали — все указывали на матроса, а больше никто ничего и не знал. Тогда рассвирепевшие жандармы устроили дикую экзекуцию над арестованными. До потери сознания били шомполами, сыпали соль на кровоточащие раны, пороли тело острыми концами сабель, приговаривая при этом с садистским злорадством:

— Вот вам свобода... Вот вам советы... Запомните большевиков. Будете знать, как устраивать бунты...

Экзекуция миновала только Халиму и Лесницкого. Их, как чужих, нездешних, приняли за важных большевиков, за организаторов всех беспорядков и в тот же день отправили к главному прокурору.

В ушах у Лесницкого долго еще звучала жуткая музыка этих страшных стонов, этих диких воплей людей, потерявших и волю и память от нечеловеческих пыток и страданий. Он должен был все это видеть и слышать, потому что мучили их

под самыми окнами помещения, в котором его с Халимой закрыли.

Халима внешне старался сохранять спокойствие, но это ему не удавалось, он все время ходил по комнате, широко размахивая руками и низко опустив голову. Лесницкий совсем перестал владеть собою. Заткнув пальцами уши, он упал на пол, забился в угол и весь дрожал, как в лихорадке. Однако отчаянный крик истязуемых все равно долетал до него; приглушенный, не такой резкий, он, казалось, был еще страшнее. Лесницкий разрыдался, но рыдал беззвучно, тихо, можно было только видеть, как нервно вздрагивают его плечи. В голове продолжали биться несколько слов, они сжимали до боли сердце, будили безумную ярость и отчаяние.

— Где конец? Где мера этим страданиям? Кто будет расплачиваться за них? Кто накажет палачей?

Потом, как безумный, вскочил на ноги, подбежал к двери и принялся изо всей силы стучать кулаками:

— Пустите! Возьмите и меня, палачи! Меня тоже пытайте, звери! Эй вы, слышите?

Солдат, охранявший их, открыл дверь и, ни слова не сказав, флегматично ударил его в грудь прикладом. Когда же Лесницкий снова кинулся к двери, его схватил Халима и, сильно сжав своими огромными лапищами, отвел в дальний угол.

Особенно нестерпимую боль он испытал, когда схватили и стали пытать совсем юного, белесого мальчишку лет шестнадцати. Лесницкий сразу узнал его голос. Еще по дороге в волость паренек обратил на себя внимание своей веселой натурой, душевной простотой и наивностью. И вот сейчас как живой он встал перед глазами Лесницкого: чистое открытое лицо, широкий рот, светлый искристый взгляд, милая, добрая улыбка.

В первое время ничего не было слышно, видно, держался, бедняга, хотел засвидетельствовать перед товарищами свое мужество. Но потом послышался тихий стон, отдаленно похожий на горький детский плач. И это, вырванное из глубины души, бесконечно-спасительное слово:

— Мама! Мамочка!..

Чувствовало ли в ту минуту материнское сердце, как терзали ее дорогого сыночка?

Его замучили до смерти. Уже значительно позже, спустя несколько лет, Лесницкий случайно узнал, что этот светловолосый мальчик не выдержал жестоких пыток и через неделю умер.

Лесницкого и Халиму в тот же день в четыре часа пополудни куда-то увели. Сопровождали их двое хорошо вооруженных легионеров. Один из них был уже в летах, с длинными усами — он оказался очень веселым и разговорчивым. Второй — совсем молодой парень — все время молчал и, вид-

но, о чем-то мучительно раздумывал, на все вопросы отвечал глубокими тяжелыми вздохами. У этого было довольно мелкое — клином вниз — лицо, большие светлые глаза и крохотный ротик. Внешностью своей он чем-то очень напоминал большую птицу, а вздыхал потому, что на несколько дней вынужден был оставить свою возлюбленную — какую-то местную шляхтянку. Первый хорошо говорил по-русски, второй за всю дорогу не обмолвился ни единым словом. Казалось, он вообще не может говорить.

Первое время шли молча. Старший конвоир (пожилой, усатый) пытался проявить надлежащую строгость и даже запретил ребятам разговаривать между собой. Потом стал ворчать что-то про большевиков, перешел на землю, на сельское хозяйство, принялся ругать местных крестьян, что не умеют как следует ходить возле земли. Тогда Халима спросил:

— А у вас разве не так ведут хозяйство?

Тот умолк, как бы рассуждая, стоит ли заводить разговор с арестованным. Однако характер взял свое — и он стал рассказывать, как работают у них на земле, сколько имеют дохода и так далее. Говорил сначала сердито, словно нехотя, но чем дальше, тем все больше забывал, что разговаривает с арестантом, что надо бы держать с ним строгий и серьезный тон. И вот завязалась у него с Халимой оживленная беседа, приведшая в конце концов усача в самое доброе расположение духа. Минут через десять он уже рассказывал свою автобиографию, в первую очередь важно сообщив, что зовут его «паном Песоцким». Когда же он назвал место своего рождения, в беседу ввязался и Лесницкий. Лесницкий неплохо знал географию, и упомянутая легионером местность почему-то хорошо запомнилась ему. Он назвал несколько соседних населенных пунктов и, когда тот удивленно уставился на него, безразличным тоном заметил:

— Бывали и там... Знакомые места...

Тут уже усач не мог скрыть своей радости и в свою очередь стал с восторгом припоминать соседние города и местечки, а Лесницкий делал вид, что там тоже бывал и даже взялся описывать некоторые подробности, которые подошли бы, пожалуй, к любому городу или местечку.

Часа через полтора между ребятами и старшим легионером установился полный контакт и взаимопонимание. Как будто и не существовало странного положения — они арестованные, а он их конвоир,— будто не он, а кто-то другой ведет их, как важных политических преступников, на страшный суд, а возможно и на смерть. И вот тогда Халима, встретившись взглядом с Лесницким, бодро и весело ему подмигнул. Лесницкий подумал, что у Халимы уже созрел план побега, и стал держать себя наготове. Он увидел, как Халима ловким маневром перевел разговор на политическую тему, на борьбу легионеров с большевиками. А дальше уже сам легионер по-

дошел к их аресту с искренним сочувствием, спросил, за что их взяли. Халима рассказал все, как было, и «пан Песоцкий» задумчиво произнес:

— Кто его знает, что там будет. Мы — что... Мы выполняем приказание...

Вошли в лес. Здесь сразу стало ясно, что день подходит к концу. Последние лучи заходящего солнца золотили тонкие верхушки деревьев. По земле уже стлались серые сумерки. Еще немного и густой мрак укроет придорожные кусты, землю, дорогу...

«Пан Песоцкий» неожиданно умолк, беспокойно засопел, стал бормотать себе что-то под нос. Потом повернулся к молодому легионеру:

— Что, пан Былина, не панна ли Аделя заставила так загрустить?

Тот через силу улыбнулся и ничего не ответил. Некоторое время шли молча. Потом усач опять спросил:

— Как думаете, пан Былина, дней пять придется потерять? Наверное, не меньше...

Тот тяжело вздохнул. Еще прошли немного. Усач помялся, перекинул винтовку на другое плечо и неуверенным голосом произнес:

— А что если б взять да вернуться назад, а?

Халима, уловив мысли легионера, вставил как бы между прочим:

— И кому надо возиться с нами? Время попусту тратить... Разошлись бы по домам, и точка, разве не так?

«Пан Песоцкий» сделал вид очень проницательного человека и захохотал:

— Ха-ха-ха... Вижу, вижу, куда гнешь... Я, братец, хорошо тебя понимаю... А вас куда девать?

— А мы убежим.

— Э, нет, голубчик, так не пойдет...

— Тогда мы можем отобрать у вас винтовки...

— Совсем плохо... Пропадем!

И вот здесь подал голос молчаливый и мечтательный Былина:

— А мы можем сказать, что партизаны налетели, это же не впервые...

Бедняга, видно, только и мечтал, как бы поскорее вернуться к своей возлюбленной.

Кончилось все это дело тем, что они по-дружески распрощались. «Пан Песоцкий» пожелал ребятам счастливого возвращения домой, поцеловал каждого, а Лесницкому с теплым напутствием сказал:

— Если когда-нибудь доведется быть в наших местах, не забудьте, где моя хата.

Легионеры пошли по той же дороге назад, а ребята свернули в лесную чащу.

Лесницкий, глубоко растроганный этим расставанием, подумал:

«Какие же они враги, эти простые люди?.. Разве им в голове воевать с большевиками да пытать ни в чем не повинных крестьян?..»

Халима, как всегда, свои чувства и мысли скрыл под маской беспросветной угрюмости.

В лесу пахло влажным мохом, прошлогодней листвой, нежным ароматом набухших почек. Стояла мягкая теплая тишина, она была настолько чуткой, что казалась каким-то беззвучным посторонним шепотом.

Ребята решили держаться поближе к дороге и пошли лесом в ту же сторону, куда и легионеры. Пробирались глухими тропками. Когда хорошо стемнело, отважились выбраться на большак. Однако дороги не нашли. Они не заметили, как впотьмах взяли другое направление и заблудились. Энергично, настойчиво стали искать потерянную дорогу, но чем больше волновались, тем глубже забирались в мрачные непроходимые дебри. Наконец вышли на узкую, едва различимую в темноте тропинку и пошагали по ней, надеясь хоть куда-нибудь да выйти, но шагов через пятьдесят она затерялась в густой траве, и нетронутый лес опять навалился на них со всех сторон. Лесницкий с Халимой решили вернуться на тропинку, но безуспешно — не нашли ее. Тогда Халима решительно остановился.

— Кончено. Заблудились по всем правилам. Дальше плутать в темноте нет смысла. Придется здесь заночевать.

Лесницкий с какой-то зыбкой надеждой посмотрел на глухую стену чернильного мрака. Казалось где-то тут, совсем рядом, за этим буреломом, непременно должна быть дорога. Еще, может, шагов двадцать...

Прошли вперед еще немного, и Лесницкий убедился, что не только дороги, но и бурелома никакого не было. Опять остановились, стали думать-гадать, как лучше устроиться на ночлег. Во время беседы Халима вдруг остановился на полуслове и замер, пристально вглядываясь в темноту ночи. Потом весело толкнул в бок Лесницкого:

— Смотри, огонь!

Действительно, сквозь ветви густого подлеска где-то трепетно блеснуло — раз, другой. Они со всеми предосторожностями подались туда и вскоре вышли на неширокую поляну, посреди которой горел костер. Это было тихое уютное местечко. Густые кроны деревьев и кусты со всех сторон ограживали полянку плотной, как будто заранее кем-то возведенной стеной, по которой сказочными сполохами носились багровые отблески, выхватывая из мрака длинные голые ветви.

К великому удивлению ребят, возле костра никого не было. Они с минуту постояли, недоуменно поглядывая друг на

друга, потом решили подсесть ближе к огню. Подумали, что хозяин костра отлучился за хворостом. Но время шло, а никто не являлся. В тревожном ожидании прошло пять минут, десять, пятнадцать. Ребята уже перестали и думать об опасности, спокойно себе разлеглись на земле и с веселыми шутками стали вспоминать дневные приключения. В это время тихо раздвинулись ветви кустов, и на поляну вышел человек. В первый миг он показался Лесницкому ужасно волосатым и страшным,— очевидно, выглядел таким от фантастической игры теней. В одной руке незнакомец держал ружье, в другой — сумку и наполовину ощипанную птицу.

— Я издали смотрел, кто вы такие... Ничего, ничего, лежите... Злых людей здесь нету...

Он не спеша подошел к костру и, заняв свободное место, стал дощипывать свой охотничий трофей. Только теперь Лесницкий увидел, что это — широкоплечий, сильный мужчина с красивым мужественным лицом, обросшим короткой черной щетиной.

— Я слышал весь ваш разговор... Где это случилось с вами, далеко отсюда?

Ребята стали объяснять, как забрели сюда, потом как-то незаметно рассказали и обо всем остальном. Человек слушал с напряженным вниманием и время от времени хмурил свои пышные черные брови или улыбался, чуть заметно покачивая головой.

Ребята кончили рассказывать о своих злоключениях, и на какое-то время воцарилась сторожкая тишина. Только изредка слышно было легкое потрескивание горящих на костре сучьев и далекий плач совы. Халима и Лесницкий с затаенным любопытством следили за мужчиной, за каждым размеренным движением его рук — как будто чего-то ждали, глубоко заинтригованные его таинственным молчанием.

Незнакомец испек на огне свою птицу и так же молча разделил на три части. Ребята не стали отказываться — охотно приняли угощение и жадно набросились на приятно пахнувшее мясо — они успели как следует проголодаться.

Поужинав, незнакомец раскурил цигарку и, поудобнее усевшись у костра, уставился своими темными глазами в глубину звездного неба. Казалось, он что-то перебирал в памяти, что-то искал в ней со спокойной и обычной прилежностью. Стало ясно, сейчас он начнет что-то рассказывать, что-то очень важное и значительное.

И ребята не обманулись в своих ожиданиях. Мужчина поведал им одну трагедию, страшную историю из личной жизни, вобравшую в себя весь кошмар жестокой лжи, всю силу извечной враждебности.

— Деревня моя находилась недалеко отсюда, верст каких-нибудь шесть или семь. Ну, что там говорить: за большевиками мы почувствовали себя героями... Вот и решили

лес панский, землю его да поместье, всякие там хозяйственные постройки прощупать немного... Помещица, значит, стрекача дала сразу, а с нею и сын ее, и комиссар. А потом вышло так, что большевики отступили и явились эти легионы... Что уж тут было — и рассказать невозможно. В имение вернулась помещица со всей своей шайкой-лавочкой и давай трясти наши души. Легионы себе, она себе. И пошел тут такой разбой, какого и мир не видел. Носятся по селам — панич с офицерами, с легионами разъезжает — что покажут, то и забирают. Пусть бы свое назад забирали... Так нет же, все под метелку стали мести. Да еще и плетью исполосуют — зачем панское добро грабил. А другой и близко не был возле поместья. Стали потом гонять на работу — настоящее крепостное право вернулось. И пахать, и навоз возить, и парк, и двор подметать... Ну разве такое выдержишь! И что какое — розги, шомпола! Слово не так молвишь — а, большевик! — и, глядишь, снова за тебя берутся. Было у нас в селе двое матросов — разбитные мальцы! — от них все и началось. Народ подогрели, оружие где-то достали, собрали с полсотни ребят, а может и больше. Приезжает однажды в деревню человек десять уланов (лес надо было помещице привести в порядок, сучья вывезти), а им вместо этого задали такого чесу, что — и следа не осталось! Старшего и двоих солдат убили. Вот тут и пошло-поехало... Вечером того же дня на деревню двинулось полтораста уланов. Во дворах, на улице заголосили бабы, заплакали дети. Все кинулись бежать — одни на лошадях, впопыхах швырнув на телегу кое-какую одежонку, другие пешком — только бы не попасть в руки к уланам. Ну, наши ребята стоят, не боятся. Кое-кто из старших присоединился к ним (я тоже тогда остался), ждем, готовимся к встрече. И что вы думаете — отбили-таки. Мало того... Прогнали их, тогда ударили по имению. Паны все — кто куда, поляки (человек двадцать стояло там) — тоже кто куда. Подожгли имение, а сами назад. Горит поместье, пылает, а тут — крик, шум, бабы плачут, дети... Люди бегут, спасаются — каждый знает, что добра не будет...

В ту же ночь двинулись на нас с двух сторон поляки. Два батальона пошли, затрещали винтовками, пулеметами. С каждой минутой нас все меньше и меньше: многих убили, многие стали сами разбегаться, когда увидели, что дела плохи. Осталось нас десятка три. Держались до рассвета. Чтобы показать, что нас много, перебегали с одного места на другое — хорошо еще, темно было, не видно им, — и стреляли беспрерывно. А утром и не заметили, как подошла к самому селу их разведка — человек сорок. Но мы не растерялись, ударили из-за укрытий — они, видим, растерялись от неожиданности. И вот тут — был среди нас дед один, старый солдат,— выбежал он да как закричит: ура! за мной! Кинулись врукопашную, отогнали, а сами потом боком, боком и назад, к

лесу. Половина добежала до опушки, а половина легла под пулями. И дед наш, вояка, остался лежать... Ну, а что, братцы, было дальше, и рассказать невозможно. Сердце кровью обливается, никакой мочи нету...

Он умолк на минуту, снова принялся раскуривать цигарку. Болью отозвалась звонкая тишина ночи, хотелось, чтобы скорее он кончил, чтобы не мучил страшными недомолвками. А когда тот продолжил свой рассказ, ребят испугал его голос — неестественно сдавленный, приглушенный, казалось, человек не выдержит, прорвется скупыми, жгучими мужскими слезами.

— Ворвавшись в село, уланы тотчас стали грабить население. Все, что имело хоть какую-нибудь ценность, клали на телеги и вывозили. Подушки, одежду, зерно, свиней, кур — гребли под метлу. А перед уходом испепелили село. День был тихий, безветренный, поэтому они ходили от хаты к хате, от хлева к хлеву и поджигали. Сожгли все, бревна не осталось. А что с людьми творили... Еще кое-кто оставался в селе — не все решились бросить на произвол судьбы родной угол. Тех ловили, выкручивали руки, били, заставляли во время грабежа возить на телегах их же добро. Телеги нагружали, как для лошади, а если кто отказывался тащить,— секли плетьми, били прикладами, кололи саблями. А потом, когда запылали строения, непослушных бросали в огонь. Стариков, женщин — всех, кто попадал под руку... Сына моего... семнадцать ему исполнилось... убегал он от них, от зверей, спрятался в поленнице дров... так они подожгли... живого... похоронить не пришлось... Жену убили, двоих сирот покинули... где-то у чужих людей... никто не знает, как там они... Но этим не кончилось — кинулись нас искать. Все ближайшие леса прочесали, все овраги, кустарники. Если кого находили, жестоко избивали, а молодых ребят расстреливали. В одном месте, в лесной глуши напоролись на женщин с детьми... И у них отобрали все, что те успели прихватить с собой в панике. Подушки из-под детей вырывали. А когда узнали, чьи сыновья находились среди восставших,— стали бить. Двоих мужчин до смерти засекли. Потом еще приказали на всю округу никого не принимать из нашей деревни... Так и мыкаются некоторые — голодные, голые... Другие подались в соседние районы. В старцы многие пошли... И никто не знает, как оно будет дальше...

Кончив горькую свою исповедь, незнакомец взялся с особым старанием раздувать огонь — очевидно, хотел скрыть свое волнение — затем встал и пошел за валежником.

Ребята лежали в мучительном, напряженном молчании. Лесницкому показалось, что где-то в черной лесной тишине пронесся глухой тяжелый стон. Может, это сова? А может, не растаявшие отголоски всего, что довелось услышать там, в волости?

Что-то больно сжимало сердце, гнело тупой свинцовой тяжестью. А в голове накрепко засело навязчивое, мучительное:

«Когда наступит конец всем этим страданиям, этой жестокой враждебности, ужасной, беспощадной борьбе? Есть ли такие законы, которые могли бы сдержать кровавый разгул?»

И сам по себе напрашивался ответ — как страшный, но неизбежный результат всего пережитого.

Бесконечная эта враждебность и бесконечная борьба! И нету для нее никаких законов и правил, ибо эта борьба на жизнь и смерть. Она разделила все человечество на два смертельно-враждебных лагеря — между ними не может быть мира, не может быть согласия. И никто не окажется в стороне, никто не избежит борьбы.

Кто не с нами, тот против нас!

С охапкой валежника вернулся незнакомец, подбросил в огонь сучьев и сел на свое место — молчаливый, задумчивый. В этот момент где-то совсем близко запела, почуяв близкий рассвет, какая-то птица. И Лесницкий вспомнил рассказанную паромщиком Савкой сказку про чудесную Иванькову дудку.

Не она ли, та волшебная дудка, разбудила народ, подняла его, чтобы постоял он за правду, за счастье? Не за ней ли так исступленно гоняется панская шайка, до смерти напуганная ее чудесной богатырской игрою?

Они пролежали молча до самого утра. Никто и глаз не сомкнул в эту короткую весеннюю ночь. Когда же заиграла заря, незнакомец спросил у ребят:

— Вы куда теперь пойдете?

Лесницкий ответил сразу, как будто уже думал об этом и давно решил.

— Я буду добираться до города. Мне надо повидать Андрея.

Почему надо повидать Андрея, он, наверное, и сам не знал: как-то уж так сказалось. Халима же помолчал немного и, не ответив на вопрос, в свою очередь спросил у незнакомца:

— А ты что в лесу делаешь?

— Я?.. А вот хожу себе и подстерегаю. Если на кого нарвусь — застрелю.

— Ну и как?

— Убил помещицу, офицера и двух легионеров...

— Один ходишь?

Тот подозрительно глянул на Халиму. Видно, подумал, что хочет человек напроситься к нему в компанию.

— Мне товарищей не надо. Боюсь людей. Уж коли пропадать, так одному...

Халима нахмурился и решительно заявил:

— Ну, тогда я пойду к дядьке, разыщу матроса. Надо же где-нибудь начинать войну.

Незнакомец молча вывел их к перекрестку дорог и коротко объяснил:

— Сюда — в город, а сюда — к твоему дядьке... Моя же дорога — назад, в темный лес.

Лесницкий спросил у Халимы:

— Когда увидимся?

Тот подумал и сказал:

— В первый день, как большевики займут город, я там буду.

Сказал твердым, уверенным голосом, как будто заранее знал, что так и будет.

Они распрощались и все трое разошлись в разные стороны...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Нина, грузно переваливаясь с ноги на ногу, в счастливом изнеможении несла свое отяжелевшее тело. Ее медленная походка, весь ее комично-неповоротливый вид и еще разговор — торопливый, прерываемый частой одышкой,— все это вызывало какую-то непроизвольную заботу и внимание к ней. И Лесницкий, незаметно для самого себя, начинал ускорять шаг, начинал спешить,— к нему возвращалась, всего охватывала та тревожная забота, которая гнала его в город, которая все время вызывала чувство острой необходимости что-то сделать, не опоздать, не упустить очень дорогое время. А что это было — такое срочное, неотложное,— Лесницкий и сам не знал.

Нина останавливала Лесницкого только тогда, когда чувствовала, что уже нет больше сил поспевать за ним (а чем дальше, тем шире становился его шаг). Она ловила его за руку и говорила с шутливым отчаянием:

— Лесницкий! Я совсем не думаю отставать от вас... Подождите меня.

Тогда Лесницкий, улыбаясь, замедлял свой бег и какое-то время шел нарочито медленно, очень смешно, неуклюже переставляя ноги. Нина смеялась над ним и называла аистом, а он ее — уткой.

Они сошли вниз по крутым деревянным ступенькам и как-то сразу оказались на окраине города — потянулись один за другим убогие переулки, где оголенно светилась неприглядная жизнь мещан — с козами и свиньями, с грязными детьми, подсолнухами, с открытыми — на весь переулок — смехом и перебранкой, с вазонами и мандолинами, со зрелыми, всегда готовыми к замужеству, девчатами. Оттого что

лучи заходящего солнца совсем низко стлались вдоль переулков, оттого что где-то неподалеку мычали коровы,— этот район теперь выглядел очень похожим на деревню.

Нина остановилась возле ворот одного небольшого домика и показала рукой:

— Сюда, в калитку.

У Лесницкого без всякой видимой причины учащенно забилось сердце. Он стал волноваться, ему показалось, что здесь сейчас произойдет что-то очень важное, значительное, что здесь поджидает его какая-то большая неожиданность.

Зачем ему понадобился Андрей?

Они через черный ход прошли на кухню, и Нина, тепло поздоровавшись с хозяйкой, постучала в низкую мрачную дверь.

Андрей был один. Когда вошли, он сидел, облокотившись на стол; по его позе трудно было определить: то ли он был перед этим чем-то занят, то ли просто сидел и мечтал. Встретил гостей энергично-спокойной улыбкой, сквозь которую светилась (как и раньше, как и всегда) мягкая тень таинственности. На Лесницкого он посмотрел совершенно спокойно, без какого бы то ни было удивления, он давно ждал его и считал это совершенно естественным и понятным.

Нина сразу легла на кровать, чтобы немного отдышаться после быстрой ходьбы.

— Ох... измотал вконец меня... до чего бессердечный... бежит, как рысак... аист этот... Вот привела тебе, Андрей, бродягу — уж очень жаждал тебя повидать. Едва переступил порог дома, сразу и потащил, словно здесь у тебя кто-то умирает... Ну вот, пожалуйста, принимайте... Мне, Лесницкий, можно здесь побыть или надо оставить вас наедине? Можно? Вот спасибо, ведь я совсем без сил осталась, надо хоть чуток передохнуть...

Лесницкий молча рассматривал Андрея (Андрей, о чем-то глубоко задумавшись, повернулся к окну) и не знал: выскажет он этому человеку все, что накопилось и легло тяжким камнем на сердце, или промолчит? Не был он твердо уверен и в том, что эта беседа поможет ему найти выход душевным порывам, внесет какую-либо ясность в его запутанные мысли и чувства.

Андрей продолжал смотреть в окно и о чем-то своем думать. У него твердый, целеустремленный взгляд, серьезное, мужественное лицо, с которого сошла улыбка и обычная мягкость. Последние лучи заходящего солнца густо покрыли лоб, щеки ярким багрянцем, еще больше подчеркнув его внутреннюю сосредоточенность и неприступность. Лицо напоминало каменную маску. Нет, такому Андрею Лесницкий, конечно, ничего не скажет, жаль только, зря спешил повидаться с ним, поговорить по душам.

Нина первая решила нарушить слишком затянувшуюся паузу, она весело и непринужденно засмеялась:

— Вы, наверное, для того и встретились, чтобы молча смотреть друг на друга, не правда ли? Решили разговаривать без слов, одними только мыслями.

Андрей едва заметно улыбнулся и, не отрывая взгляда от окна, задумчиво произнес:

— Сегодня удивительный закат солнца. Все небо на западе будто залито кровью — горячей, свежей кровью. Огонь и кровь, как в жизни. Огонь и кровь — это символ нашего времени. Помнишь, Василь, наш первый огонь? Там не было еще крови, но ты, кажется, уже испугался. Не забыл? Ха-ха-ха... Сейчас, дружище, все охвачено пламенем. И кровь полилась — много крови льется, а будет еще больше... Очень много прольется крови. И ничего не поделаешь, друг мой, надо бороться за жизнь... Никто не согласится сдать позиции без боя!.. Ну, рассказывай, Василь, где скитался, что поделывал, что дальше намереваешься делать,— говори все, как на духу.

Андрей уставился на Лесницкого открытым дружеским взглядом, и этот взгляд как-то сразу согрел его душу, расположил к искренней, доверительной беседе. У Лесницкого тут же родилось горячее желание открыть ему все свои сокровенные мысли, рассказать об увиденном и пережитом, высказать свои сомнения и желания. Только неизвестно, захочет ли Андрей его выслушать до конца? И вообще будет ли какой толк от этого?

Андрей заметил нерешительность Лесницкого и преднамеренно, чтобы подчеркнуть свою готовность выслушать собеседника до конца, подвинул поближе к нему стул, удобнее сел и тихим голосом сказал:

— Ну что ж, побеседуем по душам, благо весь вечер сегодня свободный... Нина, тебе нетрудно попросить хозяйку самовар поставить?..

Нина молча кивнула головой в знак согласия и пошла на кухню. Вернувшись, снова легла на кровать. Лесницкий тем временем стал рассказывать.

Вначале он говорил легким шутливым тоном — все приключения свои выдавал за случайные, полные комизма происшествия. Но чем дальше, тем больше проникался какой-то глубокой мрачной серьезностью, вещи и явления приобретали у него скорее трагичную, чем комичную окраску; Лесницкого все крепче захватывали чувства, которые, собственно, и привели его в этот дом. Когда же он дошел до кровавых преступлений, до страшных издевательств и пыток, когда в памяти снова всплыли ужасные стоны и рыдания, когда перед глазами, словно живой, возник чистый образ милого светловолосого мальчишки,— голос его дрогнул, глаза заискрились злым огнем, всего его захватила испепеляющая

ненависть, которая зрела в его душе с первого дня прихода в этот захваченный поляками город. И он не скрывал этой ненависти, не стеснялся жестокой сущности своих чувств. Потому что и у них — и у Андрея, и у Нины — он видел в глазах такой же злой блеск, чувствовал, понимал, что в эту пору огненной бури ненависть двигает вперед жизнь — она самый действенный, самый сильный стимул в непримиримой борьбе, ее боевой стяг. Кому же нести этот боевой стяг? Кто его поднимет над головой, кто покажет людям — стяг, озаренный свежей пламенной кровью деревенских страдальцев, кровью юного светловолосого паренька... Кто будет хранить святую ненависть?..

Андрей и Нина слушали Лесницкого в напряженном молчании. Они не прерывали его вопросами, не вставляли ни единого своего слова. Как будто слушали не только его страстный рассказ, а и еще что-то, выходящее изнутри, быть может, лихорадочные удары его сердца, тревожные переливы его взбунтовавшейся крови. Оттого что они глухо молчали, Лесницкому страшно было кончать. Он боялся, что наступит тогда мучительная, тупая тишина и в ней беспомощно повиснут слова, звуки, что болезненно и глухо растворятся в ней его беспокойные чувства. Однако опасения были напрасными. Андрей включился в разговор сразу, как только тот умолк. Видно, он тоже понял, что молчать в такую минуту нельзя. Андрей как бы продолжил беседу, его голос звучал спокойно и твердо, каждая фраза воспринималась ясно и четко.

— Очень хорошо, Василь, что ты все это наблюдал своими глазами, ты видел жизнь на живом кровавом ее срезе, увидел нутро, что ли... Борьба оголяет, ужасно оголяет действительность, встряхивает ее, как копну залежалого сена. Тогда и духу-запаху не остается от всяких «высоких» категорий и норм, от разных «общечеловеческих» идеалов, законов и иной чепухи. Все это — обильно подмасленная прическа, под которой скрывается гнилостная вонь извечной лжи и лицемерия. Видишь, Василь, что творится вокруг нас... А что говорили все эти «герои» раньше, когда большевики только-только набирались силы, а? А сам-то что говорил — помнишь? Ха-ха-ха! Анархия... гибель революции... отсталые инстинкты... Конечно — инстинкты... А как же! Если встанет вопрос: кто — кого, жить или погибнуть, конечно же, дадут себя знать инстинкты... Класс на класс. Или мы или они... Они понимают: если сейчас поддадутся, значит, потеряют все... конец... Потому и озверели, лезут напролом, хватают мертвой хваткой... Небось не хотят остаться без лакеев, потерять свои былые привилегии, свое былое господство... Да, да... Инстинкты, дружище, никудышные инстинкты... Но война есть война...

Лесницкий воспринимал эти слова, как справедливый

укор за свои ошибки, за свои прежние заблуждения. Однако он не испытывал никакого чувства стыда или обиды. Даже хотелось, чтобы Андрей продолжал говорить в том же духе, беспощадно, во всех деталях разобрал его неправильные мысли и выводы, до конца выявил их вред. С подобным настроением обычно выслушивает материнские нотации ребенок, попавший из-за своих проказ в неприятную историю. И чем больше мать выговаривает ему, чем больше проясняется картина ужасов, которых он по счастливой случайности избежал, тем больше его охватывает чувство радости.

Уже давно на землю опустились вечерние сумерки, уже давно отшумел на кухне самовар. Но о нем все-таки вспомнил Андрей. Беседу прервали, стали зажигать лампу, накрывать стол к чаю. Потом Андрей рассказывал о работе своей организации, об общем положении революции, об успехах и неудачах в борьбе. Он много говорил и о том, о чем Лесницкий уже не раз слышал, но теперь все это воспринимал по-другому, по-новому. Все проходило сквозь призму им самим пережитого, все становилось гораздо более ясным, доходчивым и включалось в сферу его личной жизни, его интересов. Для него сейчас по-иному зазвучали слова «мы», «они», «наши», «их» — они наполнялись совершенно новым содержанием, несли вполне определенную смысловую нагрузку. Он повторял их чаще, чем надо было, потому что улавливал их огромное значение и отличительные особенности.

Весь вечер Лесницкого не покидало хорошее настроение. Ему хотелось быть предельно искренним, и он готов был раскрыть себя полностью, во всех подробностях рассказать о своей нелегкой жизни, о сложном пути, по которому шел к сегодняшней своей радости.

Оказалось все так просто и понятно. К чему были его бесплодные мудрствования? Два непримиримых лагеря человеческого общества начали и ведут беспощадную борьбу. В сторону не отойдешь — неумолимый водоворот затянет все равно. Значит, одно из двух: или пойти со своими, добиваться вместе свободы и счастья — себе, отцу, матери, крестьянам, батракам,— или предать своих, переметнуться в чужой вражеский стан. Только не плыть так беспомощно по волнам, словно оторванная от родного дерева ветка, не путаться в черной мгле бури. Бороться, отдать все силы, безбоязненно ринуться в этот смертный бой!

— А потом, Андрей, когда победим, совсем по-новому начнем жизнь строить. Ведь тогда заведем другие порядки... Наверное, очень радостно и хорошо будет всем нам, не правда ли?

Нина смеялась — открыто, по-дружески тепло.

— Андрей! Ты не забывай, Лесницкий законченный чудак. Ему все надо пощупать — иначе он не поверит. Как тот Фома неверующий. Лесницкому все кажется, что он Америки открывает... Послушаешь иногда его — смех берет!

Андрей заговорил о философии.

— Вот еще с этой философией. Некоторые все ищут какой-то наивысший смысл, каких-то глубоких объяснений, истин — тужатся, из кожи вон лезут или ходят, задрав голову, и звезды считают, под ногами путаются. Не время сейчас этим заниматься, вот что... Все это напоминает человека, которого колют штыком или рубят саблей и который в это время начинает рассуждать: откуда взялся штык, сабля, где их первооснова, вечная эта категория или переходная... Но об этом потом. Найдем все — и первооснову, и истину, и все остальное,— дай воспрянуть духом, дай жизнь отвоевать... А сейчас — или становись в строй, бери в руки оружие, или прочь с дороги, не мешай!..

Лесницкий вспомнил Халиму. Вспомнились его рассуждения — буйные, горячие, как и вся его натура. Однако в них было что-то очень похожее на то, что сказал Андрей, даже в тоне, каким разговаривал один и другой, замечалось что-то общее. Лесницкий упоминал уже Халиму в своем рассказе (Нина упорно хмурила брови — ненавидеть хотела), теперь же он решил рассказать о его рассуждениях, о его неорганизованных и сумбурных мыслях.

Нина опять зло насупила брови — умолкла. Андрей же только улыбнулся — спокойно, ласково.

— Что ж... Халима в свое время шел вместе с нами. Не исключено, что когда-нибудь снова вернется в наши ряды, хотя верится с трудом... Но сейчас положиться на него нельзя — не наш он. Халима воспринял одну сторону революции — разрушение. Разрушение старого мира, старых порядков и поставил его как самоцель. Уж это характер такой. Его же бунт и возрождение, как он его понимает,— чепуха, это лишь неудачная попытка оправдать свое буйство. Как только он станет ненужным, его сметут с дороги и тут же забудут.

Лесницкий ярко представил Халиму — грубого, большого, полного необузданной силы и энергии. Образ его почему-то вплетался в бескрайние лесные дебри, в дикие непролазные заросли, в сплошную стену зелени. Вспомнились его подчас неуместные, но веселые шутки, глубоко скрытая искренность,— в эту минуту он выглядел довольно симпатичным. Слова же Андрея прозвучали настоящим приговором, и образ Халимы сразу оказался в ореоле трагизма — стало жаль его. Лесницкий постарался сменить тему беседы.

Они поговорили еще о подпольной большевистской работе, Андрей рассказывал про многие интересные истории, которые сам пережил или о которых рассказали ему близкие товарищи.

Перед глазами Лесницкого разворачивались яркие картины героизма, мужества, страшных и опасных приключений. Они захватывали своей необыкновенной напряженностью, своей удивительной романтикой. Они вызывали в душе при-

ятное волнение, рождали страстный порыв к борьбе, к совершению героических действий.

Лесницкому показалось, что в тот вечер он стал другим человеком. Перед ним открылась прямая, ярко освещенная дорога, и он готов был смело и решительно пойти по ней. Его ничуть не пугало, что путь этот проходит сквозь огонь и кровь, что на каждом шагу его будет подстерегать опасность.

Он был рад, что нашел свое место в жизни, отыскал наконец ту заветную точку, вокруг которой будут всегда витать его чувства, мысли, стремления и на которой можно построить стройное здание своего мироощущения.

Встреча с Андреем, искренняя, товарищеская беседа с ним фактически определила дальнейший жизненный путь Лесницкого. Он остался в городе и целиком посвятил себя революционной деятельности. Лесницкому подыскали какую-то странную (в его представлении даже нелепую) работу, значение которой он, как ни пытался, не мог ясно представить — что-то по линии торговой, то ли просветительской. Но деньги получал, и это давало возможность кое-как сводить концы с концами. Квартиру он подыскал себе в том же самом районе, где жила Нина.

Разгул диких легионов помещика Довбар-Мусницкого продолжался недолго. С запада надвигалась железная армада немецкой армии. Одна банда черных хищников должна была уступить место другой, потому что эта другая оказалась большей и сильнее. Несколько дней в городе сохранялась тревожная обстановка — в панике носились туда-сюда ошалевшие вояки храброго корпуса, поспешно срывая последние плоды своего кровавого господства. А немного спустя на стенах зданий появились первые приказы немецкого коменданта, по улицам мрачным строем прошли измученные солдаты в касках, прогромыхала артиллерия, с гордым видом пронеслись вильгельмовские «гусары смерти»,— город почувствовал блестяще-вылощенную, но от этого не более легкую пяту германского империализма. Какое-то время еще можно было изредка встретить в глухих переулках обезоруженных и растерянных легионеров, потом и они исчезли — их куда-то отправили приученные к дисциплине немцы.

Начался новый период, новое господство, новый порядок. Немцы принесли с собой дух твердой и беспощадной военщины. У них было все «чисто, культурно и аккуратно». Немцы ничего не делали наспех, не куражились и не строили ехидных мин, как их предшественники,— устраивались не спеша, собираясь, видно, остаться здесь навсегда. Они все делали обдуманно и прочно. До последней нитки обирали крестьян: облагали их контрибуциями, забирали проценты от урожая, опустошали закрома. Но и тут старались подчеркнуть свою культурность. Если деревни не рассчитывались по контрибу-

циям, они не сжигали их, не расстреливали людей, не секли шомполами — приезжали и увозили заложников. Если какая-нибудь отсталая и забитая крестьянка не желала отдать последнее жито и своим отчаянным криком и воплями мешала им, они не били ее прикладом в грудь и не пинали ногами (как их предшественники), а просто один солдат крепко держал ее обеими руками, а второй в это время насыпал в мешки зерно. Проценты от урожая немцы определяли сами — они считали себя людьми деликатными и не хотели утруждать хозяев этой сложной работой. И лишь немного беспокоили, когда приезжали на своих огромных пароконных телегах забирать крестьянское добро.

Немцы все делали не спеша, обдуманно.

В городе многие были довольны их присутствием. Были довольны даже те, кто ежедневно выносил на базар свои последние тряпки, чтобы выручить за них марку-другую. Были довольны и те, что на перекрестках улиц и площадях стояли с пачками газет и изо всех сил старались как-нибудь выкроить из мелочи ту же, позарез нужную для прожития марку. Они не роптали, потому что всюду был порядок, потому что немцы были культурные, деликатные и гарантировали покой в городе. Можно спокойно спать и снить о лучших временах, о белом хлебе и свежем масле, о граммофоне и мягкой перине.

Недели через две после прихода немцев в городе вдруг оказался Никодим Славин. Он явился к Нине в то время, когда там был Лесницкий, явился довольный, с радостной улыбкой на лице. Сразу его даже не узнали. Он оброс гладкой светлой бородкой и сильно смахивал на какого-то захудалого заштатного святого. Потом Лесницкий с Ниной в два голоса принялись тепло приветствовать его. Никодим явно смутился и не знал, куда себя девать.

— Я был учителем — там, у красных... Занятия окончились, стало скучно без дела, вот я и надумал прикатить сюда. Теперь очень трудно добираться, нужны различные пропуска, разрешения. Но я решил приехать во что бы то ни стало... (Бедняга, Славин! В этот миг он увидел, что Нина в положении). Я решил... надо было... вот приехал повидаться... Как тут у вас? А где Андрей?..

Славин явно не умел скрывать своих чувств. На лице у него отразилось глубокое отчаяние. Последние слова он произнес механически, как-то неестественно растянув их — видно, о чем-то другом уже думал в эту минуту. И от того, что он так открыто выражал свои чувства, от того, что не сумел скрыть неожиданно нахлынувшей душевной боли,— всем стало как-то не по себе. Наступило молчание, никто не знал, о чем сейчас говорить. Особенно неловко чувствовал себя несчастный Славин. Он уже сам заметил, насколько нерасторопный, и всячески пытался подбодрить себя, развеять тяго-

стную атмосферу. Однако это ему никак не удавалось. И тогда заговорила Нина — резко и сурово, умышленно подчеркивая каждое слово:

— Вас удивило, что я беременная, не так ли? Вам, конечно, надо объяснить... Да, так оно и есть, как вы вначале подумали. Я была женой Халимы и это будет его ребенок. Но он меня бросил... понимаете? И я не знаю, что мне теперь делать, где его искать... Соломенная вдовушка... ха-ха! Вот и все!

Славин виновато хлопал глазами и, пытаясь что-то произнести, растерянно переступал с ноги на ногу. Наконец, собравшись с духом, пробормотал дрожащим голосом:

— Я ничего не знал... простите меня... ничего, ничего... я просто так... да, да...

Нина рассмеялась.

— Ну что мне с вами делать — сама не знаю. Одному объясни да второму, да третьему. Что я, в конце концов, не имею права спокойно родить, а?

Чтобы полностью развеять недоразумение, Лесницкий смешливым тоном рассказал, как и ему когда-то Нина объясняла это же, как и он было смутился от такой неожиданной новости. Потом перешли на другие темы, и беседа потекла обычным порядком. Но Славина уже не покидало тяжелое настроение. Правда, он всячески старался поддерживать в себе бодрость духа, казаться беззаботным, чтобы естественно и непринужденно хохотать, говорить обо всем с легким юмором. Получалось же все наоборот: смех был какой-то нелепый, глупый, улыбка кривая, а шутки скорее неуместные, чем смешные. Он испытывал нестерпимую муку, находясь у Нины дома,— это все хорошо видели. Лесницкий решил уйти и оставить их одних — так им будет легче. Однако Славин с торопливой поспешностью поднялся и вышел вместе с ним.

Какое-то время они шли молча. Лесницкий сознательно не проронил ни слова, ждал, когда Славин первый нарушит молчание. Он знал, Славин обязательно заговорит, будет говорить долго и много. Сейчас ему совершенно необходимо было излить кому-либо свое душевное горе. И действительно, не прошли они и квартала, как Славин каким-то глубоким грудным голосом произнес:

— Как это произошло?.. ума не приложу... очень все странно, непонятно...

И вдруг совершенно другим — резким тоном, в котором звучала сердечная скорбь и жалоба, стал объяснять:

— Если б ты, Василь, знал, сколько я за это время пережил... Меня несколько раз собирались расстрелять... били много... И вот видишь — случай. А здесь опять... опять случай... Видно, всю жизнь так...

— Какой случай?

— Вообще случай. В жизни все подчинено случайному стечению обстоятельств... Ничего нет постоянного, заранее обусловленного...

— Это что: твоя новая теория?

Славин стал серьезным, нахмурил брови.

— Это — закон жизни. Это можно доказать с математической точностью. Сама действительность говорит об этом. Если хочешь, расскажу...

Лесницкий заинтересовался.

— Говори, послушаю.

— Я трижды был под расстрелом. Моя школа находилась верст за семь от Днепра. По какому-то делу однажды оказался я на этой стороне (здесь поляки стояли) и, возвращаясь назад, попал в красногвардейский отряд. У них порядок такой — всех подозрительных задерживать. Меня обыскали, допросили и, заподозрив неладное, решили расстрелять. Командир отдал приказ. Но вступился его заместитель — стал со мной говорить, подробно обо всем расспрашивать, мы с ним нашли много общих знакомых. И что же? Он убедил командира, что я совсем не шпион, а обычный учитель. И меня отпустили на все четыре стороны, только сказали, чтобы в дальнейшем вел себя поосторожнее, а то и до беды недалеко. Но спустя неделю я опять очутился на этой стороне (была какая-то острая нужда) и возвращался домой совсем другой дорогой. Но вышло так, что отряд сменил место дислокации и я опять нарвался на него. Меня снова привели к командиру. На этот раз он не стал со мной возиться и, уверившись, что я несомненно вражеский лазутчик, приказал пустить в расход. Повели меня двое красногвардейцев. Ни один из них не обмолвился со мною ни единым словом, как будто вели не живого человека, а какую-то бесчувственную, бездушную колоду. Мы уже приближались к месту расстрела, как вдруг нас догоняет запыхавшийся красногвардеец и говорит, что командир отменил приказ. Меня повели назад. Командир как следует отругал меня и отпустил. Я и сегодня не знаю, почему был отменен приказ. Прошла еще неделя, и в наше село приехали на отдых красногвардейцы. Штаб отряда разместился в здании школы. Тут я и увидел, что это те же ребята, которые дважды решали мою судьбу. И вот тогда случилось самое ужасное. В воскресный день, когда по селу беззаботно разгуливали красногвардейцы с девчатами, в школе произошел огромной силы взрыв. Здание школы было разрушено, погиб штабной писарь. Меня тут же задержали и привели к месту происшествия. Судьба моя, казалось, была решена,— кто-то сказал, будто я установил адскую машину. Меня стали допрашивать, добивались признания в страшном злодеянии. Я с трудом сейчас вспоминаю, что тогда происходило, но, помнится, хотелось, чтобы скорее все

кончилось. Только потом один из охранников признался, что, опасаясь, как бы кто чужой не нашел, затащил и спрятал на чердаке бомбу. Проверили на месте,— оказалось, взрыв действительно произошел наверху. Меня сразу отпустили. Таким образом, я в третий раз избежал смерти. Вот как оно бывает...

Славин сделал паузу, и Лесницкий, чтобы не молчать, со спокойной рассудительностью заметил:

— Время наше очень тревожное, неспокойное. Удивительные случаи бывают, бывают и ошибки. Таковы законы борьбы со старым миром.

Славин улыбнулся.

— Законы? Какие законы?.. Вот послушай... Я докажу тебе, что ты неправ, потому что это математически точно. Я долго думал об этих моих приключениях. Они удивили меня своим фатальным совпадением, хотя трудно было согласиться, что здесь есть что-то необычное, и я напряженно искал объяснений. И вот тогда удалось напасть на след, который привел к познанию этой бесспорной истины. Послушай внимательно — сейчас я введу тебя в суть моих рассуждений. Первый раз я попал в затруднительное положение — тут ничего удивительного нету. Теперь второй раз... Меня могли задержать, а могли и не задержать. Допустим, было сто различных вариантов и лишь один из них оказался фатальным, скажем, сотый. Это значит, что я попался. Есть ли в данном случае что-либо странное и непонятное? Пусть бы, к примеру, этим неизбежным случаем оказался девяносто девятый... Выглядел бы он более естественным? Нет. Мы имели бы все основания с удивленным видом сказать: — Почему выпал девяносто девятый вариант, а не сотый? Не так ли? Мог выпасть семьдесят седьмой... Тогда опять: почему этот, а не какой-то другой? Снова законный вопрос... Понимаешь? То же и тридцатый, и седьмой, и двадцать первый и так далее. Выходит, каждая из этих ста возможностей в одинаковой степени могла нас удивить своим «необыкновенным совпадением». Значит, если б я, скажем, не попал вторично к красногвардейцам, то это было бы точно так же странно, как и то, что я все-таки попал. Понимаешь меня? Когда же я в третий раз испытывал судьбу, для меня уже не было ничего удивительного. Я опять представил эти сто возможностей, словно сто совершенно одинаковых клавиш — независимых от меня, ничем не связанных со мною. Какую ни нажмешь — получается один и тот же странный эффект. Больше всего меня удивляет именно этот результат, а не другой, потому что он оказался огорчительным для меня. А может семьдесят пятый вариант коснулся бы кого-нибудь другого и тот изумленно вытаращил бы глаза: что за странное «совпадение»? Мне же в это время все показалось бы вполне естественным... Понимаешь?

— Приблизительно. Однако здесь не один раз, а три раза

была нажата одна и та же клавиша, вызвавшая такой нежелательный эффект в отношении твоей головы. Как это объяснишь?

Славин засиял улыбкой победителя.

— Предположим, из ста возможностей допускалось только одно такое странное совпадение, и оно имело место. Но точно такое же чудо произошло бы, если б эти три случая не совпали — тогда осуществилась бы какая-то иная — равнозначная и такая же странная возможность, была бы нажата другая клавиша. Ведь так, не правда ли?

— Погоди, Никодим. По-твоему, выходит, что случайных совпадений в жизни вовсе не бывает?

Славин поглядывал на Лесницкого со снисходительной улыбкой, словно перед ним сидел прилежный ученик, неожиданно запутавшийся в простом и ясном вопросе.

— Из этого как раз и следует вывод, что в основе всего лежит случай. Все, что ни происходит на свете, все — дело случая. Иногда он удивляет нас, а иногда мы его совсем не замечаем. Вот идем с тобою по улице и вдруг на нас наезжает автомобиль. Все назвали бы это несчастным случаем. А если посмотреть поглубже,— счастливый исход выглядел бы не менее странно. Если б на нас сейчас упал метеорит,— это выглядело бы странным случаем. Однако не менее странным выглядело бы и то, что он пролетел мимо. Все это, братец, точно установленная, неопровержимая истина, математика... Конечно, это неприятная вещь, от которой подчас тошно бывает... Человек как бы теряет свое величие, становится никчемным, мизерным существом. Мне иногда даже страшно бывает, когда я задумываюсь над этим. Все — дело случая. Жизнь — это пересечение самых невероятных и неожиданных случаев, весь мир — тоже случай. Если б не было мира, если б не было ничего,— это тоже был бы случай — странный или не странный — все равно...

Славин умолк, погрузился в какие-то свои сокровенные мысли. По тону его последних слов было ясно, что временное воодушевление, рожденное его рассуждениями, опять уступило место знакомому чувству отчаяния и душевной растерянности. Быть может, он и не думал уже об этих случаях, о клавишах... быть может, снова болезненно терзала его сердце то неожиданное и обидное, что он увидел у Нины. Лесницкий решил не спорить, решил оставить в покое его наивно-путанные мудрствования. Только в конце заметил добродушно-снисходительным тоном:

— Твоя теория, Никодим, это — капитуляция перед жизнью. Жизнь подвергла тебя довольно жестоким испытаниям, швырнула туда-сюда — вот и потерял в нее веру, в глазах замельтешили всевозможные случаи да клавиши. Потом когда-нибудь внимательно присмотришься ко всему и удивишься: на все есть свои причины, все в мире живет по опре-

деленным законам и имеет крепкие, хотя и не всегда заметные, связи...

Славин ничего не ответил. Он угрюмо, мрачно шагал по разбитой дороге, низко опустив голову и глядя себе под ноги. На лице у него застыла немая глубокая печаль. Лесницкий обратил внимание, что они зашли в какой-то незнакомый район города. Остановился, повернулся к Славину:

— Куда мы забрели, Никодим?

Тот поднял голову, посмотрел перед собой рассеянным взглядом.

— Куда? Пойдем, пойдем... Да... Надо назад... Но ведь нам все равно... Пойдем куда-нибудь...

И как только повернули назад, заговорил слабым, какимто надтреснутым голосом:

— Я хочу поговорить с тобой, Василь... Меня, понимаешь, ужасно потрясло это... ну не то, что Нина замужем. Я никак понять не могу толком... Когда все это произошло, не знаешь? А что себе думает Халима? Как же так?..

Лесницкий спокойно выслушал и твердым, убедительным тоном разъяснил:

— Нина в шутку сказала, будто разыскивает Халиму и не знает, что ей теперь делать. Ребенок на самом деле от Халимы — они когда-то жили, как муж и жена. Но теперь, братец, совсем другое дело. Она ненавидит Халиму, всей душой презирает его, потому что он, как последний человек, изменил и перешел на сторону текинцев. И никакая она не вдова, а просто девушка... только вот этот... ребенок... Понимаешь?

Славина это сообщение вроде бы немного успокоило. Он спросил, где сейчас Халима, и Лесницкий коротко рассказал о своих странствованиях с ним, о том, где и при каких обстоятельствах они разлучились. Тогда Славин впал в тихое мистическое настроение, ласково и тепло засверкал своими очками.

— Я Нину люблю вполне серьезно... Глубоко, всем сердцем люблю. За зиму я окончательно убедился в этом. Если б не она, мне хоть и не живи на свете. Все долгие месяцы я помнил ее, мечтал о ней, и мне было легче от этого. Да только все это ни к чему... она меня совершенно не любит... Разве я говорю неправду, Василь?

Лесницкого так и подмывало рассказать Славину, как Нина когда-то говорила, что хочет всем сердцем полюбить Никодима, что уже кое-чего даже добилась. Но решил промолчать, не хотел заранее вселять в него неясную надежду. Лишь ограничился общим замечанием:

— Кто ее знает. Разве залезешь в нутро человеку... Чужая душа — потемки.

— Она такая добрая, славная. Я все равно буду любить ее, даже если не понравлюсь ей.

И Славин глубоко вздохнул.

Лесницкий когда-то в школе успешно изучал немецкий язык. Немного потренировавшись, он наловчился довольно бойко разговаривать, и тогда ему вменили в обязанность поддерживать связь с немецкими воинскими частями, среди которых организация вела революционную пропаганду. В солдатской массе Лесницкий подобрал себе нескольких надежных друзей, через которых распространял в казармах литературу, прокламации, узнавал о настроениях в оккупационных войсках и многое другое. В одной воинской части при его активном участии была даже организована подпольная революционная группа.

Работа эта очень нравилась Лесницкому. Он отдавался ей со всем своим молодым задором и энергией, просил для себя все новых и новых заданий и часто настолько увлекался опасными операциями, что дело доходило до явного риска и никому не нужной блажи. Случалось, он с каким-либо дерзким, подобным себе, смельчаком подходил к немецкой казарме, бросал к ногам часового целую пачку прокламаций, и, пока тот удивленно смотрел на пестрое мельтешение белых листков, ребята быстро скрывались в ближайшем переулке. А то в суете уличного движения затыкали за пояс или отворот рукава какому-нибудь важному немецкому офицеру прокламацию и потом издали с интересом наблюдали, как долго он будет нести ее и какую мину состроит, когда обнаружит.

В то время в большинстве своем солдаты очень остро воспринимали большевистскую пропаганду, даже суровая военная дисциплина не могла полностью заковать сознание простого крестьянина или рабочего, оторванного войной от родного угла и загнанного неизвестно для чего в чужую далекую страну. Усталость после долгих четырех лет кровопролитной войны, разочарование в непобедимой мощи германского милитаризма, особенно после поражений на французском фронте, и, наконец, желанное дыхание невиданной ранее свободы, которое шло с близкого Заднепровья,— все это создавало благоприятные условия для большевизации немецкого солдата. В результате повсюду стало обнаруживаться сильное падение дисциплины и частичный переход немецких солдат за Днепр, на сторону Красной гвардии. Эти перебежчики позже влились в красные интернациональные батальоны и приняли активное участие в борьбе за Советы.

Лесницкому несколько раз довелось перебираться через Днепр в то самое предместье, где когда-то его схватили текинцы. Сейчас там был местный центр красной власти. В напряженной обстановке рождалась новая жизнь, насыщенная каким-то удивительно живым, бодрым содержанием. Лесницкого почему-то всякий раз, когда он перебирался на другой берег, охватывало чувство беспокойства и тревоги. Появлялась острая потребность что-то делать, куда-то спешить, по-

торапливать других. С этим настроением он возвращался в город, и тогда казалось, вся работа, которую выполняет он и его друзья, ничего не стоит, что необходимо совершить что-то из ряда вон выходящее — большое и важное,— что надо что-то стронуть с места, расшатать... В такие минуты он на сходках высказывал самые невероятные планы, и ребята над ним подсмеивались.

Там же, на большевистской стороне, Лесницкий часто встречал Багуна. Багун теперь ходил в новой военной форме и очень гордился своим красным полком. Лесницкий шутя как-то напомнил ему о его первом отряде. Тот громко расхохотался, потом вдруг стал серьезным и сказал:

— Да, да, братец. Сейчас-то мы смеемся, а вот тогда было не до смеха. На все свое время.

Багун теперь командовал красногвардейским полком — дружным, дисциплинированным и к тому еще хорошо обмундированным,— таким полком с полным правом можно было гордиться.

Лесницкий рассказал Багуну, как он с Митькой, пробираясь в город, попал в лапы к текинцам, как сидел в тюрьме и как чудом остался жив. Багун искренне жалел Митьку (он и сам уже потерял надежду когда-либо встретиться с ним, был уверен, Митька погиб), а босяку послал на тот свет несколько соленых пожеланий. Оказалось, что он этого проходимца не узнал и охотно принял в отряд как рабочего и бывшего солдата (именно так провокатор отрекомендовал себя).

В свободное время Лесницкий регулярно наведывался к Нине. Андрей специально просил присмотреть за ней — шли последние дни беременности; жила она одна в доме, не было даже кого послать за акушеркой. Правда, Славин освобождал Лесницкого от подобных обязанностей. Этот философ на удивление быстро смирился с бывшим замужеством и теперешней беременностью Нины, воспринял все, как свершившийся факт, и стал верным, преданным пажем своей любимой. Он ни на шаг не отходил от нее — понимал, она больная и нуждается в постоянном присмотре. Нина же пользовалась его услугами самым беспощадным образом. Она стала теперь раздражительной, злой, и все ее капризы, все придирки сыпались на голову несчастного Славина. А тот не понимал, что это прямой результат ее болезненного состояния, и каждое злое слово близко принимал к сердцу.

Лесницкий, навещая Нину, почти всегда заставал Славина у нее дома; выглядел он обычно каким-то растерянным, с застывшим лицом, как будто на него свалилось большое и неожиданное горе. Нина тотчас вскрывала причину его удрученного состояния и говорила Лесницкому обиженным и раздраженным голосом:

— Ну что за человек этот Славин? Вы понимаете, Лесницкий, он совершенно не представляет основ нашего

социального строя. Вконец измучил меня своей политической близорукостью. Лезет со своими глупыми клавишами — все мои нервы измотал...

Нина вот-вот готова была заплакать. Славин растерянно смотрел на Лесницкого, а Лесницкий тихо улыбался и сам себе думал:

«Значит, сегодня социальными основами мучила. Как только дойдет до политики — начнутся роды».

В те же редкие минуты, когда у Нины было хорошее настроение, она, словно извинялась за свои прежние капризы и придирки, была особенно ласковая и добрая со Славиным. Тогда она очень внимательно прислушивалась к каждому его слову, деликатно соглашалась всюду, где только можно было согласиться, и старательно избегала любого спора. С шутливым выражением на лице она тогда говорила:

— Мой ребенок, наверное, будет очень похож на Славина, потому что я неотрывно смотрю на него... Только вот чтобы нос был чуток побольше... И чтоб не было очков...

В эти короткие мгновения Славин выглядел самым счастливым человеком на свете, глаза у него становились какими-то просветленными и добрыми.

Славин не отходил от Нины и тогда, когда начались роды. Он сам сбегал за акушеркой, кроме того, притащил еще какую-то старенькую бабку, сходил в аптеку и, сидя на кухне, слышал, как тяжело, мучительно стонала роженица.

Началось это с вечера и продолжалось всю ночь. Лесницкий ничего не знал и поэтому на следующий день, придя к Нине, был крайне удивлен и обрадован неожиданно новой картиной.

Нина лежала на кровати — измученная и счастливая. На лице расплывался тихий, мягкий свет душевной радости, а в серых глазах, все еще вялых, уставших, вот-вот готов был блеснуть долгожданный искристый огонек. В ногах у нее (зыбки не было) лежало что-то завернутое в белые пеленки, это «что-то» вскоре пискнуло и оказалось маленьким Халимой. А чуть поодаль сидел Славин, поблескивал стеклами очков и смущенно улыбался. Лесницкий подумал, что, по-видимому, так должен улыбаться отец, когда у него рождается первенец.

Нина встретила Лесницкого слабой улыбкой, показала глазами на стул. Ему же ужасно хотелось подойти к ней и поцеловать — так чисто и прекрасно сияла она красотой первого пробуждения женщины-матери. Он сказал об этом своем желании и увидел, как на бледном лице Нины появился чуть заметный свежий румянец. Она застенчиво улыбнулась и ответила:

— Меня, Лесницкий, стоит поцеловать, потому что я родила хорошего, здорового сына. Посмотрите...

Лесницкий нерешительно приблизился к кровати и осто-

рожно приподнял пеленку, под которой увидел красное, сморщенное личико с большим некрасивым носом.

Стало как-то не по себе, и он сразу же отошел в сторону. Нина заметила это и сделала вид, что обиделась.

— Вы ничего не понимаете... Мой сын очень красивый... Он весит десять фунтов и ничуть не похож на Славина... Нос не такой и очков нету...

Славин молча улыбнулся, а Лесницкий авторитетно заметил:

— Видно, будет сильно смахивать на Халиму... Как вы считаете?

Нина только пожала плечами.

Вскоре притопала старенькая бабка и выгнала ребят из комнаты. Они пошли пройтись по городу. Славин разговорился и все доказывал Лесницкому, что вполне естественно любить ребенка той женщины, которую ценишь и уважаешь, хотя этот ребенок и не твой. И совершенно серьезно уверял, что он любит только что родившегося малыша.

В тот же день вечером Лесницкий вторично навестил Нину и к своему великому удивлению застал там Андрея. Андрей сидел возле Нины и что-то тихо ей говорил. Как только вошел Лесницкий, он прервал разговор, поднялся ему навстречу и радостно воскликнул:

— А вот и он сам... Дело, дружище, есть — важное и интересное. Я сегодня еду на съезд и, наверное, пробуду там не меньше недели. Тебе придется съездить в местечко, верст за двадцать отсюда,— там стоит немецкая часть, в которой ширится, зреет весьма ценное для нас революционное настроение. В части готовится переход на ту сторону Днепра большой группы немецких солдат — надо провести среди них работу, помочь им... Понимаешь?

— Я один там буду?

— Комитет командировал еще одного работника. Ты, очевидно, помнишь его — Гольдин, был у нас во время корниловщины. Он переправится туда через Днепр и привезет с собой литературу. Тебе тоже придется принять участие в переправе. Будут там и местные ребята, они окажут вам всю необходимую помощь.

— Как с ними связаться?

Андрей на какое-то мгновение задумался.

— Самое лучшее разыскать Мокрину. Она работает в ближайшей деревне, в школе, и хорошо знает всех наших, которые там живут. Сразу пойди к ней.

Неожиданное напоминание о Мокрине вызвало в душе у Лесницкого сильное волнение. Чтобы скрыть его, он лишь спросил о названии деревни и тут же стал подробно расспрашивать о местных парнях, о составе немецкой части, условиях работы и так далее. Только в самом конце, как бы невзначай, поинтересовался:

— А Мокрина тоже работает?

— Да. Передаточный пункт... Для связи...

И больше о ней не было сказано ни слова.

Андрей куда-то спешил, да и сидеть здесь было не совсем безопасно. Прощаясь, со всей серьезностью еще раз напомнил Лесницкому:

— Имей в виду, Василь,— тебе поручено очень ответственное задание. Делай все осторожно, зря не рискуй, проверяй каждый свой шаг. Провал в этом деле может кончиться только одним — военно-полевым судом...

Он с грубоватой резкостью пожал Лесницкому руку и уже собирался было идти, но в эту минуту Лесницкий неожиданно вспомнил:

— А как же Нина?

Андрей виновато улыбнулся.

— Прости меня, Нина, я совсем забыл о тебе... Вот деньги... Тех не трогай ни под каким видом... Если паче чаяния какая-нибудь опасность — спрячь в надежном месте... Скажи Славину, что я очень просил его за тобою присмотреть... Деньги вам на двоих... У него наверняка нету... Ну, прощайте...

Лесницкий еще немного посидел у Нины. Перед его уходом она подала ему руку и тоже с искренним вниманием и заботой напомнила:

— Лесницкий! Я вас об одном хочу просить — делайте все с предельной осторожностью. Ошибаться вам никак нельзя, не имеете права. Обещаете мне?

Лесницкий снисходительно улыбнулся.

— Разве можно вам сейчас в чем-либо отказать? Конечно же — обещаю. Буду стараться...

Вначале была хорошая погода. В лугах стояло напряженное стрекотание бесчисленной армии кузнечиков, над полями висели легкие пыльцевые облачка цветущих хлебов — и светлое, приподнятое настроение Лесницкого находило удивительное созвучие в звонком и радостном жизнеутверждении этого прекрасного летнего дня. Мысли и чувства нежились в золотистых лучах полуденного солнца, а душа испытывала одно только беспредельное ощущение — какое-то туманное и неопределенное, рождавшее одни лишь воспоминания далекого, но не забытого прошлого. Перед глазами проплывало цветистое зеленичанское солнце, вспоминались нежные, трепетно-сладостные женские ласки. Одно лишь никак не удавалось — ясно представить образ Мокрины. Его разрушали навязчиво-пестрые хороводы цветов и птиц, звонкие мелодии песен, дикий, безудержный хохот, шумные всплески синих днепровских волн. И вообще невозможно

было представить чей-либо образ, было одно только настроение, да и то расплывчатое, неясное — какой-то странный яркий туман. Лесницкий, помимо всего, ощущал близость интересного и опасного дела, на которое сейчас ехал, ощущал как-то странно, как факт, о котором давным-давно читал в книге. Именно это ощущение близкой опасности напомнило ему теперь о некогда уже пережитых минутах острого волнения и тревоги.

Так было вначале, пока не проехали половину пути. Потом солнце стали застилать проказницы-тучки (словно в жмурки играли) и как-то незаметно потеряли его в своей беззаботной ватаге; затем дружно кинулись на поиски, стали всем скопищем носиться по небу, заглядывать друг за дружку — потемнели от скорби, насупились, вот-вот готовые пустить горючую слезу. И упала тогда на землю густая мрачная тень — расползлась-растеклась вокруг непроглядная свинцовая муть. Сразу стало ветрено и неуютно на земле. Недовольная, обиженная, умолкла природа, упрятала в неисчислимые тайники очаровательную красу свою. И трудно было сказать: то ли это день, то ли вечер (выехали в пятом часу пополудни).

И вот тогда природа вытолкала Лесницкого из своего прекрасного лона, собрала в один комок все его ощущения, мысли и чувства, сжала до боли — копошись, ковыряйся сам в себе сколько хочешь! Сразу расплылись и исчезли где-то в серой свинцовой мути все яркие ощущения, а вместо них начали быстро-быстро мельтешить резкие прерывистые образы. Они неожиданно возникали, какое-то время неподвижно стояли перед глазами и через минуту-другую так же неожиданно пропадали. Андрей, Гольдин, Нина, Мокрина... Мокрина явилась его взору во всем своем блеске и красоте, однако не вызвала тех острых ощущений, которые непроизвольно, сами по себе родились в его неспокойной душе всего лишь полчаса назад. Она показалась ему на этот раз почему-то хмурой, замкнутой и больше тревожила, чем пленяла. В сердце проникал непонятный страх и предчувствие какой-то беды и неприятности. Неясным, призрачным отзвуком пронеслись в сознании мрачные мысли прошлой осени — в глазах зарябили студеные и неприветливые волны Днепра.

Деревня, где жила Мокрина, стояла на косогоре. Подъезжая к ней, можно было видеть только несколько крайних крестьянских дворов да большое, крытое гонтом строение, окруженное со всех сторон высокими пышными липами. Возница сказал, что в этом здании размещается школа. Лесницкий отпустил его, а сам пошел пешком, чтобы не вызывать лишнего внимания у местных жителей. Парадный вход в школу был заколочен, и Лесницкий обошел здание с другой стороны, но и там на дверях висел замок. Постоял с минуту, прикидывая в уме, как поступить дальше. Хотел было уже

вернуться назад, но вдруг увидел мальчика, шагавшего через школьный двор. Окликнул его, спросил:

— Что здесь, никого нету?

Мальчик живо ответил:

— Сторожиха пошла в деревню. Она должна скоро вернуться. Подождите ее...

Лесницкий хотел спросить про Мокрину, однако вовремя спохватился, подумал с улыбкой:

«Так ведь это она и есть. Какую же еще работу она может здесь выполнять?..»

Он присел на крыльцо и решил дождаться ее возвращения. На землю уже пали вечерние сумерки, и все вокруг потеряло четкость своих очертаний — расплылось в мягком студенистом полумраке. Закрапал редкий, мелкий дождик, нагнал еще большую тоску и унылость своим тихим нудным шепотом. Беспокойно, растерянно промчался над головой какой-то большой черный жук.

Лесницкий продолжал сидеть в бездумной молчаливой тишине — ничего не слышал и не видел, полностью потерял ориентацию во времени — не знал, прошел час, два или всего только минуты три. И вот наконец послышались в отдалении быстрые мелкие шаги, затем на темном фоне выступило большое тусклое пятно. Послышался испуганный голос Мокрины:

— Кто здесь?

— Это я.

— Кто вы?

Лесницкий встал, пошел навстречу.

— Что ж это ты, Мокрина, не узнаешь меня?

Она замерла от неожиданности, с минуту молчала, потом еще более испуганным, дрожащим голосом спросила:

— Василь... Ты ли это? Каким ветром тебя занесло сюда?

Лесницкий подошел к ней, взял за руку.

— Не удивляйся. Как видишь, перед тобой живой человек, а не призрак... Ну, как поживаешь?

Он ждал от нее мягкого, податливого движения, хотел обнять и поцеловать. Однако она продолжала стоять неподвижно и смотреть на него. Затем, словно очнувшись, крепко пожала ему руку и уже твердым, спокойным голосом заговорила:

— Если б ты знал, Василь, как я испугалась... И сама не знаю почему. Ведь ко мне часто приходят люди и в такой поздний час... Ну, пойдем в дом, там поговорим. Ты давно ждешь меня?

Мокрина устроилась в одной из комнат, отведенных под квартиру учителю. Она жила сейчас одна на всю школу, потому что учительница, закончив занятия, куда-то съехала.

При свете настольной лампы Лесницкий смог как следует рассмотреть Мокрину. Выглядела она очень хорошо — была удивительно свежая, загоревшая. Стройная фигурка ее полна

была здоровья и бодрости, казалось, Мокрина даже заметно помолодела. Лесницкому вспомнилась прошлогодняя сенокосная пора. Именно в те дни она выглядела такой же юной и крепкой. Помнится, Андрей все время возле нее увивался, а вот ему она тогда не нравилась. Да и сейчас — то же самое чувство к ней. Перед ним уже не было той любимой, беленькой, тихой Мокрины, его крушиновой радости... Сейчас привлекала лишь горячая свежесть молодого красивого тела.

Мокрина спросила у Лесницкого о цели его приезда и, когда тот стал объяснять, состроила такую отчаянно-серьезную мину, так задумчиво и строго заморгала своими ясными глазами, что Лесницкий едва сдержался, чтобы не захохотать. А сам подумал:

«Она, как ребенок, всю себя отдает делу и напоминает маленькую и очень прилежную ученицу».

Когда же стала говорить Мокрина, у нее даже голос задрожал от волнения, от таинственной важности этой беседы. Подчас голос ее совсем переходил в наивно-озабоченный энергичный шепот.

— Ты попал к нам в самое время. Завтра ребята готовят тайную сходку. Я тебя отведу туда и познакомлю с ними. Там будут все наши.

— О чем пойдет разговор на сходке? Для чего собирают ее?

— Да ты, Василь, и сам хорошо знаешь, что дальше так жить нет никакой возможности. Обобрали до последней нитки... Вот и надумали что-то наши ребята. Говорили, оружия много достали, человек на сорок... Завтра ты сам обо всем узнаешь...

— Где будет сходка?

— В балке. Как раз недалеко от нашего села.

Не менее часа говорили они о деле. Лесницкий до того увлекся беседой, что и сам, подобно Мокрине, шептал с таинственной настороженностью, с интересом вникал во все детали разговора. И только в самом конце беседы спохватился, как бы со стороны взглянул на себя и на Мокрину, на всю эту необычную обстановку, и очень удивился, что это с ней, с Мокриной, он так разговаривает, что совершенно не смотрит на нее, как на женщину, а совсем иначе, как на товарища,— такими глазами он никогда прежде не смотрел на нее. И почему-то досадно стало. Он понимал, странно все это, глупо, однако не мог побороть себя. И как только кончили говорить о деле, ему сразу стало легче на душе.

Мокрина встала, принялась готовить ужин. В то время, как она суетилась в комнате, накрывая на стол, Лесницкий сидел и молча следил за каждым ее шагом, любовался ее ловкими, немного застенчивыми движениями. Завидная проворность Мокрины, ее красота начинали с каждой минутой все больше его искушать. Лесницкий жадными глазами вгляды-

вался в ее стройные формы тела (так близко и хорошо знакомого), и всего его начинало трясти как в лихорадке. Улучив момент, он поймал ее за руку и с силой привлек к себе, хотел приласкать, но она испуганно вырвалась и потом уже старалась не подходить к нему близко.

За ужином Лесницкий подробно рассказывал про городские новости, про Нину, про ухаживания Славина, и Мокрина долго и громко смеялась. Потом, не в силах скрыть своего удивления, наивным голосом произнесла:

— Как это можно так смешно любить? Кому нужна такая любовь?

Лесницкий только пожал плечами.

После ужина Мокрина забеспокоилась — где уложить Лесницкого спать. Лесницкий то ли в шутку, то ли вполне серьезно ответил:

— Я с тобой лягу.

Эти слова явно испугали Мокрину. Она сразу стала серьезной, насупила брови и тоном, не допускающим возражений, решительно заявила:

— Нет, Василь, я с тобой не лягу!

— Почему?

Мокрина замялась, потупила взор и вроде бы обиженно заявила:

— Я ведь замужем.

Почему-то этот ответ Мокрины совершенно не удивил Лесницкого. Очевидно, потому, что давно уже знал ее, как замужнюю женщину. Даже где-то в глубине души шевельнулось нехорошее, эгоистичное чувство радости, от которого ему самому стало противно. Он улыбнулся и спокойно заметил:

— Уже замужем? Быстро ты... А кто же твой муж — это не секрет?

Она еще больше смутилась.

— Разве ты не знаешь... Андрей...

Вот это было неожиданно. Лесницкий вначале даже не понял, шутка это или правда, и испытующе уставился на Мокрину, надеясь прочесть ответ на ее лице. А Мокрина смотрела на него своими чистыми, по-детски открытыми глазами и улыбалась все той же, знакомой улыбкой — тихой и горькой. Лесницкий не сдержался, спросил:

— Это правда?

— Конечно же правда. Зачем бы я тогда стала об этом говорить тебе.

«Почему ничего не сказал Андрей? Не хотел или просто забыл, как тогда о Нине?»

— Когда это у вас... было?

И Мокрина все рассказала.

— Когда я в первый раз приехала в город, Андрей сказал мне, чтоб я, если что случится, совсем переезжала в город.

Тогда у нас с ним еще ничего не было. Ты ведь знаешь... я ждала тебя, все думала, надеялась, что любишь меня... А тогда — помнишь? — ты приезжал и я почувствовала... стал совсем другим. Тогда я продала все, что было, и уехала в город. Андрей помог устроиться на работу и вообще очень хорошо встретил — все объяснял, учил... Что я тогда понимала в жизни? А потом он мне и совсем по душе пришелся — такой хороший, ласковый, умный... Я как-то сказала, что люблю его... зачем молчать, разве есть тут что-нибудь плохое. Вот и стали мы с ним жить вместе... В церкви не венчались... все равно. А сейчас, как видишь, пришлось разлучиться... Ну что ж, поскучаем немного... крепче любить будем друг друга... это еще лучше...

Лесницкий ходил по комнате, внимательно смотрел на Мокрину и начинал замечать в ней что-то совершенно новое — а может, в своих отношениях к ней, в своем настроении. Ощущалась какая-то странная и непонятная раздвоенность. Он внимательно рассматривал каждую черточку на ее лице,— все было, как и раньше, хорошо знакомым. Казалось, совсем недавно, только что целовал ее губы, глаза и опять будет целовать,— она вот сейчас подойдет к нему, посмотрит на него своими прекрасными глазами-вишенками, улыбнется и скажет: ну, поцелуй!.. И в то же самое время казалось, что все в ней — чужое, незнакомое, что он никогда не целовал ее, а если б и поцеловал, то не испытал бы никакого наслаждения (даже губы ее представлялись сухими и холодными). Казалось, он ее вообще впервые видит, и она только внушает ему, что они давно и близко знакомы.

Если б у человека без боли и крови отрезать руку и положить ее рядом с ним, он смотрел бы на нее приблизительно с таким же чувством, как смотрел сейчас Лесницкий на Мокрину. И эта раздвоенность не была постоянной и неизменной. Она ежеминутно менялась с известным перевесом в ту или другую сторону: какое-то время росло и ширилось первоначальное ощущение, оно захватывало почти все его существо (тогда это новое в ней — ее подробный рассказ, история с безболезненно отрезанной рукой, то, что она не позволяет себя обнять и стоит поодаль, чуждается его,— все это выглядело смешной и докучливой шуткой), а потом с удивительной быстротой это ощущение таяло, исчезало и росло другое — и тогда Мокрина выглядела чужой и холодной. И казалось странным, что она могла когда-то быть в близких с ним отношениях, вызывать в нем страстные чувства и желания.

Лесницкий попробовал было шутить и смеяться над ее неожиданным и скоропалительным замужеством, но вышло глупо и неуместно — она не поняла его шуток, даже не улыбнулась ни разу. Мокрина стояла поодаль, возле двери, и смотрела на него широко раскрытыми, тихими — без обычного блеска — глазами, как будто настороженно ждала чего-

то. Лесницкий опять встал, походил по комнате. Внутри, как буря, росло едкое раздражение, постепенно оно переходило в зависть. Его начинала неотступно преследовать мысль о том, что Мокрина теперь уже принадлежит другому, что она другого обнимала и согревала ласками и только поэтому сейчас отталкивает и избегает его, может, и вовсе пренебрегает им. Давала себя знать оскорбленная мужская гордость.

Лесницкий остановился напротив Мокрины и с нескрываемым сарказмом выжал из себя:

— Какая же ты славная, честная жена... Вот уж действительно Андрею есть чем гордиться...

Мокрина серьезным тоном ответила:

— Что я, выродок какой, или как? Разве мне одного любимого мужчины мало?

— Кажется, так было...

— Я того не любила... я тогда только тебя единого любила и больше никого...

— А сейчас Андрея?

— Да.

Лесницкий еще раз прошелся по комнате и опять задержался возле Мокрины, посмотрел на нее ласковым, мягким взглядом.

— Значит, ты меня уже больше не любишь? Совсем, ни капельки не любишь?..

— Не говори об этом, Василь... Зачем это надо...

— Ты, наверное, уже забыла о том, что было между нами? Совершенно выбросила из головы, не правда ли? Видно, и вспомнить не хочешь, а?

Мокрина начинала волноваться,— очевидно, тяжело ей было слушать это. А Лесницкий умышленно разжигал в своей груди огонь злосчастной обиды, в которую совсем случайно и неожиданно вылилось его раздражение,— он со все большим рвением и горячностью говорил ей полные укоризны слова:

— Тебе уже противно, когда я к тебе прикасаюсь. Ты даже не хочешь моей ласки, не хочешь, чтобы я тебя обнял и пожалел... А помнишь? — ты сама просила, чтоб я тебя целовал, ты была рада, когда я обнимал тебя, держал на руках. Помнишь, когда я приехал из города — ночь была какая... Днепр... луна... Тебе, наверное, и вспоминать об этом не хочется? Разве не так, Мокрина? Да, ты меня совсем не любишь...

Лесницкий говорил вполне искренне. Случайные и, может, даже нарочно взвинченные чувства вскоре перешли в действительно глубокое расстройство. Перед его мысленным взором проходили полные неповторимой прелести картины прошлого, он понимал, что они безвозвратно канули в вечность, и был преисполнен глубокой и болезненной печали.

Мокрину все больше и больше охватывало волнение. Она просила Лесницкого не говорить ей, не вспоминать о том, что было. Но он умышленно повторял одно и тоже, чтобы мучить и себя и ее, чтобы видеть, как заволакиваются печалью ее ясные глаза и как они наполняются слезами.

И она не выдержала, заплакала. Сквозь горькие слезы, сквозь судорожные всхлипывания у нее, наконец, вырвалось — надрывно и мучительно:

— Ты, Василь, горе мое и боль моя сердечная... Зачем ты явился сюда?.. Что тебе надо от меня?.. Пришел, чтоб мучить... жизнь мою отобрать...

Казалось, Лесницкий только и ждал этих ее слез. Они сразу устранили противную раздвоенность души, осталось одно чувство — прежней желанной близости. Лесницкий снова почувствовал свою былую силу и право, смело обнял ее, прижал к себе, стал осыпать мокрое от слез лицо страстными поцелуями. Мокрина не защищалась. Он взял ее на руки, отнес на кровать и, присев рядом, нежно ласкал и успокаивал.

— Ну вот и расплакалась... Все это потому, что не любишь меня... Не надо плакать, успокойся... обними лучше... вот так... крепче обними, крепче... Поцеловать тебя? Хочешь? Ну вот... Вот так я люблю тебя... вот... очень... очень...

Она покорно отдавалась горячим ласкам Лесницкого и в то же самое время просила, умоляла его, испытывая при этом безотчетный страх:

— Василек... не надо... Ничего не делай со мной... нельзя... Василек, родной, прошу тебя...

Лесницкий склонился над ней и тихо-тихо прошептал над самым ухом:

— Андрей ничего не узнает про эту ночь... Он далеко... Не бойся, Мокрина...

Эти слова, как ножом, полоснули ее по сердцу. Она судорожно задрожала, с какой-то отчаянной силой вырвалась из его объятий и бросилась к двери. Лесницкий подхватился вслед за ней, сделал несколько шагов, потом вдруг остановился, прислушался. Хлопнула дверь где-то рядом, за стеной: Мокрина, видно, зашла в соседний класс. Лесницкий постоял немного, подумал, затем в нервном раздражении стал ходить по комнате из угла в угол...

Прошло минут десять, потом и пятнадцать и двадцать. Прошло полчаса, час. Мокрина все не возвращалась. Лесницкий злился и не знал, то ли дожидаться ее, то ли ложиться спать. В конце концов решил спать. Вначале хотел лечь на ее кровати, но потом передумал. Со злостью расшвырял в стороны стулья и лег на полу. Пусть завтра утром увидит, ему ничего от нее не нужно!..

Уснул Лесницкий удивительно быстро. И так же неожиданно проснулся — свежий, бодрый. Проснулся, видно, от

легкого стука на кухне. Там возле печки хозяйничала Мокрина, в открытую дверь видно было, как мелькал край ее платья. Лесницкий тотчас вспомнил о вчерашнем вечере, и ему стало как-то не по себе, даже стыдно. Но потом успокоился, улыбнулся: хорошо, что все так кончилось. Сегодня он готов разговаривать с Мокриной просто, по-товарищески открыто, как и во время их деловой беседы. И совершенно естественным воспринималось то, что она жена Андрея,— странно, почему вчера это его так сильно взволновало. Вот только как смотреть ей сегодня в глаза?

Лесницкий быстро привел себя в порядок и вышел на кухню. Прошелся туда-сюда (Мокрина орудовала ухватом в печке), стал возле окна, прислонился спиной к косяку. Какое-то время оба молчали. Затем Мокрине что-то понадобилось взять со стола (стол стоял у окна), она подошла, потупив взгляд, потом как бы случайно глянула на Лесницкого — недоверчиво и осторожно. Он поймал ее взгляд и ответил на него смущенной улыбкой. Тогда и она улыбнулась и сразу посветлела. Лесницкий виновато и глухо произнес:

— Извини меня, Мокрина... Больше не буду... Вот моя рука, это было в последний раз...

Она, радостно улыбаясь, протянула ему свою руку и примирительно сказала:

— Нашла на тебя какая-то одурь вчера, не так ли, Василь?

Вместо ответа он спросил:

— Расскажешь Андрею?

Она подумала и ответила:

— Наверное, расскажу. А что здесь такого...

— Ну что ж, можно и рассказать. Я ничего против этого не имею...

После завтрака они вместе пошли на подпольную сходку. Мокрина весело тараторила, рассказывала разные смешные истории. Но потом стала серьезная, перевела разговор на другую тему.

— Они говорили, будут собираться с самого утра. Это недалеко отсюда. Но мы пойдем не напрямик — так нас смогут легче выследить,— а обойдем этот пригорок стороной, затем дорогой выйдем к роще, дальше кустарником. Нас никто и не заметит. Я привыкла уже, знаю, как надо делать...

Пришли они к глубокой, густо заросшей ветлами балке. Здесь вся местность — может на несколько десятков верст — была сплошь иссечена длинными крутыми ярами, склоны которых заросли орешником, молодыми березами и дубами. Сквозь эту живую кудрявую изгородь нелегко было пролезть, а тем более спуститься на дно балки. Встречались и такие глухие места, выбраться из которых можно было только через два узких прохода, расположенных в противополож-

ных направлениях. Одну из таких глухих балок и выбрали ребята для своего тайного собрания.

Очень странно звучали здесь, в непролазных зеленых дебрях, новые, никогда раньше не слышанные слова, которые произносили участники сходки.

— Внимание, товарищи, объявляется повестка дня... Сегодня мы обсудим следующие вопросы: текущий момент, организационный вопрос и текущие наши дела... Как, довольно этого? Ни у кого нет больше вопросов? Тогда начнем, ребята, тише все!

Настроение у всех было напряженно-таинственное. Лесницкий видел, как крестьянские лица — в большинстве молодые, почти юношеские — на глазах становились серьезными, как сурово сходились на переносице брови, как внимательно люди ловили каждое слово. Лесницкий и сам чувствовал какое-то неосознанное волнение.

По первому вопросу с докладом выступил невысокий худощавый парень с длинным носом и редкими черными усиками. Начал он с общих слов о революции, о классовой борьбе, затем перешел к рассмотрению последних событий и закончил довольно пламенным, патетическим протестом против немецкого империализма. По его докладу мало кто высказывался — ждали следующих, знали, они будут самыми интересными. Один из участников сходки говорил книжно-драматическим тоном о недоле трудящегося народа, об угнетении со стороны эксплуататоров, о людском бесправии... Оратора слушали не очень внимательно и он, очевидно, раньше времени должен был закончить свое выступление. По докладу приняли резолюцию и перешли ко второму пункту повестки дня.

Организационный вопрос касался формирования партизанского отряда. Этот вопрос вызвал чрезвычайный интерес и всеобщее оживление. Здесь проявилось решительно все: и глубоко болезненные жалобы на угнетение, бесправие, и издевательство над рабочим людом, и извечная ненависть к помещикам, и желание добиться светлой доли, и лютый гнев, и безудержный молодой энтузиазм, готовность немедленно ринуться в бой за свои человеческие права. Глаза у крестьян горели синим злым огнем, пальцы сжимались в кулаки. Люди с трудом сдерживали себя.

— Слова!

— Дай слово!

— Я скажу, ребята!

— Дай-ка мне выступить!

Один с гневом рассказывал про зверскую расправу немецкого коменданта над мирными жителями села, второй, с трудом подбирая от волнения слова, призывал без промедления выступить против ненавистных оккупантов, третий кого-то ругал, размахивая руками, четвертый требовал оружия.

— Натерпелись! Довольно пить нашу кровь! Засядем в глухих оврагах и будем выковыривать из гнезд кровопийцев проклятых. Что они нам сделают!

В этих стихийных выступлениях, в этом бурном взрыве всеобщего возмущения и гнева Лесницкий видел истинный облик многострадальной, вконец измученной белорусской деревни, жаждавшей счастливой доли, настоящей человеческой свободы, которая открывалась перед глазами широкими, полными неповторимой красоты просторами. Лесницкому очень хотелось выйти вперед и произнести захватывающую речь, которая бы всех задела за живое, разожгла б еще больший пожар в людских сердцах, толкнула бы крестьянскую массу на смелые героические дела. Но вспомнил наказ Андрея и вместо пламенного выступления завел нудный разговор об осторожности, о том, что надо спокойно, благоразумно продумать каждый свой шаг, не забывать о возможных провокациях.

На сходке молодые деревенские ребята приняли решение организовать партизанский отряд и мстить оккупантам за грабежи, слезы и кровь невинных жертв.

Мокрина познакомила Лесницкого с организаторами сходки, и они взяли его под свою опеку. Среди парней были двое из местечка. После сходки Лесницкий пошел вместе с ними — они должны были подыскать ему помещение и подготовить встречу с нужными людьми.

Мокрина провела его до того места, где начиналась балка и на заболоченную поляну выбегал неширокий родниковый ручей. Прощаясь, она не могла скрыть своего волнения, низко опустила голову, часто-часто заморгала ресницами. Лесницкий заглянул в ее глаза и ласковым голосом спросил:

— Ты, Мокрина, хочешь что-то сказать, не правда ли? Говори все, что думаешь...

Она бросила на него долгий, испытующий взгляд, полный тревоги, покорности и боли.

— Василь! Не встречайся больше со мной.. Не надо... Обещаешь? Скажи!

Он улыбнулся, с добрым, дружеским чувством пожал ее руку.

— Если и встретимся, то уж с другим настроением... То больше не повторится, не волнуйся...

Гольдина переправили без особых трудностей — способствовала этому непроглядная черная ночь да тайное сочувствие береговой охраны. Гольдин привез с собой большую пачку литературы, свежие партийные инструкции и немного оружия. Тихий неприметный домик в самом конце местечка, в котором квартировали Лесницкий и Гольдин, на какое-то время стал центром напряженной, но хорошо скрытой от по-

сторонних глаз жизни. Поздними вечерами сюда — кто глухими безлюдными переулками, кто задворками и огородами — пробирались неспокойные люди, затем они собирались в задней тихой комнатушке (окна ее упирались в стену какого-то дворового строения) и заводили долгую живую беседу. Говорили, читали, снова говорили, горячо спорили, перебивая друг друга, тревожились. За столом на своем постоянном месте (как-то все быстро привыкли к тому, что это место под желтой картиной — его, постоянное) сидел в глубокой задумчивости Гольдин; он был в центре внимания и, как всегда, неизменно привлекал всех своей сдержанностью, своим твердым, убежденным голосом, рассудительностью.

Каждый вечер сюда приходили также трое переодетых в штатское платье немецких солдат. Двое из них были постоянные, а третий каждый раз являлся новый. Двое постоянных были совершенно разными людьми, ничем не похожими друг на друга. Один высокий, с меланхоличным видом, с неподвижно-удивленными невыразительными глазами, с торчащими во все стороны черными усами. Второй — рыжий, очень подвижной, с острым проницательным взглядом, с белыми бровями и белыми ресницами (когда брови и ресницы белые да еще рыжее лицо,— глаза всегда кажутся хитрыми и жуликоватыми). Немцы ничего не понимали из того, что говорили ребята,— молча сидели на скамейке; один уставился в какую-то невидимую точку на стене, второй живо все разглядывал, всем интересовался и даже прислушивался к разговору, хотя ничего не понимал. Когда же Лесницкий и Гольдин начинали разговаривать с ними по-немецки (Гольдин свободно владел языком), они сразу оживлялись и включались в беседу с какой-то несдержанной поспешностью, которая вначале казалась Лесницкому неестественной. Высокий начинал экзальтированно и странно поблескивать глазами, а рыжий захлебываться революционными фразами. Ребята тогда, ничего не понимая, смотрели на них и бессмысленно хлопали глазами.

Немцы ежедневно уносили с собой литературу и так же регулярно — на вечерних встречах — сообщали, какие результаты дает пропаганда. А эти результаты с каждым днем были все более значительными и ценными. Всякий раз, когда они рассказывали, что происходит в казармах, Лесницкого охватывало явное нетерпение. Его раздражали невозмутимо-спокойные голоса немцев и удивительная выдержка Гольдина. Сколько раз казалось, что именно сейчас наступило самое подходящее время для активных действий,— не использовать его, значит, наверняка пустить по ветру все их усилия и уже достигнутые успехи. Он заметно волновался и настаивал на немедленных и решительных акциях. Нетерпение Лесницкого разделяли и некоторые другие парни, однако Гольдину во-

время удавалось умерить их пыл своей неизменной настойчивостью и логичным рассуждением.

Так продолжалось дней пять. Потом устроили тайное солдатское собрание. Это было очень сложное и опасное дело. Мобилизованы были все силы, использованы все возможности. Ребята заранее продумали и распределили между собой обязанности — каждый хорошо знал, что ему надо делать.

Собрание было проведено глубокой ночью в том же самом малоприметном крайнем домике. Явилось человек десять немцев. Из своих присутствовали Лесницкий, Гольдин и еще несколько ребят. Гольдин читал обращение к немецким солдатам, потом — спокойно, убедительно, как всегда,— объяснял цели российской революции, ее общее интернациональное значение. Немцы слушали с большим вниманием. Изредка покачивали головами, как бы подтверждая правду слов Гольдина, правду этой чужой для них и вместе с тем родной революции. Лесницкий был глубоко, до слез, тронут, когда слушал выступавшего вслед за Гольдиным немецкого шахтера из силезских угольных шахт, когда он, словно в какой-то чудесной романтической сказке, переплетал яркие картины своей тяжелой горняцкой жизни со светлыми надеждами на долгожданную волю, за которую борются чужие для него и для его родной Силезии люди. И Лесницкий видел, как во время выступления шахтера на лицах у всех его товарищей горела неугасимая надежда, как в глазах у них поблескивали живые искринки тихой трепетной радости.

Все эти немецкие солдаты готовы были хоть сию минуту уйти на ту сторону Днепра. Человек пять таких же еще осталось в казарме — не смогли выйти незамеченными,— были и колеблющиеся, с ними только начали вести переговоры.

На собрании разработали детальный план переправы, условились о месте и времени, распределили между собой все обязанности. Разошлись по одному, чтобы при возвращении в казарму не вызвать никаких подозрений.

Ночь выдалась темная, дождливая. По дну оврага с шумом бежал страшный во мраке ручей, он заставлял Лесницкого подниматься выше по склону, скользить и пачкаться в противную липкую глину. Он хотел было подняться наверх, но вспомнил о наказе Андрея соблюдать осторожность и, сжав зубы, с трудом карабкался дальше по склону, каждую минуту опасаясь сорваться в ручей. Он знал, воды в том ручье не больше, чем по колено, но все время забывал об этом, и тогда казалось, что в этой беспросветной темноте и утонуть можно.

На горе дико завывал осатанелый ветер, словно гонялся за кем-то по полю. Иногда его страшные порывы залетали и сюда, вниз,— залетали какими-то истерическими всхлипами — и неожиданно обдавали всего его противной, пронизы-

вающей до самых костей сыростью, от которой, казалось, нет никакого спасения.

Лесницкому почудилось, что он прошел уже бог знает сколько... Но этому мрачному оврагу все еще не было конца. Давала себя знать усталость, и все больше беспокоила тревожная мысль, что не успеет к назначенному времени. Он ускорил шаг и от этого еще чаще стал спотыкаться, еще больше пачкался в глину. В душе росла тупая, бессильная злость.

Наконец в лицо дохнуло чем-то широким и свежим, Лесницкий понял: впереди должен быть выход на открытое место, к Днепру. Пошел медленнее, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Вокруг не видно ни зги, в такой кромешной тьме запросто оступиться и полететь с откоса в черные днепровские воды. Прошел еще шагов десять. Вроде бы голоса впереди. Да, так и есть. Сделал резкое движение, но поскользнулся, и в воду с шумом посыпался сырой песок.

Голоса сразу же стихли. Потом кто-то негромко окликнул:

— Кто здесь?

Лесницкий по настороженному голосу понял — свои, и сердитым тоном отозвался:

— Где вы там? Попрятались, что ли?

Оказалось, парни сидели чуть выше его, под раскидистым мокрым кустом.

— Не было еще наших?

— Нет.

— А лодка?

— Стоит в кустах.

— Сколько вас?

— Четверо.

— Вот что... Идите по двое в одну и другую стороны, проследите за часовыми... Если свой, будете тихо насвистывать какую-нибудь веселую песенку. Можете вступить в разговор, только осторожно... Затем — назад...

Лесницкий испытывал теперь легкое приятное волнение. Ведь ему впервые доводилось принимать участие в такой важной и опасной операции да еще и руководить, отдавать приказания — он здесь сейчас главный распорядитель, потому что Гольдин раньше перебрался на другую сторону и там готовит встречу гостям.

Лесницкий устроился под тем же кустом, где сидели ребята, и стал ждать. Оттого, что после сильного нервного напряжения он вдруг оказался в полной тишине и неподвижности, волнение его еще больше усилилось. Он почувствовал, как сильно забилось сердце, как что-то сжало грудь и не давало глубоко вздохнуть. Время тянулось ужасно медленно, каждая минута казалась часом. А тут еще неспокойная, ветреная и мокрая ночь!

Но вот в той же стороне, откуда и он недавно пришел, по-

слышалось тяжелое чавканье ног. Все замерли, прислушались. Лесницкий даже задержал дыхание, вытянул шею. Слышно было, что идет довольно большая группа людей. Когда они подошли совсем близко, Лесницкий спросил по-немецки:

— Кто идет?

— Мы... Свои...

А один, из числа проводников, радостным голосом доложил:

— Девятнадцать штук привели...

Через минуту-другую вернулись и разведчики, которых посылал Лесницкий.

— Все спокойно. С обеих сторон стоят наши. Будут ждать, когда их окликнут.

Осторожно, соблюдая тишину, все медленно сошли к реке. В темноте с трудом можно было разобрать, где кончается обрывистый песчаный берег и где начинается вода. Не заметили и как подплыла лодка — садились в нее на ощупь, один за другим. Лесницкий впотьмах наткнулся на что-то твердое, завернутое в отсыревший брезент — двое немцев старались получше уложить тюки в лодку. Лесницкий спросил у них:

— Что это?

— Оружие.

Лесницкий улыбнулся сам себе. Про оружие до этого не шел разговор,— немцы сами позаботились о том, чтобы не явиться с пустыми руками.

Первая группа тихо отплыла от берега. Весла опускались в воду со слабым, чуть слышным всплеском, но казалось, звук летит на целую версту. От страха неприятно ныло под сердцем, казалось, все тебя видят и слышат. Но потом все стихло — потянулись напряженные, долгие минуты ожидания. Лесницкому показалось, что сквозь шум непогоды с того, дальнего, берега долетели обрывки человеческой речи, какие-то неясные команды. Затем снова воцарилась тишина, время от времени нарушаемая резкими порывами ветра...

Лодка уткнулась в песчаный берег так же тихо, как и в первый раз. Посадили вторую группу. Осталось на берегу человек пять. Лесницкий послал за часовыми. Они подошли как раз к тому времени, когда вернулась лодка. Отъезжавший с последним рейсом Лесницкий бросил на прощание:

— Освобождайте же нас поскорее... Будем с нетерпением ждать. До встречи!..

Немцы ответили дружно, зычными голосами, словно для них уже не существовало никакой опасности:

— О, наша возьмет! Ждите с победой! Мы скоро вернемся к вам!

Лесницкий еще какое-то время стоял на берегу под холодными, пронизывающими порывами ветра. Стало немного

грустно, было такое ощущение, будто вот эти люди подались в какой-то новый светлый мир, а его оставили здесь, среди сырого мрака, как лишнего и никому не нужного бродягу. Но продолжалось это недолго,— верх взяло другое чувство — чувство радости и удовлетворения, что все обошлось хорошо, и задуманная операция успешно завершена. Лесницкий повернулся к часовым, стоявшим рядом с ним.

— Ну, ребята, кажется, и нам пора домой. Вроде бы сделали все, как надо...

Вернулись в местечко на рассвете. Уже на подходе к дому Лесницкий почувствовал ужасную усталость. Он едва дотащился до своей комнаты и, даже не раздевшись, плюхнулся на кровать. С ним пришло двое парней (домой им было далеко добираться), они тоже прилегли где как. Через минуту все спали мертвецким сном.

Где-то около полуночи их разбудила перепуганная, вконец растерявшаяся хозяйка.

— Вставайте! Вставайте живее! Немцы к нам идут... Бежите отсюда...

Пока ребята протерли глаза и толком поняли, что говорит хозяйка, на кухне с шумом распахнулась дверь и послышались чужие голоса с резким немецким акцентом. Спрашивали, где живут квартиранты.

Удирать было поздно. Ребята удивленно переглянулись (казалось бы все уже кончено) и не спеша стали подниматься. В комнату вошли немецкие солдаты. Один остался возле двери, остальные приступили к перетряске. Они сразу обнаружили несколько брошюр и листовок, оставленных кем-то на столе, потом в одежде ребят нащупали револьверы...

— Живо собирайтесь! Вы арестованы!..

Лесницкий попросил разрешения умыться. Один из солдат вывел его на кухню, где висел умывальник. Лесницкий спросил у солдата:

— Вы не знаете, почему нас арестовали?

Солдат покачал головой в знак того, что ничего не понимает. Лесницкому это только и надо было узнать, и он смело обратился к хозяйке:

— Скажите, пусть передадут Андрею, что задание полностью выполнено, но троих расстреляют. Если сможет, пусть выручит.

И назвал городской адрес Андрея. Затем спокойно умылся и вернулся в комнату.

Их повели в местную немецкую комендатуру и заперли в какой-то глухой, темной каморке с крохотным окошком, в которое виден был широкий грязный двор. Оставшись одни, ребята в первую минуту тупо молчали — то ли были ошеломлены своим неожиданно новым, ужасным положением, то ли просто не знали, с чего начинать разговор и как говорить: опасаться ли, что подслушивают, или открыто, не таясь

говорить обо всем, что на уме. Лесницкий первый нарушил молчание, тихим голосом произнес:

— Плохи дела, ребята... Видно, кокнут... Надо же было так глупо попасть им в лапы...

Вслед за Лесницким заговорили остальные. И уж как-то само по себе получилось, что все говорили почти шепотом. В первую очередь занялись вопросом: кто выдал? Все были уверены, кто-то указал на них, иначе каким бы образом немцы узнали, где их квартира... Однако как ни ломали головы, ответа не находили. Так и осталось это неразгаданной, темной тайной. Затем перешли на другое: стали думать-гадать, удастся ли Андрею как-нибудь выручить их или его попытки не увенчаются успехом. Но и тут не пришли к одному выводу. Уж очень трудно было представить способы, к которым мог бы прибегнуть Андрей на пути к их освобождению. Скоро и об этом перестали говорить. Тогда для душевного успокоения принялись вспоминать о проделанной работе, об успешно завершенной операции по переправе на тот берег немецких солдат. В конце концов сумели отвлечься от своего безвыходного положения, даже заулыбались.

В тот день их не трогали. А назавтра ранним утром повели на допрос. Первого взяли Лесницкого, его привели в большую, богато обставленную комнату, где за письменным столом сидел усатый — грубого солдатского вида — немецкий офицер. Он обратился по-немецки к Лесницкому:

— Расскажите, как вы содействовали дезертирству наших солдат.

Лесницкий молча покачал головой, тем самым показывая, что ничего не понимает. Офицер удивленно уставился на него своими оловянными глазами.

— Вы не понимаете по-немецки?

Лесницкий молчал. Тогда офицер резко повернулся к часовым и крикнул:

— Не того привели. Я вам говорил о том, который приехал из города.

— Он и есть, господин поручик.

Поручик снова уставился на Лесницкого:

— Так вы говорите, не знаете немецкого языка?

Лесницкий понял, им все известно. Ему вдруг захотелось отбросить эти уловки и во всем открыто признаться — сказать резко и зло, удивить офицера своей смелостью и убежденностью. Однако вспомнил об уговоре с ребятами и решил сдержать себя и отвечать только так, как заранее договорились. Поэтому молчал и старался смотреть на офицера с видом наивного недоразумения.

Поручик тогда заговорил на ломаном русском языке. Лесницкий признался, что он большевик и ведет пропаганду среди мирного населения, однако решительно отрицал свою причастность к немецким войскам. Как ни старался поручик,

больше ничего от него не добился. Лесницкого вывели в соседнюю комнату и держали там, пока не сняли допроса с остальных. Тогда всех вместе опять отвели в ту же глухую, темную каморку.

Ребята с радостью сообщили Лесницкому, что на допросе держались дружно и говорили точно так, как было условлено. Лесницкий грустно улыбнулся:

— Теперь все равно. Они знают не меньше нас. Кто-то выдал из своих...

После допроса их больше не трогали. С тревожной настороженностью они ждали полевого суда и с тайной надеждой гадали, где будут судить: здесь, на месте, или в городе. Почему-то казалось, если поведут в город, там легче будет друзьям освободить их.

В томительном ожидании прошло два дня. На третий день к вечеру, во время ужина, когда им должны были принести по стакану кофе, в камеру зашел сам поручик в сопровождении часового. Он посмотрел на ребят и буркнул в каком-то злом замешательстве:

— Идите за мной!

И с досадой махнул на дверь.

У Лесницкого мелькнула мысль:

«Отправляют в город...»

И он быстро зашагал вслед за офицером.

Поручик вывел их во двор, потом так же молча довел до ворот и, остановившись там, бросил по-русски — нехотя и с пренебрежением:

— Центральная гостиница... номер третий...

И вернулся вместе с часовым в помещение комендатуры.

Ребята опешили, что это значит? Выпустили на свободу? А может, какая-нибудь ловко подстроенная провокация? Почему центральная гостиница?

Они несмело открыли калитку — может, там стоит охрана? Но за воротами никого не оказалось. Тогда они осторожно вышли на улицу, осмотрелись по сторонам и не спеша подались в сторону, где находилась местечковая «центральная» гостиница.

У ближайшего перекрестка они вдруг напоролись на рыжего немца, который не раз приходил на их тайные совещания. В первую минуту Лесницкий крайне удивился: почему он остался, почему не пошел со своими товарищами? Потом мозг пронзила неожиданная мысль, как огнем обожгла страшная догадка, сами собою сжались кулаки. Он быстрым шагом подошел к солдату и строго спросил:

— Почему не ушел со всеми?

Немец с испуганным видом быстро-быстро заморгал белесыми ресницами.

— А кто вам сказал, что я буду удирать? Я никогда об этом не говорил...

— Это ты предал нас? Говори...

Немец осмотрелся вокруг и снова заморгал глазами. Но теперь уже хорошо было видно, что он не боится — в хитрых глазках сверкнул злой огонек, а на губах пролег след осторожной, подобострастной улыбки.

— Я могу не отвечать вам, и вы со мной ничего не сделаете... ха-ха-ха... А если захочу, то скажу — от этого мне также ничего не будет... А вот почему я выпустил тех, почему раньше не донес, а? Почему девятнадцать немецких солдат перешли на ту сторону? Хе-хе-хе!.. И только потом сообщил... И вот сейчас признаюсь, потому как совсем не боюсь вас...

Лицо солдата, сплошь изъеденное оспой, скривилось в глупой улыбке. На нем отразилось что-то наглое, ретивое,— оно ошеломило Лесницкого, все перевернуло в его душе, вызвало крайнее удивление. Он вплотную подошел к немцу и с нескрываемой ненавистью произнес:

— Зачем ты донес на нас, а? Все было сделано... Чего же ты добивался?

Немец высоко вскинул свои редкие белесые брови, видно, намереваясь сказать что-то резкое, злое, однако тут же снова опустил их — увидел вдали офицера, быстро шагавшего в его сторону. С угодливо-озабоченным видом он кинулся ему навстречу, уже издали приспосабливая свою невзрачную, худосочную фигурку для расторопного и ловкого отдания чести. Ребята презрительно посмотрели вслед и пошли своей дорогой.

Этот рыжий немец — живой, изворотливый — с золотушными бровями и ресницами (что придавало его глазам дьявольскую хитрость) прошел через душу Лесницкого неразгаданным и никчемным человечком. Позже Лесницкий не раз вспоминал назойливое моргание белесых ресниц, и его всегда волновал прилив глухой ненависти и презрения. Что ему надо было, чего он добивался? То ли его водила мрачная сила человеческой жадности, то ли было в нем что-то более глубокое, свое (может, болезненное или фанатичное)?

В гостинице (ужасно грязной, хотя и «центральной») ребят встретила нервная и чрезвычайно настороженная старая еврейка. Она их почему-то ни о чем не спросила, а сразу повела темным коридором в глубь здания и показала на дверь третьего номера. Открывая дверь, Лесницкий почувствовал приятное волнение,— ждал, что вот-вот наступит разгадка всей этой странной истории.

В небольшой невзрачной комнатушке стоял полумрак. Наверное, всякому, входящему в «нумер», казалось, что этот серый мрак волнами ходит из угла в угол. В комнатушке было совершенно тихо (а ведь ждали чего-то шумного, резкого), за столом, положив голову на руку, сидела женщина. Когда ребята вошли, она медленно и, кажется, совершенно

безразлично подняла голову и посмотрела на них. Лесницкий впился глазами в ее лицо, очень бледное во мраке, и, казалось, не хотел узнавать, боялся ошибиться, на нем лежала печать чего-то отдаленно знакомого, того, что обычно находим мы у каждого близкого нам человека.

Женщина ласково и тепло с ними поздоровалась, пригласила сесть. Было мгновение, когда, даже услышав голос и сразу узнав ее, Лесницкий не мог поверить, что перед ним Нина, никак не мог сопоставить ее, такой знакомый, образ с образом этой бледной во мраке женщины. Голос Нины вначале показался каким-то странным, необычным, почти чужим. Возможно, потому, что встреча была совсем неожиданной.

Нина говорила тихим, напряженным голосом:

— Я выкупила вас за деньги, которые оставил Андрей. Сама надумала это сделать, Андрей еще не вернулся... Не знаю, что за деньги,— Андрей просил их очень беречь... Но, мне кажется, за жизнь трех человек их можно было отдать, не так ли? Как вы считаете, ребята?

В ее голосе слышна была милая материнская забота, хотя она, видно, и не была до конца уверена, что поступила именно так, как это было нужно. Лесницкий сразу уловил сомнения и, чтобы успокоить ее, сказал:

— В данном случае можно рассуждать только о том, стоило ли нас выручать или не стоило. Что же касается способа — другого быть не могло...

Нина тепло улыбнулась.

— Как это не стоило! Выходит, надо было бросить вас на произвол судьбы, погибайте себе! О, нет! Нам нельзя разбрасываться людьми... Люди у нас — самая большая ценность...

Нина зажгла лампу, и трепетный, мерцающий свет тускло озарил ее измученное лицо, глубоко запавшие глаза — потемневшие от страшной усталости. Она стала рассказывать, как ей удалось спасти их от верной смерти.

— Я получила от вас известие в тот же день и сразу поехала. Больше не было кому. Андрей не вернулся, а найти кого-либо другого и поручить такое дело мне не удалось... Поначалу было очень турдно — немцы мне просто не верили. Видно, думали, у меня денег нету, что я только так с ними торгуюсь. Три дня не отходила от них, что только не предпринимала... Измоталась вконец... Уже никаких больше сил не было... А сегодня встретила на улице поручика и пригласила сюда. Он явился, и я показала деньги, чтобы разогреть аппетит... Думала, отберет... У него так жадно горели глаза! Приготовилась защищаться до последнего. Решила, лучше умру, а так не отдам... Но вышло на удивление просто, точно как у рыночных торгашей. С полчаса спорили и порешили на том, что за каждого из вас дам ему по тысяче марок... Вот и все...

Лесницкий в шутку заметил:

— Теперь хоть будем знать свою рыночную цену... Ничего себе, тысяча марок... Четыре лошади можно купить да и каких еще...

Ребята дружно захохотали, а Нина как будто и не расслышала шутки. Неподвижно смотрела на желтое пламя закопченной лампы, глубоко о чем-то задумавшись. Потом с явным усилием отвела в сторону покрасневшие от усталости глаза и тихо, как будто сама для себя, произнесла:

— Пора домой... Как можно скорее... Тяжело, когда не знаешь, что там...

Лесницкий очень ясно вспомнил, что произошло недавно в жизни Нины, почему-то испугался и в неосознанном волнении схватил ее за руку.

— Нина! А сын-то как? С кем он сейчас?

Увидев, как Нина болезненно вздрогнула, Лесницкий понял, что не надо было теперь об этом спрашивать, что, не подумав как следует, он еще больше разбередил свежую рану ее. Нина судорожно сжала губы, стараясь скрыть свое волнение, но они — бледные, непослушные — продолжали мелко-мелко дрожать, в глазах сверкнули первые серебристые слезинки. Ей бы надо было в эту минуту немного помолчать, успокоить расходившееся сердце, приглушить возбужденные чувства и душевную горечь, а она стала говорить (видно, не хотела тяжелым своим молчанием портить остальным настроение), и голос выдал ее — он потерял прежнюю мягкость и плавность, стал каким-то хриплым, прерывистым.

— Сын был слабеньким, болезненным, когда я его оставила... когда поехала... Я ничего не знаю... Там Славин... Славин присматривает за ним... он согласился побыть с ним... А может... к этому времени... не знаю я ничего...

Она умолкла, ребята тоже молчали — сидели хмурые, сосредоточенные, испытывая в душе чувство то ли стыда, то ли раскаяния (будто это они виноваты, что Нина больного малыша оставила дома). Первым нарушил молчание Лесницкий. По его тону нельзя было понять, или он винит ее в чем-то, или сам чувствует за собою вину. С искренней болью он произнес:

— Зачем было это делать? Может случиться, что из-за нас потеряете ребенка... Неужто нельзя было придумать что-либо другое. Ведь это — жертва, тяжкая жертва...

Лесницкий понимал: говорит не то. Знал, Нина поступила правильно, должна была так поступить — это ее долг. Затем он говорил, что ужасно видеть так близко самопожертвование человека (да, это было самопожертвование) и, кроме того, видеть ее такой спокойной, сдержанной, без какой бы то ни было позы.

Слова Лесницкого взволновали Нину еще больше. Она

гневно сверкнула глазами (когда-то было так со Славиным) и резко — сквозь слезы — ответила:

— Я не ради вас это делала... Вы никакого права не имеете так говорить...

Потом, неожиданно сменив тон, заговорила горячо, запальчиво, как будто спешила куда-то.

— Лесницкий... послушайте... Мне надо с вами поговорить один на один...

Ребята тут же распрощались и вышли из комнаты. И вот тогда Нина дала полную волю своим чувствам. Громко всхлипывая от невыносимых душевных страданий, она с нервной поспешностью заговорила:

— Я не могу сдержать рыданий, Лесницкий... Я совсем не стыжусь вас... я вам верю... Лесницкий... это просто слабость человеческая... все это пройдет... Вы не посмеете надо мной смеяться... вы поймете... все поймете. Если б я знала, как там, дома, я не плакала бы... Но ничего, минутная слабость, это пройдет... Не обращайте на меня внимания, Лесницкий. Как видите, слабая я стала... никуда не гожусь...

Лесницкий не стал ее успокаивать, старался больше молчать. Он знал, от его ненужных слов ей будет еще тяжелее. Нина минут через пять сама успокоилась и, смахнув рукой слезы с лица, уже спокойным, ровным голосом сказала:

— В три часа утра сюда приедет кучер, я договорилась с ним... Поедем вместе в город... Наверное, Андрей уже вернулся, массу свежих новостей привез... Скорее бы с этими немцами только разделаться — нам сейчас до зарезу мир нужен...

В словах Нины опять звучало обычное для нее спокойствие. Каждое движение ее было сосредоточенным, целеустремленным. В такие минуты Нина выглядела обычно очень милой и симпатичной, особенно когда заводила разговор про общее дело, когда в большую заботу миллионов щедро вливала тепло и своего открытого доброго сердца.

Лесницкий относился к Нине с большим уважением. В эту тяжелую для нее минуту ему хотелось сказать ей что-нибудь очень теплое, ласковое и вместе с тем многозначительное, чтобы показать, как хорошо он ее понимает и что они духовно близки друг другу. И он начал с длинного предисловия, старательно подбирая каждое слово — только бы вновь не нарушить ее покоя.

— Вы, Нина, не обижайтесь, если я, может, глупость какую скажу... Ведь не могу таить от вас никаких секретов, наоборот, мне приятно быть с вами совершенно откровенным... Я не могу сейчас молчать, мне хочется как-то зафиксировать это мое настроение... теперешнее... Я на самом деле чувствую по отношению к вам что-то очень доброе, хорошее. Вы сказали, что слабая стали... Нет, нет, вы не слабая, Нина. Ваша сила поразила меня сегодня... Я очень признателен

вам — не за то, нет... За вашу огромную силу воли, за вашу непосредственность... Рядом с таким человеком и сам вроде бы смелее чувствуешь себя... На самом деле... Я совершенно серьезно говорю, Нина, вы сильный и добрый человек... Вы — замечательный товарищ...

Нина смотрела на него с чистой и ласковой улыбкой. Потом, когда он кончил, она, собравшись с мыслями, задумчиво, тихо произнесла:

— Жизнь у меня, Лесницкий, была тяжелая — она воспитала меня... Вы ведь знаете — я когда-то вам рассказывала,— мне сызмальства пришлось горе хлебать... Рано потеряла мать, брата, отца. Вся жизнь — нужда, лишения... Вот и ищешь чего-то лучшего, веришь в него, восхищаешься... Сейчас я почему-то совершенно уверена, что мы скоро дождемся лучшей жизни. Поэтому я и смотрю на все широко раскрытыми глазами, со светлой надеждой — и не колеблюсь... Иногда, правда, нет-нет да и нападет хандра, какая-то слабость, как вот сегодня... Но это обычно проходит... Люблю сына, до боли жаль его... Подчас дикий страх одолевает, боюсь потерять его... Сижу вот здесь, а душа рвется домой, как он там?.. Хуже нет, когда не знаешь...

Она снова опечалилась, снова стали влажными добрые, милые глаза. Лесницкий решил перевести разговор на другую тему, стал рассказывать о ночной операции на Днепре. Нина заинтересовалась, попросила рассказать все по порядку.

Они решили совсем не ложиться спать и дождаться приезда кучера.

Ребенок умер на руках у Нины на второй день по ее возвращении в город. В это время дома у нее находились Лесницкий и Славин. Когда утихли последние мучительные стоны малыша, Нина остановилась посреди комнаты и какое-то время безумными глазами смотрела на посиневшее личико сына, словно изучала дикую и страшную тень холодной смерти. Затем осторожно положила безжизненное тельце на кровать и тем же безумным взглядом опять уставилась на него. Смотрела долго и мучительно. Потом едва слышно произнесла, как будто рассуждала сама с собой:

— Только-только на свет родился... А ведь мог стать большим и сильным...

Молча отошла к окну и горько зарыдала. Тогда к ребенку подошел Никодим Славин и, глядя на него, заговорил протяжно и жалостно:

— Да... Мог стать большим и сильным... Вот как шутит жизнь над человеческой судьбой. Ни в чем нет уверенности — все зависит от случайных и, чаще всего, от нелепых ситуаций... Всему и в любую минуту угрожает смерть... Какой родился здоровый и крепкий ребенок... Жить бы ему да

жить, если б не случай... Страшно становится, жутко... Случайно на свет рождаемся, случайно умираем... Ничего нет постоянного...

Нина немного успокоилась, подошла к Славину и легонько оттолкнула его рукой.

— Уйдите вы, Славин, не каркайте... Уходите, я сейчас хочу побыть одна.

Ребята нерешительно переглянулись — можно ли оставить ее одну в такую минуту? — но она с еще большей настойчивостью попросила их уйти, и они вышли.

Под вечер, когда в убогом — крохотном и каком-то смешном — гробу несли ребенка на погост, Нина внешне выглядела спокойной. Она шла рядом со Славиным и все время о чем-то говорила с ним. Вообще с того дня Лесницкий почти всегда встречал ее со Славиным. Он внимательно следил за их взаимоотношениями, однако заметить что-либо определенное ему не удавалось. Временами у них наблюдались теплые дружеские связи (со стороны Нины они были даже более ярко выражены), временами же Нина становилась сухой, замкнутой — тогда между ними пролегала холодная отчужденность, и Славин ужасно страдал. Лесницкий неплохо знал Нину и понимал: она хочет, пытается полюбить несчастного Никодима, и с нетерпением ждал, чем все это кончится. Однако вскоре ему пришлось прекратить свои наблюдения,— организация командировала его проводить на селе революционную работу.

Странствуя по деревням и налаживая связи с революционными ячейками, а иногда даже с отдельными товарищами, Лесницкий пристально вглядывался в жизнь крестьянских масс, внимательно изучал скрытые, порой совершенно незаметные со стороны сдвиги в людских настроениях, подводил итоги самым различным симпатиям и желаниям, которыми жило в те дни белорусское крестьянство. Он быстро убедился, что стихийная борьба, которую разожгла на селе Октябрьская революция и которую со зверской жестокостью пытались задушить сначала польские легионы, а затем кайзеровские полки, что эта борьба только ушла в глубь народных масс, но не затихла, она продолжает бушевать, бурлить и угрожает огромной силы взрывом. Он видел, как угнетенное крестьянство настойчиво и решительно борется с помещиками, вернувшимися в свои гнезда в обозах захватчиков. Он видел, как обобранные до последней нитки крестьяне то тут, то там дают дружный отпор немецким грабителям. Он видел, как издерганная, раздраженная крестьянская молодежь стихийно организует партизанские отряды, готовые к широкой массовой борьбе. Он видел, как по всей оккупированной Белоруссии с каждым днем, с каждым часом растет и ширится настойчивое требование мира и свободы, как с каждым днем смелее становятся людские взгляды, с надеждой устремлен-

ные туда, на восток, откуда должны прийти красные освободители... И вместе с тем, как он все это видел, в нем росла и воля борца, сознание неразделимого единства с коллективом, за который и вместе с которым он сражается. Подчас ему казалось (он почти физически ощущал это), что бурное народное возмущение поднимает его на своих крутых волнах куда-то высоко-высоко, на удивительную и прекрасную возвышенность — где яркие молнии и сильные порывы ветра, где сжимается сердце от наплыва пылких чувств, а в груди растет, ширится новая непобедимая сила — железная сила коллектива — и зовет на борьбу до победы, до полного освобождения...

Когда в начале осени Лесницкий вернулся в город, он застал там чрезвычайно нервную, напряженную обстановку. За неделю перед этим по подъездам поползли слухи, что немцы покидают город и в него сразу вступают красные. А дня через два после этого, в полдень, на глазах удивленных людских толп, по главной улице стремительно промчался автомобиль, на котором весело трепетал ярко-красный флаг. В автомобиле сидело несколько человек в кожаных тужурках с наганами на боку — они задорно поглядывали на публику и улыбались. Про эту машину вскоре прослышал уже весь город, все знали, что на нем ехали представители большевиков для предварительных переговоров с немецким командованием.

С этой минуты все и началось. Зашевелились суматошно местные буржуи, в паническом страхе стали метаться по улицам. Начался поспешный, полный тревоги и ужаса, выезд из города богачей. Одни уезжали навсегда, со всем своим добром (послужные немцы за баснословные деньги предоставляли вагоны и даже целые эшелоны), другие покидали свои уютные гнезда налегке — только бы спасти собственную шкуру. Эта кутерьма ошалевших господ в той или иной мере отражалась и на поведении других жителей, создавая общее напряжение в городе.

В это же время с неистощимой энергией взялась за работу местная большевистская организация. Не выходя из подполья, она сумела развернуть очень активную деятельность по подготовке к установлению в городе советской власти.

Большевики готовили свои резервы, изучали вражеские силы, подбирали кадры советских работников, разыскивали и брали на заметку материальные ресурсы, которые можно было бы использовать в первую минуту. С этой целью они предпринимали попытки задержать отъезд некоторых богачей, чтобы не дать им возможности вывезти с собой золото и ценное имущество. Одновременно с этим велась активная работа среди немецких воинских частей — в те дни немало солдат перешло на сторону красных.

Перед самым приходом красногвардейских отрядов подпольной большевистской организации стало известно, что в городе в спешном порядке организуется контрреволюционная группа, поставившая перед собой цель бороться с большевиками после ухода из города немцев. Было установлено, что во главе этой группы стоит кучка помещиков, имения которых находятся на территории, контролируемой красными, однако проникнуть в их логово удалось лишь за два дня до ухода немцев.

В тот день в третьем часу пополудни к Лесницкому прибежал один из товарищей и сказал, что надо немедленно идти к Андрею. Спустя минут десять, они уже входили в знакомый Лесницкому неприметный домик на окраинной улице. Там уже находилось несколько человек. Как только Лесницкий вошел, Андрей тотчас обратил на него внимание.

— Ага! Вот кто знает! Он там был не один раз... Сейчас все узнаем...

И, заметив на лице у Лесницкого крайнее удивление, стал объяснять:

— Понимаешь, Василь, какой случай... Мы обнаружили главаря этой черной сотни... Знаешь, кто у них там самый главный? Земляк твой, Карл Иванович Шемпель... Сейчас тебе надо отправиться туда с кем-нибудь из наших товарищей и проследить, чтобы он не скрылся тайком... Вечером произведем налет на квартиру и попытаемся его взять... Понял задачу?

— Понял!

Лесницкий ни о чем не спрашивал и не ждал никаких объяснений,— взял с собой одного парня и тотчас отправился на знакомую улицу. От этого неожиданного сообщения и удивительного этого совпадения у него заметно испортилось настроение, сильно защемило сердце — то ли от предчувствия чего-то страшного, то ли от возможной встречи, неприятной и ненужной. О Карле он и думать не стал,— сразу в мыслях мелькнул и остался там образ Раисы. Именно она пробудила в нем неприятные чувства и воспоминания.

Когда до знакомого дома оставалось уже совсем немного, Лесницкий увидел, как оттуда вышел какой-то мужчина и направился в их сторону. Еще издали Лесницкий приметил в нем что-то знакомое, но окончательно уверился в этом, когда тот приблизился шагов на десять. (Да и то поверил с трудом — не мог понять, почему он вышел от Карла.) Навстречу шел Матрунин.

К великому удивлению Лесницкого Матрунин еще издали узнал его и поздоровался с подчеркнуто едкой деликатностью:

— Добрый день, молодой человек! Как давно мы с вами не виделись! Прогуливаетесь или по делу куда?

Улыбка у Матрунина была отвратительная — заискиваю-

щая и вместе с тем злая. Лицо его стало еще мельче, все сморщилось — покрылось густой сеткой мелких морщин. Лесницкого всего передернуло от этой встречи, и он переспросил преднамеренно грубо и фамильярно:

— А вы, дядюшка, видно тоже прогуливаетесь?

— О, нет! Я спешу на экстренное собрание нашей партии...

— Большевиков встречать готовитесь?

— Хе-хе... Мы их встретим, да, да... Еще и как... Мы и воров можем встретить... Пожалуйста, милости просим, заходите в квартиру, вот наши вещи... может, чашечку чаю? Хе-хе... Приходится встречать, любезный...

Лесницкий с многозначительным ударением произнес:

— А некоторые бегут...

Старик явно почувствовал себя неловко.

— Нам не страшно... Мы все отдали на революцию... Больше не имеем... Извините, пожалуйста... Может, шкуру нашу возьмете? Хе-хе...

И, уже собираясь уходить, вдруг спросил с ехидным намеком:

— Вы, молодой человек, кажется тоже партийный, не правда ли?..

Лесницкому почему-то стало совершенно ясно, что Матрунин был у Карла. В эту минуту он также вспомнил предостережение большевистской организации,— ему советовали всячески избегать местных «социалистов», которые предадут скорее, чем кто-либо другой. Лесницкий подумал:

«Действительно, такие выдадут запросто...»

Ребята до позднего вечера просидели в соседнем глухом палисаднике, куда без особого труда забрались через дыру в заборе и откуда хорошо был виден парадный вход нужного им дома. В дом то и дело входили и выходили разные незнакомые люди, однако Карл среди них не появлялся. Вдруг в конце улицы показалась небольшая группа своих, ребята покинули палисадник и пошли навстречу.

К ночи собралось человек десять вооруженных парней. Вначале хотели окружить дом со всех сторон, но потом решили просто зайти с парадного входа и, соблюдая полный порядок и все формальности, произвести необходимые аресты.

Часу в десятом подошли к дому. На этой улице совсем не было фонарей, и только из ярко освещенных окон на мостовую падали широкие полосы света да у входа тускло поблескивала слабая электрическая лампочка. Ребята какое-то время держались в тени, затем смело вышли на свет и направились к крыльцу.

Лесницкий шел впереди — ему поручили руководство всей операцией. Он решительно шагнул на первую ступеньку, но в этот момент распахнулась дверь, и на пороге показалась Раиса. Она сразу увидела ребят и остановилась, подозритель-

но вглядываясь в суровые незнакомые лица. Лесницкому надо было сразу ее задержать (позже все об этом говорили), но он от неожиданности растерялся и молча смотрел на нее, не зная, как ему поступить. Тогда Раиса резко повернулась и пошла назад, гулко хлопнув за собой дверью. Лесницкому показалось, что она его узнала, и в ту минуту, когда их взгляды встретились (он стоял впереди всех), в ее глазах сверкнул холодный, злой огонь.

Дверь в квартиру была плотно закрыта. Лесницкий раздраженно, громко стучал и ругался, а ребята тем временем придумывали разные способы, как проникнуть внутрь. Все были уверены, в дом их теперь не пустят. И ошиблись. Спустя минуту или две в прихожей послышались шаркающие шаги, затем заскрипел тяжелый засов, и монументальная тетушка Раисы отворила дверь. Только позже ребята узнали, почему им оказали такое внимание; в первый же момент крайне удивились и даже не сразу отважились переступить порог.

Во всей квартире они не нашли ни единого человека, кроме Раисы и ее тетушки. Раиса сидела в своей комнате. Лесницкий туда не пошел и не видел ее, но ребята потом рассказывали, что она была очень взволнована и ни с кем не обмолвилась ни словом, только злобно поблескивала глазами и кусала бледные, мелко дрожавшие губы. Тетушка же ни на минуту не умолкала, охотно поддерживала разговор, отвечала на вопросы, показывала все углы в доме, где мог бы спрятаться человек. Это очень удивило Лесницкого, но догадка мелькнула в его голове лишь тогда, когда он заметил с надеждой устремленный на дверь взгляд тетушки. Лесницкий все понял и громко крикнул:

— Ребята! Бежим скорее отсюда, здесь нам готовят западню! Живей!

И на самом деле, не успели они во мраке разбежаться во все стороны, как послышался топот лошадей: к дому галопом подъехал немецкий отряд. Стало ясно теперь, Карл выбежал через черный ход и вызвал немцев.

Так неудачно кончилась эта смелая попытка схватить главаря контрреволюционной шайки. Но эта черная стая ничем уже не проявила себя после вступления красных.

И вот наступил долгожданный, радостный день, когда над городом взвилось красное знамя, и люди зажили новой жизнью, овеянной славой дальних походов, героизмом широких народных масс. Наступила жизнь, полная резких контрастов и вместе с тем удивительной согласованности и гармонии.

Все это произошло около двух часов пополудни; несколь-

кими же часами раньше Лесницкому случилось быть свидетелем, как от ошибочного шага в жизни вянут у человека дорогие и потому особенно яркие мечты, как гаснет пламень сердца и как остается он, человек, с частью холодного пепла на дне опустошенной души.

Славин сам пришел к Лесницкому (куда ему больше идти, как не к нему!) и сделал вид, что совершенно спокоен, решительно ничем не взволнован. Когда он сказал, что уезжает в деревню, то любой, кто не знал его, мог бы подумать, что он действительно отправляется туда по какому-то важному делу. Но это только тот, кто не знал его, Лесницкий же с первого взгляда понял, Никодим принес с собой какое-то неприятное известие, душевную свою боль и что от его напускного безразличия через минуту-две не останется и следа.

Славин на этот раз был очень неразговорчив, произнес только несколько слов, умолк и уставился в окно мрачным застывшим взглядом. Вслед за ним невольно посмотрел в окно и Лесницкий,— на улице было серо, мрачно (слепой осенний день), и когда Лесницкий перевел взгляд на затуманенные глаза Славина, ему показалось, что на сердце у Никодима, наверное, такой же серый мрак, как и на дворе.

Перед тем как открыть душу Лесницкому, Славин дрожащими руками протер очки (без очков он очень плохо видел) и как-то странно, совсем по-ученически поправил ремень, обтянул свою длинную поношенную рубашку.

— Сильному, Василь, хорошо на свете живется, только сильный может найти себе место в жизни... даже не найти, а взять, захватить, вырвать силой все, чего требует его натура, что ему нравится, а это значит — он на все имеет право... Ты думаешь, здесь несправедливость какая-либо? Это — наивысшая, наиглубочайшая справедливость... Да, да... Сильный берет потому, что он использует взятое полностью, без остатка, слабый же только испортит, замусолит... Зачем портить красивые вещи! Отдай тому, у кого есть желание и возможность употребить их с пользой, проглотить, удовлетвориться... Ха-ха-ха... Вот она — справедливость! Отдай, не держи попусту, не прячь, потому что все равно отберут, ха-ха-ха...

Никодим, словно под непосильной тяжестью, сгорбился, угрюмо качал головой и изредка улыбался своей безмерно горькой улыбкой — он в эту минуту выглядел ярким воплощением людского разочарования. Потом судорожно поднял голову, посмотрел на Лесницкого растерянным взглядом и заговорил быстро-быстро, не обращая внимания, что и голос его дрожит и губы едва управляются пропускать массу напористо-путаных слов:

— А как же нам, а? Слабым как, скажи? Ведь и нам хочется немножко счастья, как всем... Мы тоже любим красивые вещи, как нам жить без них, а? Что же делать? Скажи, что нам делать?..

Лесницкий ответил — то ли шуткой, то ли серьезно:

— Философствовать.

Славин на минуту задумался.

— Да... Ты, конечно, шутишь, а ведь сказал правду. Если ничего не возьмешь от жизни, если все отберут, тогда надо создавать жизнь в своем нутре, мираж тогда нужен, иллюзия... Мы, слабые люди, все большие фантазеры, воображение нам заменило и волю и, если хочешь, разум... Знаешь, Василь, мне кажется, что только слабые люди могут быть художниками, потому что искусство — это высшая граница иллюзии, и сильный человек ничего тут не сделает, воображения не хватит...

Лесницкий деликатно попробовал было подвести его к более конкретной теме.

— Вот что, Славин... Я понимаю истоки твоих рассуждений, ты можешь мне о них не говорить. Но мне интересно узнать, что ты намереваешься дальше делать? Ты уже думал об этом или нет?

Вместо ответа Никодим мечтательно отвел в сторону свой затуманенный взгляд и медлительным голосом произнес:

— Она боится, что бросит меня в первый же день, как только я стану для нее лишним. Она очень крепко любила своего ребенка — и все равно бросила. Это женщина необыкновенная — ей силы и ума не занимать. Она хотела меня полюбить, я это чувствовал... да и она сама мне сказала. Хотела, чтобы я был в жизни более кстати... так и сказала — «кстати». Ну, а что я сделаю?.. Я старался, делал все, что мог, чтобы быть «кстати». Я не обижаюсь на нее, ничуть... все равно буду любить, буду помнить... Ведь те дни мне казались прекрасными — она была очень приветливая, внимательная, ласковая ко мне, и я был уверен, она меня полюбила. Ну, а сейчас...

— Что же ты будешь делать сейчас?

— Поеду в деревню, в свою школу... Буду трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь, чтобы не умереть... умереть я все-таки не спешу. Ну, и что еще... мечтать буду, может, стихи писать буду... давно уже не брался... вот так...

Он опять уставился в окно своим застывшим взглядом, и Лесницкому снова показалось, что на душе у Никодима беспросветная серая осень и на нее также, как дождевые капли, оседают гнилыми подтеками никому не нужные унылые слезы.

Во второй половине дня ребята вместе пошли в город. Сидя в доме, они и не заметили, как распогодилось и посветлело на дворе. Теперь по небу, подгоняемые свежим ветром, плыли куда-то вдаль светлые облачки, между которыми выглядывало синее небо и — изредка — холодное осеннее солнце.

На главной улице ребят захватила в свои объятия плот-

ная шумная толпа и потащила к мосту, откуда должны были появиться первые отряды красногвардейцев. Город гудел звонкими голосами, песнями, криками радости и отчаяния. Возгласы восхищения сменялись глухим ворчанием недовольных. И во всем этом гомоне людских масс царило нервное возбуждение, нетерпеливое ожидание чего-то нового, необыкновенного, что с минуты на минуту должно было появиться с того берега Днепра.

Изредка по улицам проносились в панике последние беглецы, которые уже, наверное, и сами толком не знали, куда бегут, где будут искать убежище от непонятной и грозной силы. Лесницкий видел, как группка людей остановила одного растерянного мещанина, который по явному недоразумению попал в шайку богачей со своим небольшим возом разного тряпья. Горожане со смехом стали его уговаривать остаться. Сначала он не поддавался на увещевания, но потом размашисто плюнул и повернул назад свою немощную лошаденку. Его проводили одобрительными возгласами и громким хохотом.

Кое-где попадались на глаза отдельные немецкие всадники, а перед самым мостом промчался навстречу толпе эскадрон «гусаров смерти», в последний раз сверкнув своими блестящими, украшенными эмблемой смерти касками.

На берегу Днепра стояло полно народа. В разных местах одиноко и несмело реяли красные флаги, кое-кто уже нацепил, соответственно моменту, красные бантики. Небо очищалось от последних облачков, и прохладный осенний день еще больше оживал под яркими лучами багряного солнца.

Ребята, с трудом протиснувшись сквозь толпу, нашли наконец себе свободное местечко у самого начала моста. Ждать было весело. Людской гомон вокруг рождал в груди приятное, легкое волнение — оно постепенно росло, ширилось, горячей волной пробегало по телу, переходило в радость, в восхищение; хотелось громко выкрикнуть что-либо или затянуть веселую разудалую песню.

Весть о том, что приближаются отряды красных войск, принесли звуки оркестра, долетевшие с противоположного берега Днепра. Бравурная мелодия марша заставила людские толпы вздрогнуть, зашевелиться в новом, еще большем возбуждении.

У Лесницкого от неожиданного волнения учащенно забилось сердце. Затаив дыхание, он устремил свой взор в ту сторону, откуда долетала музыка. Просто не верилось, что вот сейчас в город вступят свои, что они принесут сюда тот удивительный, невиданный еще в мире порядок, которого с таким нетерпением ждали тысячи обездоленных и за который они готовы сражаться и умирать.

С каждой минутой звуки оркестра становились все громче, все с большей силой толкали они перед собой могучий

людской вал, разжигали в груди неугасимое пламя борьбы и свободы.

Еще больше, еще... Народ гудит от напряжения, от наступающего торжества.

В золотистых солнечных лучах кровавым пламенем вспыхивают флаги.

А вот и первые колонны. Люди в обычной рабочей одежде — с наганами, с винтовками. У некоторых пулеметные ленты на груди. Это партийная организация. У всех лица сияют радостными улыбками. Сила эта рождена коллективом — она у каждого бойца, она связывает и цементирует их волю, направляет их усилия.

Музыка заполонила всю улицу, в ней тонули громкие возгласы и песни, которые воспринимались тоже, как музыка. Музыкой звучали скрежет пушечных лафетов, рокот грозных броневиков, чеканный шаг красногвардейских колонн.

Неповторимо чудесная музыка.

И вот уже на площади, где когда-то сверкала мундирами и раскормленными физиономиями надменная царская ставка, развернул свои могучие крылья народный митинг. Кто-то крикнул над самым ухом Лесницкого:

— Братцы! Знамя! Вон... вон... вверху!.. Смотрите!

На городской каланче гордо реяло яркое красное знамя.

А на трибуне кто-то хорошо знакомый — высокий, неповоротливый — на всю силу кричит грубым охрипшим голосом, перекрывая возбужденный шум толпы:

— Браток! Багун! Багун, ура!.. Да здравствует революция!..

Потом люди веселыми толпами ходили по улицам города и пели песни, на каждом перекрестке устраивали летучие митинги. Лесницкий совсем охмелел от этого веселья, от торжественной радости — пел до хрипоты, возбужденно кричал, рвался на трибуну и выступал с путаными пламенными речами, которыми сам себя разжигал, пожалуй, больше, чем своих слушателей.

После одной из таких речей, когда он, сжатый многолюдной толпой, стоял неподалеку от трибуны и вытирал платком вспотевшее лицо, его кто-то довольно сильно толкнул в плечо. Лесницкий повернулся и увидел Халиму — худого, заросшего щетиной, с забинтованной рукой.

— А ведь я говорил, что встретимся, когда большевики придут в город... Видишь, вот я и здесь...

Они выбрались из толпы и, отойдя в сторону, остановились. Лесницкий спросил:

— Ну, где пропадал, Халима?

Халима какое-то время молчал, потом, махнув рукой, ответил без особой охоты:

— А не все ли равно... Воевал... А вот ты на трибуне здорово выступил... Гладко получилось...

Лесницкий улыбнулся.

— Сегодня не время следить за тем, кто как говорит — гладко или нет. Сегодня говорят потому, что молчать просто невозможно. Ведь у нас у всех большой праздник. А гладкие речи будем произносить потом. Да и что там речи — работать надо, не до речей сейчас...

Халима будто и не слышал Лесницкого, только проворчал в ответ недовольным тоном:

— Где начинаются торжества, там обычно не место бунту.

— Ну и что?

— Мало бунта... Еще много бунта нужно... Надо поискать, где он еще нужен...

— Как тебя понимать?

— А очень просто... Мне здесь нечего делать... Прощай, Василь!..

— Ты куда?

Халима не ответил. Он молча повернулся и ушел, затерявшись в толпе — высокий и неповоротливый, как медведь. С тех пор его больше не видели, и никто не знал, где он совершает свой универсальный бунт.

В тот же день вечером уехал в деревню и Славин — зарабатывать свой кусок хлеба, мечтать и сочинять сентиментальные стихи.

А над городом трепетало красное знамя... Вокруг начиналась новая жизнь, полная резких контрастов и прекрасной гармонии.

ЭПИЛОГ

В начале осени 1920 года особый батальон Красной армии, комиссаром которого был Василь Лесницкий, получил приказ в срочном порядке перебазироваться с польского фронта на восток Белоруссии для борьбы с бандитизмом. Основным пунктом, вокруг которого батальон должен был развернуть свою деятельность, в приказе значился родной город Лесницкого.

Эшелон прибыл на место во втором часу пополудни и сразу встал под разгрузку. Только в девять часов вечера Лесницкий сумел вырваться в город. Он сразу поехал к Андрею, потому что знал, Андрей занимает в городе одну из ответственных должностей, и хотел заранее побеседовать с ним об условиях дальнейшей работы. Кроме того (а может, это и главное), просто тянуло повидать близких друзей, знакомых, поделиться впечатлениями да и, наконец, хотелось посидеть немного в тепле и уюте (осень была сырая, холодная, с бесконечными моросящими дождями).

Дома он застал Мокрину. По всему было видно, она обрадовалась приезду Лесницкого. В ее глазах — и теперь еще по-детски чистых — сразу засветились веселые искристые огоньки. Она немного смутилась, когда он переступил порог, и поглядывала с застенчивой, мягкой улыбкой.

— Где ты так зарос щетиной? Совсем стариком стал... А борода-то какая!..

Лесницкий широко заулыбался.

— Ерунда. Завтра утром побреюсь... Не узнаешь... Таким стану красавцем, что и не наглядишься... А где же ваши все?

— Нина в деревню уехала, в командировку. Она ведь сейчас работает в женотделе. А мой Андрей всегда так допоздна задерживается. Весь день не бывает дома. Горе мне с ним, да и только...

— Что случилось?

— Нет, не в этом дело... Просто порядка настоящего нету в доме... А чтоб скучать — не скажу, не скучаю. Для этого времени нет. Я ведь тоже работаю да еще и учусь... Видишь?

На столе стопкой лежали книги. Одна была раскрыта, видно, Мокрина работала над ней до его прихода.

— Как идет учеба?

— А вот погляди, докуда прошла арифметику... Все четыре действия уже знаю...

Мокрина с радостным восторгом стала показывать ему

свои успехи, даже забыла, что сидит он перед ней в шинели, что вещи его лежат посреди комнаты. А Лесницкий смотрел на нее, добродушно улыбался и думал:

«Осталась такая же наивная, искренняя и преданная. Ее и представить невозможно одну, без опоры, без спутника в жизни».

Он взял у нее из рук учебник, отложил его в сторону и спросил с дружеской фамильярностью:

— Ну, а все-таки, как живешь, Мокрина? Как жизнь-то молодая твоя?..

Она удивленно посмотрела на него.

— Хорошо живу... Работаю, учусь...

— Ну, а как... с Андреем у вас, а?

— С Андреем? (Она немного подумала.) Андрей занят очень... Мы и видимся с ним редко... Разве что ночью, да и то не всегда... А вообще у нас... Ну, что тебе сказать? Он меня любит, а я... уж и не знаю, можно ли любить человека крепче, чем я его люблю...

Потом вдруг стала серьезная и добавила с глубокой убежденностью:

— Это же не всегда так будет. Вот только кончится война, установится наша власть — сразу легче станет, не будет такой ужасной спешки во всем... И жизнь пойдет спокойнее...

Лесницкий ничего не ответил и стал приводить в порядок свои вещи. Разложив их по местам, без лишней деликатности сказал Мокрине:

— Когда-то у нас существовал славный обычай: если в доме появляется гость, его чем-нибудь угощали, помнишь?

Мокрина встрепенулась, но тут же (видно, вспомнила) бессильно опустила руки и вся зарделась.

— Василек! Нету в доме ничего. Сегодня как раз приходил Андрей с двумя какими-то мужчинами — поели все, что было.

Лесницкий вспомнил, что у него в чемодане лежат две селедки. Он весело хлопнул Мокрину по руке.

— Селедки хочешь?

— Еще и как хочется!.. Нам совсем не дают — это только в армии. Вместо нее выдают чечевицу и тараньку.

Они принялись чистить селедку, нарезать хлеб — готовить себе ужин.

Андрей вернулся домой около двенадцати часов ночи. Он принес с собой туго набитый бумагами портфель и атмосферу неумолимо-серьезной занятости. Казалось, с его приходом все, что было в квартире, приняло усердно-ретивый вид, все заспешило куда-то, забеспокоилось. Однако эта атмосфера не угнетала, не давила своей сосредоточенной напряженностью. Вокруг витала какая-то стремительная легкость — все время хотелось что-то делать, но делать с живым, стремительным разгоном, с веселой энергией.

Андрей поздоровался с Лесницким, в раздумье подержал над столом портфель и с отчаянной решительностью отложил его в сторону.

— Делами займемся завтра... Сегодня будем отдыхать... Давно не виделись. Поговорим хоть немного о житье-бытье.

Мокрина бросила на мужа полный благодарности взгляд. А Лесницкий серьезным тоном заметил:

— Я буду говорить с тобой о деле, так что ты не потеряешь зря времени, не волнуйся.

Андрей засмеялся.

Они просидели до трех часов. Лесницкий подробно и обстоятельно рассказал ему о своих скитаниях, о пестрой жизни своей, полной неожиданных приключений и опасностей. Андрей слушал внимательно, однако на лице у него все это время гуляла тонкая, едва уловимая улыбка. Мокрина же готова была проглотить Лесницкого широко раскрытыми, восхищенными глазами. Вместе с тем она ни на минуту не забывала о своем Андрее — плотно жалась к нему, обнимала и нежно гладила его большие сильные руки.

О деле говорили мало. Но то, о чем ему поведал Андрей, настолько взволновало его своей неожиданностью и серьезностью, что он долго не мог уснуть, охваченный лихорадочными мыслями.

Верст за сорок от города, в непроходимых дебрях, нашла себе пристанище большая, хорошо вооруженная банда, которая часто совершает налеты не только на села, но даже на волостные центры. Во главе банды стоит атаман Волич. Однако по всем приметам этот атаман Волич не кто иной, как сам Карл Иванович Шемпель.

Все это рассказал Андрей. Затем добавил еще, почему-то упорно глядя в глаза Лесницкому:

— А у нас в исполкоме служит его племянница — Раиса Андреевна Янова; ты, если не ошибаюсь, знаком с нею. Мы приняли ее через биржу на техническую канцелярскую работу. Да вот только она что-то совсем неузнаваема стала.

— А что с ней?

— Кто знает... Да ты сам ее увидишь — ведь будешь же в исполкоме.

Андрей, видно, просто не знал, что еще сказать о Раисе, а Лесницкому показалось, что тот о чем-то умалчивает, знает, да не хочет говорить. Даже показалось, что и взгляд у Андрея стал другим — сосредоточенным, мрачным,— будто тот только и ждет удобного момента, чтобы сменить тему разговора. И вот вспомнилась Лесницкому встреча Андрея с Раисой на станции и странные его слова — «берегись ее, как женщины». Что это? Или глубокомысленность или просто глупость, сорвавшаяся с языка? И Лесницкому вдруг ужасно захотелось спросить у Андрея об этом, но пришлось

сдержаться, потому что рядом находилась Мокрина — не при ней же вести такой разговор.

Однако мысль эта уже не покидала Лесницкого, она гнала прочь сон, мучила, не давала уснуть.

На следующий день часам к двум Лесницкий управился со всеми наиболее важными делами и отправился в исполком. Там ему тоже надо было решить один деловой вопрос, но он знал, что сегодня уже поздно, и поэтому шел туда с одной лишь целью — повидать Раису.

В первой — просторной, с высоким потолком, светлой комнате гудела разношерстная толпа народа. Здесь не было видно ни одного исполкомовского сотрудника, если не считать старенького мастера, который с сосредоточенным видом ковырялся в пишущей машинке в углу комнаты, возле окна. Лесницкий принял его за одного из местных работников и подошел к нему, чтобы спросить, как пройти в исполком.

— Скажите, пожалуйста, как мне...

И вдруг Лесницкий увидел острые, колючие, с хитрецой глазки, крохотное, сплошь испещренное морщинами лицо, нервно дрожащие старческие губы. В первый момент подумал, что перед ним какая-то мистификация, его даже оторопь взяла, он не знал, как ему вести себя: то ли расхохотаться, то ли обратиться к милиционеру, то ли еще что-то придумать. Но никакой мистификации не было. Перед ним стоял Матрунин — живой, здравствующий Матрунин — и смотрел на него смело и серьезно, качал головой и говорил со злой покорностью:

— Не узнали, товарищ? Извините, это я и есть, да-да... Матрунин, товарищ Матрунин... А вы, вижу я, стали таким важным, солидным... хе-хе-хе... Комиссаром служите, наверное, а? А я вот мастерю понемногу... да-да... Вы не смотрите так, это не простая работа... Слесарь, думаете, сделает лучше? Х-хе... Таких мастеров у нас на весь город только двое — двое... да, да... Это, знаете ли, не так профессия, как искусство, любительство... Ничего не поделаешь, товарищ, надо к чему-то руки прикладывать...

Он вздохнул, хотел было улыбнуться с шутливо-кротким сожалением (что ж, такое время — мы все понимаем и не обижаемся), но вышло кисло и язвительно — старик только сильно поморщился, улыбка так и не получилась.

Лесницкий спросил для приличия:

— Вы случайно никого не встречали из нашей давнишней компании — помните?

Старик оживился.

— Да, да... встречал кое-кого... Недавно как-то встретил вашего товарища, долго разговаривали с ним... Много интересных и умных вещей он мне рассказал... Толковый человек, большой философский ум, широкая мечтательная душа... Я с огромной радостью вспомнил свою юность, когда

смотрел на него... Да что поделаешь... Сейчас очень тяжело жить такому на свете, сейчас век жестокого практицизма... Паек...

Лесницкий едва заметно улыбнулся.

— Да, паек, который нужно заработать...

— Совершенно точно, товарищ, который нужно заработать... Кто не работает, тот не ест... Вот мы и трудимся и зарабатываем...

Матрунин опять склонился над своей машинкой. Лесницкий рад был возможности прекратить этот нудный разговор и, спросив у старика, где находится канцелярия исполкома, тут же распрощался и ушел.

Его оглушил суматошливый стук пишущих машинок и одуряющий хор срочных служебных разговоров. Он ни у кого не стал расспрашивать, где работает Раиса, а по порядку открывал двери всех комнат исполкома и заглядывал туда. На Лесницкого никто не обращал внимания, каждый был занят своим делом.

Раису он отыскал в большом кабинете, где сидело не меньше десяти сотрудников — мужчин и женщин. Протиснулся мимо ее стола,— она бросила на него безразличный, уставший взгляд и опять принялась что-то писать. Тогда Лесницкий отошел к ближайшему окну, развернул какую-то старую газету и, сделав вид, что занят чтением, принялся незаметно разглядывать Раису.

Она действительно сильно изменилась. Лицо ее и теперь еще выглядело красивым, однако оно уже не отражало ту необыкновенно-живую одухотворенность, которая всегда придавала ему особую яркость и привлекательность. Теперь лицо было покрыто болезненной серостью, черты его казались излишне резкими и выразительными. Раиса по-прежнему оставалась красивой, но в ней уже не было того острого задорного очарования, которое когда-то так сильно пленяло Лесницкого. И еще (Лесницкий, увидев это, содрогнулся от необъяснимого какого-то ужаса): по лицу ее — редко, едва заметно — расползлась сизая паутинная синева,— точно такую когда-то видел Лесницкий на лице хмурого Карла.

Тем временем на Лесницкого стали обращать внимание — и дальше стоять молча уже нельзя было. Он положил газету на ближайший стол, подошел к Раисе и поздоровался. Лесницкий полагал, что она очень удивится, увидев его рядом с собой, однако ошибся. Раиса совершенно спокойно улыбнулась и протянула руку.

— Здравствуйте, Василь Данилович! Это же надо так, смотрела на вас и не узнала. Вы очень возмужали и, надо сказать, похорошели. Раньше вы были совсем не таким, честное слово...

Лесницкий как-то инстинктивно глянул на Раису — хотел в ответ сказать ей тоже что-нибудь приятное, но опять уви-

дел, как она подурнела, и промолчал. Раиса уловила этот его взгляд и горько улыбнулась. Тогда Лесницкий, чтобы выйти из неловкого положения, заговорил вялыми, трафаретными фразами:

— Вот уже больше двух лет, как мы не виделись. Годы накладывают заметную печать на человека. А в наше время год равен нескольким обычным годам — так много несет он с собой нового и неожиданного.

Раиса с той же грустной улыбкой прервала его.

— Я знаю... Сама в этом убедилась... И здесь не нужны доказательства...

Они обменялись еще несколькими общими замечаниями, и Лесницкий понял, пора уже идти, чтобы не мешать ей работать. Он испытывал острое чувство неудовлетворения (встреча с Раисой решительно ничего не дала ему), появилось настойчивое желание поближе присмотреться к ней, хоть на миг проникнуть в тайники ее жизни. И он спросил, как и где можно ее повидать. Прежде чем ответить, Раиса со скептической ухмылкой спросила:

— А вы уверены, что есть хоть малейшая необходимость в такой встрече?

Лесницкий тоже ухмыльнулся.

— Я не придаю этому особого значения. Но почему бы и не встретиться, не поговорить.

Раиса подумала и ответила:

— Заходите в общественную столовую — я там полдничаю. Оттуда можем пойти... все равно куда. К себе я вас боюсь приглашать, у меня дома сейчас тесно и неуютно. В том доме я занимаю теперь одну крохотную комнатушку...

Лесницкий распрощался и вышел.

По обеим сторонам улицы возвышались ровными рядами молодые пышные клены. Клены все еще стояли в своем густом зеленом наряде, однако уже незримо витало над ними едва уловимое дыхание близкой золотой осени. Казалось, все выглядело еще по-летнему, даже солнце в тот день было удивительно ласковым — щедро дарило земле свои жаркие лучи,— и лишь в кристально-прозрачном, свежем воздухе чувствовалась первая осенняя грусть. И хотя не золотились багрянцем кроны деревьев, но вокруг уже кружил тонкий, по-своему милый запах опавшей листвы. Печально бывает на душе в такую пору, тонкой серебристой струйкой льется неведомая тоска, холодит сердце, нагоняет кручину. А быть может вовсе и не кручину, а какое-то беспредельно-щемящее чувство, когда многое вспоминается, многое всплывает перед глазами из далекого и давно пережитого...

Возможно, под влиянием этого мягкого, печального дыхания близкой осени так глубоко анализировал Лесницкий свои

чувства к Раисе, с такой болью искал в них следов былого увлечения. Становилось не по себе, когда он видел перед собой женщину, к которой питал когда-то искренние чувства, которая способна была осчастливить его одной своей ласковой улыбкой, и теперь уже не находил, как бы пристально ни рассматривал каждую черточку ее лица, того, что прежде делало ее необыкновенной и бесконечно желанной.

Они долго ходили туда-назад по кленовой аллее — боялись покинуть ее, уединиться, потому что знали, любой безлюдный уголок толкнет их на ненужную и, конечно же, неискреннюю близость. Им обоим хотелось сегодня говорить как простым знакомым.

Раиса улавливала настроение Лесницкого, и ее чисто женский инстинкт подсказывал, что сейчас всякая, даже самая тонкая попытка кокетства сделает ее совершенно омерзительной в его глазах. Поэтому она держалась просто и непринужденно. Раиса рассказала про все, что ей довелось пережить в последние два года,— рассказала без душевного надрыва, довольно холодным, безразличным тоном. Несколько раз она останавливалась в нерешительности, смотрела на него с грустной улыбкой и спрашивала:

— Скажите, Василь Данилович, а зачем я все это вам рассказываю?

Лесницкий отвечал:

— Каждый человек должен кому-то рассказывать о себе. Иначе тяжело будет жить на свете.

Однако Раиса вовсе не собиралась раскрывать ему все свои тайны. Неудивительно, что в словах ее время от времени чувствовалась недосказанность, казалось, что она бесконечно петляет вокруг одного и того же места, в котором сходятся все нити ее жизни, а раскрыть это таинственное место не хочет или не может.

Раиса поведала Лесницкому, как она оказалась в теперешнем положении:

— Мы должны были уехать. И уехали бы, если б не отец. В тот вечер — помните? — когда вы заходили... Ведь я вас узнала тогда, Василь Данилович... Знала я также, зачем вы пришли... Помню, в ту минуту я вас страшно ненавидела, так, как только можно ненавидеть... Так вот, в тот вечер мы ждали отца — он ездил в соседнее поместье. Уже были заказаны билеты, уложены почти все вещи (вы этого тогда не заметили) — мы должны были уехать на следующий день утром. Но отец вовремя не вернулся, а через два дня его привезли оттуда совсем больным. Вот и пришлось остаться. Когда пришли красные, у нас почти все конфисковали, а что осталось — пришлось продать, чтобы как-то жить с отцом. До последнего времени он был со мной и лишь недели две как уехал в деревню. Разыскался какой-то давнишний управляющий его, вот он и взял старика к себе... Больной отец совсем...

Теперь я одна...

— А дядя?

Лесницкий давно подготовил этот вопрос и сейчас внимательно следил, какое впечатление произведет он на Раису. Она осталась совершенно спокойной и ответила тем же тоном:

— Карл Иванович уехал куда-то, как только город заняли красногвардейцы.

Она немного помолчала, затем продолжала медленным, уставшим голосом:

— Тяжело сейчас жить... У вас много страшного, дикого... Я понимаю, вы имеете на это какое-то основание... А может здесь и нет ничего страшного... Но я не понимаю, не привыкла... Я с детства боялась крестьян. Когда они приходили толпой в имение и когда отец начинал с ними спорить, мне всякий раз почему-то приходила в голову мысль, что они в любую минуту могут все вместе наброситься на отца и убить его... Оно почти так и вышло... И вот сейчас тоже очень страшно... Живешь, смотришь вокруг и не понимаешь, зачем все это, кому от этого лучше, а кому хуже. Трудно понять, зачем сама живу — кому от этого польза, а кому вред... Трудно сейчас...

— Ну, а дальше?

— Дальше?

Раиса глубоко вздохнула, потом вдруг повернулась к Лесницкому и рассмеялась.

— Василь Данилович! Тут получается уже целая исповедь... На это не было уговору.

И опять умолкла. Через некоторое время заговорила уже серьезным тоном:

— Вы как-то странно вошли в мою жизнь. Когда я о вас думала, мне всегда казалось, что между нами какие-то странные отношения. Вот и сейчас рассказываю вам о всякой ерунде, а зачем — сама не знаю... Просто верю вам, Василь Данилович... А верю потому, что знаю — вы любили меня. Ведь это правда, не так ли? Ведь вы, Василь Данилович, искренне меня любили, правда? Помните, как готовы были принять все мои условия? Ха-ха... Вы готовы были дорого заплатить за мои поцелуи... Это вы не забыли, Василь Данилович? Хорошо помните, а?

Раиса с веселым задором посмотрела на Лесницкого, и в ее глазах блеснул озорной зеленый огонек. Лесницкий заметил, как она вдруг вся засветилась прежней своей красотой, женственностью — и в его сердце вспыхнула искра забытого чувства. Но продолжалось это короткое мгновение. Раиса както сразу обвяла, сжалась в комок — стала мрачная, печальная... Лесницкий с подчеркнутой серьезностью признался:

— Это верно, Раиса Андреевна, что я любил вас. Больше того, могу сказать, что любил вас искренне и глубоко. Но на

самом деле между нами всегда были какие-то странные и непонятные отношения. Вы смеялись надо мной, играли — вы не могли иначе, потому что (я открыто вам скажу) о настоящей, большой любви барышень к крестьянским парням только в сказках пишут. А ведь я был мальчишкой и еще немного глупцом... Вот и получилось...

Какое-то время они ходили молча. Лесницкий наблюдал и слушал, как в прозрачной вечерней тишине угасал городской день (какой-то случайный ветерок едва заметно пошевелил листья клена, где-то неподалеку грубо и резко хлопнули дверью). Раиса попросила, чтобы он взял ее под руку, и, доверчиво прижавшись к нему, заговорила низким притаенным голосом:

— Меня, Василь Данилович, мало тревожило это обстоятельство. Я нашла бы в себе мужество побороть его — примирилась бы, осилила себя. Вы помните, Василь Данилович, дядю Мику? Он сейчас чувствует себя прекрасно, лучше и не надо... Освоился с новыми порядками... Между прочим, перестал со мной здороваться, я, видите ли, шокирую его... Да только я не так бы, как он, я с душой бы взялась... У меня, Василь Данилович, другое... У меня жизнь изнутри отравлена... Один лишь шаг неверный сделала — и потеряла все, что могла иметь впереди. Жизнь загубила... убила себя... Ох, Василь Данилович! Как тяжело... как мучительно думать об этом... Променять жизнь... на сладостную боль, на призрачную радость... А теперь еще и неодолимый страх ходит по пятам... Он и раньше преследовал меня, помните? Но сейчас совсем нет жизни... Мыслей даже страшусь... Представьте себе, Василь Данилович... Ночь. Тишина вокруг, соседи давно спят крепким сном. А ты лежишь уже сколько времени и думаешь?.. Вроде бы все мирно, покойно, как обычно... И вдруг мозг начинает медленно сверлить какая-то навязчивая идея. Я тотчас это улавливаю и начинаю бороться, гнать прочь... А она настойчиво лезет, лезет, растет... Становится страшно, я покрываюсь холодным потом. Однако все это еще пустяки. Вслед за этим в голову лезет что-то совершенно ужасное... Страшная, неотвратимая мысль. Перед глазами в диком танце скачут черные призраки, какие-то мрачные тени,— в самом невероятном обличье появляется она... смерть. Я никогда не страшилась смерти, но в ту минуту готова кричать, на стену лезть, готова бежать куда глаза глядят... Тогда я проклинаю все на свете и до слез, до горьких слез жалею себя, свою загубленную жизнь...

Раиса умолкла и опять крепко прижалась к Лесницкому. Еще немного походили по улице. Затем она неожиданно, без всякой видимой причины заволновалась, судорожно сжала его руку.

— Василь Данилович... Не оставляйте сегодня меня одну... Ведь вы сами вызвали меня на этот разговор... Мне почему-то

страшно, я не смогу войти одна в дом — я... я сама не знаю, где я буду... Всю ночь... Послушайте, Василь Данилович, смотрите на меня, как на больную... Ведь вы могли бы посидеть возле больной, если б вас попросили, правда? Ведь я больная, тяжелобольная... Скажите, Василь Данилович, вы не оставите меня одну? Если хотите, мы можем погулять здесь, на улице... Я успокоюсь... Все пройдет...

Лесницкий пообещал быть с ней до тех пор, пока в этом будет нужда. Раиса благодарно пожала руку и медленным шагом повела его вдоль улицы.

Потом они пошли к ней домой. Лесницкий сам предложил, он почувствовал, как она дрожит от вечернего холода.

Раиса действительно занимала крохотную комнатушку, рядом с кухней. В ней стояла старомодная железная кровать, стол, два расшатанных стула и небольшая мягкая кушетка. По всему было видно, она сделала все от нее зависящее, чтобы создать в комнате хоть какую-то видимость уюта. И тем не менее всюду остались следы удивительной кухонной серости. Лесницкий с грустным видом глянул по сторонам, затем тихо произнес:

— Да, здесь уже нету того простора и розового света, какой был на вашей прежней квартире.

Раиса залилась краской.

— Я же вам говорила, Василь Данилович, что не надо ко мне заходить. Убогий вид у меня дома. Но ничего не поделаешь, теперь уж сидите и поменьше рассматривайте... Я сейчас что-нибудь придумаю, будет красивее.

Она обернула стекло лампы красной бумагой — и на самом деле вид комнаты сразу изменился. Лесницкому вспомнился вечер, когда он впервые пришел к ней (нежный розовый свет, мягкий, приятный аромат духов, черный рояль и она в легком розовом платье — милая, женственная). Но он поборол неожиданный наплыв щемящей грусти и с иронической ухмылкой сказал:

— Теперь бы рояль и душещипательные романсы...

Раиса резким движением сорвала с лампы бумагу.

— Я не хочу, чтобы вы вспоминали... Мне становится тяжело от этого... Пусть сейчас будет все по-иному... Не надо связывать одно с другим... У меня, Василь Данилович, еще кое-что живет в душе, свое, личное... Оно враждебно вам и, очевидно, неприятно... Но ведь вам все равно, что мне любо, а что чуждо,— сейчас я беспомощная и больная... Разве есть смысл тешить себя безвозвратно ушедшими днями, которые вы ненавидите и которые мне дороги... В моей жизни тогда дни были солнечными, ясными — оставьте их, не отнимайте у меня и не обижайтесь за это. Я тяжелобольная, слабая... Я не живу, а существую... И ничем, решительно ничем не могу вам навредить...

Раиса опять стала нервничать, распаляться, в голосе ее

зазвучали знакомые болезненные нотки. И в эту минуту, как нарочно, кто-то с настойчивой размеренностью принялся колотить в стенку их соседней комнаты. Раиса насторожилась.

— Кто там?

Послышался спокойный, одеревеневший в своем равнодушии, голос:

— Товарищ Янова! Завтра ваш черед подметать улицу...

— Хорошо!

Она это «хорошо» произнесла каким-то нервным, надтреснутым голосом и тут же разрыдалась — горько-горько, как покинутый матерью ребенок. Лесницкий растерялся и не знал, как ее утешить, и почему-то стал рассказывать о коллективной жизни, о равных правах и обязанностях каждого члена коллектива, о всеобщем равенстве и так далее. Она не обращала внимания на его уговоры и продолжала плакать. Потом вдруг вскочила со стула (из глаз еще текли крупные слезы) и захохотала в каком-то горьком и безумном веселье:

— Ха-ха-ха! Я уже подметала два раза... подметала... Это было очень забавно... Ха-ха-ха!.. Знакомые собирались, смотрели, сочувствовали даже... Я привыкла уже, у нас все по очереди — коллектив... Василь Данилович! Вы полагаете, это меня убьет? О, нет... Я спокойна, совершенно спокойна... У меня есть свое будущее — хорошее, светлое будущее... и такое близкое, ясное... Хотите знать мое будущее? Я покажу вам его, Василь Данилович... Вот тут оно, тут, вот сейчас... вот...

Она с лихорадочной поспешностью раскрыла свою перламутровую коробочку и достала оттуда что-то в белом пакетике. Лесницкий сразу догадался, что это яд, и сделал инстинктивное движение, чтобы выхватить пакетик из ее рук. Раиса уловила это движение и засмеялась.

— Да нет, Василь Данилович, не сейчас... и не при вас... Я жду кого-то, кто бы разделил со мной это счастье... Вы думаете приятно умирать одной? О, нет! Самое страшное — умирать одному... Я подожду еще, поживу... Кто-то отыщется, кто-то явится ко мне и согласится выпить смерть из одной чарки... Я не спешу, я подожду...

Лесницкий почти до рассвета пробыл у Раисы. И всю ночь она терзала его неожиданными, крутыми переломами своего настроения, стремительными переходами от тихой умиротворенности к нервно-крикливым взрывам. И когда к утру оставил ее — уставшую и успокоенную,— когда, покинув дом, оказался на свежем воздухе предрассветной поры, ему показалось, что всю эту ночь он провел в душной больничной палате, у кровати умирающего в страшной агонии человека.

Он вышел на улицу, глубоко вздохнул и сразу почувствовал облегчение.

Батальон в городе долго не задержался. В одну из ближайших ночей он в полном составе подался в ту сторону, где

оставила следы преступной деятельности банда атамана Волича. В ту беспросветно-черную и холодную ночь одолели все тридцать верст и подошли к небольшому глухому местечку, где и обосновался штаб батальона. Роты, еще не доходя до местечка, свернули с главной дороги и разошлись по заранее намеченным маршрутам.

Развернулась решительная, упорная борьба — даже не борьба, а какая-то до предела напряженная игра, в которой выигрыши брались не силой, а хитростью и умом, способностью ориентироваться в обстановке, умением находить нужные ходы-выходы в глухих безбрежных дебрях, в непроходимых топях-трясинах. И чем дольше тянулась эта игра, чем сильнее нажимали красные роты, тем глубже и глубже уходил в дремучую чащобу изворотливый атаман Волич с сотней своих молодчиков.

Штаб батальона уже пять раз менял свою дислокацию — пять раз изменялась обстановка и пять раз пересматривался план борьбы.

Наконец все-таки удалось загнать банду в Кислый Мох — сильно заболоченную пущу, которая на всю округу была известна, как самое непроходимое и страшное место. Здесь и перехватили ее тугим перевяслом, крепко-накрепко закрыв все входы и выходы. Затем начали наступление — методичное, упорное.

Штаб батальона быстро снялся со своего места и перебазировался в район операции. Лесницкий с комбатом все время ездили из одной роты в другую, следили за их продвижением, отдавали, где надо, необходимые приказы и распоряжения. Каждую ночь ждали прорыва — каждую ночь не смыкала глаз половина армейцев, они настороженно следили за предательским мраком притихшего леса. А днем ползли по болоту, медленно продвигались вглубь, все плотней сжимали бандитов. Те уже стали в панике метаться от одного к другому краю живого кольца и всюду их встречали дружные и меткие залпы красноармейских винтовок.

И вот наступил решительный момент. Всем было известно, что в ту ночь бандиты предпримут последнюю попытку прорвать окружение, потому что на следующий день утром кольцо сожмется еще больше и останется только одно — сдаться. Батальону был отдан приказ: всю ночь быть наготове, внимательно следить за каждым шагом бандитов.

Стрельба началась часа в три ночи. Бандиты приблизились к самому переднему краю третьей роты, но их вовремя заметили и оттеснили дружным и плотным огнем. Перестрелка продолжалась часа два, однако она, видно, не приносила желаемых результатов,— впереди стеной стоял лес, и пули застревали в толстых стволах деревьев, не долетая до цели. На рассвете отчаявшиеся молодчики Волича решили попытать

удачи в расположении второй роты, но и здесь их встретил плотный заградительный огонь.

И вот батальон получил еще один приказ — приказ о наступлении. Бойцы ринулись вперед с винтовками наперевес, на ходу открыв ураганный огонь по врагу. Бандиты метались в растерянности по лесу, кое-где пытались перейти врукопашную, но в конце концов, поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, сдались. Им приказали сложить в одно место оружие, построили по два человека в ряд и под усиленной охраной повели в ближайшую деревню. Часть красноармейцев осталась возле раненых и убитых, за которыми позже должны были прибыть подводы.

Лесницкий пропустил мимо себя всех пленных, надеясь увидеть среди них атамана. В одном из бандитов — огромном, заросшем густой щетиной детине — Лесницкий вроде бы уловил что-то знакомое, но тот не очень-то дал себя разглядывать, отвернулся, хмурый, и, ускорив шаг, быстро прошел мимо, широко размахивая тяжелыми кулачищами. Да и Лесницкому было недосуг — он разыскивал Карла и был уверен, что сразу узнает его, как бы тот ни пытался маскироваться.

Однако Карла не оказалось среди пленных. Лесницкий вернулся к месту боя и стал просматривать всех убитых и раненых. Среди них атамана тоже не было. Тогда Лесницкий поручил нескольким красноармейцам прочесать лес и посмотреть, может, тот остался где-либо лежать убитым или раненым. Он ждал их не меньше часа, но результаты оказались теми же.

Лесницкий сел на коня и ускакал в деревню. Он приказал отобрать несколько арестованных — из тех, что попроще были — и по одному доставить к нему на допрос. Первым привели молодого, лет двадцати, крестьянского парня, ужасно напуганного, который никак не мог найти места своим убого-осовелым глазам. Лесницкий сначала расспросил у него, кто он, откуда, каким образом оказался в банде.

Парень на все вопросы отвечал открыто, искренне, причем рассказал целую длинную историю, как он из простого военного дезертира постепенно превратился в бандита. В конце уже Лесницкий спросил:

— Где ваш атаман?

Парень, не задумываясь, ответил:

— Видно, убит или ранен — среди нас его нету.

— А вчера был?

— Был.

— А в помощниках у него числился кто-нибудь?

Парень широко вытаращил глаза, удивленно уставился на Лесницкого: как это комиссар да не знает их главарей...

— А как же? Известное дело... Хомка Жгут у него был самым первым...

— Он здесь?

— Да, в овине сидит вместе со всеми...

То же самое сказали и остальные, вызванные на допрос бандиты. Тогда Лесницкий приказал, чтобы к нему привели Хомку Жгута. И вот красноармейцы доставили того самого огромного, заросшего густой щетиной бандита, на которого еще в лесу обратил внимание Лесницкий. Бандит вошел, тяжело переваливаясь с боку на бок, стал, раскорячив ноги, и уставился на Лесницкого живыми, полными смешливого блеска глазами. Один из красноармейцев хотел было о чем-то доложить Лесницкому, но бандит презрительно и резко его оттолкнул.

— Убирайся! Я сам расскажу... Здорово, Василь! Как только стал комиссаром, сразу перестал узнавать старых друзей, а? Да посмотри на меня... Ну, узнал?..

Только теперь Лесницкий стал различать знакомые черты крупного лица, увидел длинный Халимовский нос. Под впечатлением этой неожиданной встречи он едва не бросился Халиме на шею, но вовремя спохватился и взял себя в руки...

— Сейчас я узнал тебя, Халима... Здравствуй... А вот когда ты шел в колонне — не узнал... Разве мог я допустить мысль, что встречу тебя здесь...

Халима с иронией в голосе произнес:

— Странно, а где же ты думал меня встретить?

Потом с гордым видом поднял голову и грубо спросил:

— Ты, кажется, собираешься со мной говорить? А если нет, чего тянешь?

— Да, собираюсь говорить...

Халима показал на часовых.

— При них от меня не услышишь ни слова.

Лесницкий приказал им стать по ту сторону двери. Один из красноармейцев опять собрался что-то сказать, но Халима вторично оборвал его и с досадой объяснил Лесницкому:

— Он хочет сказать, что я пытался сбежать. Меня каждый поймет и нечего здесь об этом долго болтать. Ну, я слушаю...

Лесницкий сел за стол и пригласил Халиму присесть на скамейке. Но тот продолжал стоять, как изваяние, нахально раскорячив ноги.

— Где Волич?

Лесницкий почему-то начал с этого вопроса, хотя в голове было совсем другое. Халима коротко ответил:

— Сбежал.

— Это — Карл Иванович Шемпель?

— Карл Иванович Шемпель.

— Ты его помощник?

— Помощник.

Лесницкий умолк, прикидывая в уме, о чем еще говорить с Халимой. В этот момент Халима бросил быстрый настороженный взгляд в сторону открытого окна, неподалеку от которого стоял. Лесницкий перехватил его взгляд и опустил

руку на револьвер. Халима криво заулыбался, проворчал:

— Знаю, пристрелишь...

Лесницкий спокойно подтвердил:

— Если вздумаешь удирать, застрелю.

Затем Лесницкий встал и медленно прошелся по хате из угла в угол. Халима первый нарушил молчание:

— Может говорить будем, а?

Лесницкий остановился и, прямо глядя Халиме в глаза, сказал:

— Я вот о чем думал сейчас, Халима. Я думал о том, как глубоко революция всколыхнула нашу жизнь. Куда только она не забросила людей!.. Враги стали приятелями, а приятели и друзья — врагами...

— Я не считаю тебя своим врагом... Пока мы делаем с тобой одно и то же дело...

— Я догадываюсь... Ты сейчас начнешь говорить о своем бунте, о возрождении жизни и тому подобных вещах, не правда ли? А вот я считаю тебя своим врагом, потому что под маркой этого универсального мессианского дела ты верой и правдой служишь Шемпелю... А о чем мечтает Шемпель — мы хорошо знаем... Если тебе все равно, почему ты не в Красной Армии, а в банде помещика Шемпеля? Скажи, почему?

Халима с минуту подумал.

— Красная Армия несет порядок. Может, и новый — мне безразлично. Где порядок, там угнетение, тиски, там жизнь под мерку и на вес, там нету свободы, нету натуры... Любой порядок — это обман, на который слетаются все, кто боится жизни. Надо смерти бояться, а не жизни. Вот я бы тебя убил, если б представилась возможность, и выскочил через окно. Я сделал бы так потому, что боюсь смерти, а вы меня убьете, потому что боитесь жизни... Вам нужен порядок, а не жизнь...

Халима сделал паузу, затем принялся дальше развивать свою философию:

— Вы уже кончили бунтовать, и ваш нынешний бунт — это бунт против бунта. Но все равно это бунт, и потому я говорю тебе, что мы не враги друг другу... Шемпель своего не вернет, их порядок кончился. И вот он сейчас бунтует против ваших новых порядков, потому он тоже мой приятель...

Лесницкий с горькой улыбкой покачал головой.

— До чего все это смешно и надуманно, Халима. Мне кажется, ты и сам не веришь в свою философскую путаницу. Не бунт это, Халима, а борьба — тяжелая, упорная. И не против жизни, а за жизнь, за право жить... Это борьба двух порядков. В одном из них моя жизнь, в другом — Шемпеля. Вот почему я против Шемпеля и против тебя, потому что объективно ты за их порядок, за их жизнь...

Халима повернул в сторону глаза.

— Ваш порядок не вечный... Он натолкнется на свои про-

тиворечия. И эти противоречия — бунт. Бунт освобождает и очищает... Бунт — воскресение живого человека, возвращение его к жизни и свободе...

Халима резко взмахнул руками и закричал, как безумный:

— Я — личность! Я — человек! Ты это понимаешь? Что вам до меня? Кто вам дал право напяливать на меня тесный мундир, если я в сорочке... голым хочу ходить... Скажи, кто дал такое право? Кто вам разрешил лезть в мою жизнь, диктовать законы и правила? У меня свой закон — моя свобода... Я свободным хочу быть... Что вам надо, чего вы от меня хотите?

Лесницкий опять заулыбался.

— Это мы уже слышали давным-давно... Надоело... Ты читал анархистов?

Халима насупился.

— Никого я не читал. Я не слепой, вижу, что происходит вокруг...

— Ты видишь, что происходит вокруг? А видел ли ты, как крестьяне жгли поместья, как выходили они с вилами, с топорами и гнали к чертовой матери своих извечных врагов — помещиков? Видел ли ты, как эти помещики, вернувшись под защитой польских жандармов и при их помощи, грабили и уничтожали целые деревни, до смерти истязали крестьян... ты это видел? А видел ли ты, как стихийно, без какого бы то ни было принуждения, организовывалась в партизанские отряды сельская молодежь, чтобы с оружием в руках дать отпор обезумевшему панству? Что это — бунт? Кто здесь бунтовал, крестьяне или помещики, а? Кто боролся за жизнь, а кто боялся ее? Заметил ли ты, что в этом «бунте» определились два совершенно противоположных лагеря и что оба они боролись за жизнь — боролись отчаянно и жестоко, до самозабвения, до самопожертвования...

Халима досадливо сморщился. Когда же Лесницкий кончил говорить, он с едкой гримасой заметил:

— Агитировать меня собрался? Мало пользы будет... Да и не стоит, все равно расстреляете... Так что спрашивай, если надо, или отпусти.

— Нет, ни о чем больше не стану спрашивать... Тяжело с тобой говорить... И вообще мне жаль тебя, Халима...

Халима злобно осклабился.

— Смотри лучше за собой.

Лесницкий позвал часовых.

— Уведите. Скажите караульному начальнику, чтобы взял этого... гражданина под особое усиленное наблюдение.

В тот же день где-то около полудня батальон снялся со своей базы и взял направление на город. Впереди вели арестованных бандитов. Лесницкий опять пропустил их всех мимо себя. Отдельно от остальных двое красноармейцев вели

Халиму. Он сделал вид, что не заметил Лесницкого,— прошел мимо, угрюмый, насупленный, широко размахивая длинными тяжелыми руками.

Еще совсем рано, наверное, часу в восьмом, кто-то постучал в номер к Лесницкому. Лесницкий ответил. Отворилась дверь, и на пороге показалась Нина. Она непринужденно и весело поздоровалась с ним, окинула всего внимательным взглядом и заговорила с шутливым укором:

— Казалось бы, взрослый и серьезный человек, а так некрасиво поступает. Вы, Лесницкий, ведь еще позавчера вернулись в город, а вот к нам словно дорогу забыли, не правда ли? Знаете, как это называется?

— Свинство?

— Совершенно верно.

Лесницкий стал оправдываться.

— Во-первых, у меня ни вчера, ни позавчера не было ни одной минуты свободного времени. Во-вторых, сегодня я, конечно же, намеревался навестить вас. И, в-третьих, разве не все равно, кто к кому первый явился — я к вам или вы ко мне!..

Нина сделала вид, что сердится.

— Я пришла к вам, товарищ Лесницкий, по делу, вот как... Между прочим, я уже знаю, чем закончилась ваша операция, и рада за вас. Жаль только, что Волич скрылся — он может нам еще немало наделать неприятностей.

Лесницкий молча пожал плечами. Нина на какое-то время задумалась (стала серьезная, даже хмурая), потом торопливо обратилась к Лесницкому.

— Вот что, Лесницкий. Самое лучшее, если мы сразу поговорим о деле. Я хочу повидать Халиму. Я могла бы устроить встречу через Андрея, но мне почему-то не хочется говорить с ним на эту тему. И вот решила обратиться к вам.

Лесницкий медленно прошелся по комнате, затем повернулся к Нине.

— Я знал, что вы наверняка захотите с ним увидеться. Разумеется, встречу можно будет устроить... Даже сегодня... Но перед этим я хотел бы вам задать один вопрос... конечно, по-товарищески, с вашего разрешения...

Она в знак согласия кивнула головой.

— Мне как-то раз точно такой вопрос задала одна женщина,— уверены ли вы, что есть хоть малейшая необходимость в такой встрече?

Нина даже вздрогнула, потом доверчиво подняла на Лесницкого свои серые глубокие глаза.

— Вы хорошо сделали, что спросили об этом. Вы имели право спросить, ведь у нас уже издавна так повелось — быть открытым и искренним друг перед другом...

Она подошла к столу, закусила губы, явно собираясь с мыслями, затем перевела взгляд на светлый квадрат окна и заговорила спокойным голосом:

— Я сама много об этом думала... с той самой минуты, когда узнала, что его арестовали. Но только какой-нибудь час назад окончательно решила, что схожу к нему... Как мужчине, вам, быть может, и нелегко меня понять, но в данном случае здесь имеет место что-то специфически женское. Я не люблю его — это я твердо знаю. Скажу больше: я его ненавижу, как своего врага... И иду на свидание не потому, что жду от него чего-то или пытаюсь оживить прежние светлые воспоминания и чувства. Нет... Скажите, Лесницкий, вам никогда не случалось, бегая босиком, сильно, до слез в глазах, ударить ногу? Испытывали ли вы в ту минуту острую и необъяснимую потребность повернуться и взглянуть на то, что причинило вам эту дикую боль?.. С таким именно желанием я и иду к нему... Ведь я так сильно ошиблась в нем. Я любила его, родила от него ребенка... И вот сейчас мне хочется посмотреть ему в глаза...

Лесницкий молчал. Нину это, видно, волновало,— она в тревожном ожидании ловила его холодно-рассеянный взгляд. Потом не выдержала, вновь заговорила в каком-то тяжелом, отчаянном порыве:

— Я могу и не пойти к нему... Если вы убедите, что не надо, я сейчас же вернусь домой. Если скажете, что поступаю неправильно, что это проявление слабости, что это повредит нашему делу, я откажусь от встречи. Быть может и мне покойнее тогда будет... Ну, говорите же, не молчите!

Лесницкий продолжал молчать. Он не знал, что ей сказать. Да и сам толком не понимал, почему ему не хочется, чтобы Нина шла к Халиме. Дало себя знать что-то совершенно новое — новое и, кажется, нехорошее чувство. С каждой минутой все больше и больше росла в нем ненависть к Халиме.

А Нина смотрела на Лесницкого и ждала. Лесницкий знал, Нина послушает его, потому что сейчас для нее будет законом слово любого постороннего человека. Он беспокойным шагом прошелся несколько раз по комнате. Потом поборол себя, решительно подошел к Нине:

— Вам можно пойти... Я все устрою и сегодня вечером зайду за вами.

В тот же день, часов в пять пополудни, они направились туда, где находились арестованные бандиты. Всю дорогу Нина с обычной живостью говорила о разных посторонних вещах, на ее лице не было заметно никакого волнения, как будто шла она по какому-то обычному своему делу. Одно было подозрительно: уж слишком много она говорила, ни минуты не молчала. Очевидно, этим бесконечным разговором старалась как-то развеять свою душевную тревогу.

Их ввели в пустую полутемную комнату (окна с железными решетками у самого потолка), усадили на единственную деревянную скамейку и сказали подождать. Когда красноармейцы вышли, Лесницкий встал и тоже направился к выходу.

— Я подожду вас во дворе.

Однако Нина решительно воспротивилась.

— Нет, нет, Лесницкий, оставайтесь здесь. Я хочу говорить с ним в вашем присутствии.

Лесницкий остался. Минут через пять привели Халиму. Он был черный и страшный — особенно сильно выделялся его большой нос. Глаза светились болезненным лихорадочным огнем. Увидев Лесницкого и Нину, сделал попытку улыбнуться, но вместо улыбки на лице появилась какая-то дразняще-язвительная гримаса.

Нина показала рукой на скамейку, приглашая его сесть рядом, он он отказался. Тогда она более настойчиво повторила свое приглашение.

— Мне тяжело разговаривать с тобой, если будешь стоять. Садись вот здесь.

Халима грузно опустился на скамейку. Сел боком к Нине и не смотрел на нее,— вперил свой тяжелый мрачный взгляд в дальний угол комнаты. Халима первый заговорил — недовольным и грубым тоном спросил:

— Зачем пришла?

— Пришла посмотреть на своего первого мужа.

— А других сколько у тебя было?

Нина на миг умолкла, потрясенная его грубостью, затем с тихим укором сказала:

— Ты хочешь меня оскорбить? Это очень несложно. Я ждала, что ты отыщешь более трудный и... более честный путь в жизни...

Халиму, видно, задели за живое слова Нины, и он сказал уже значительно мягче:

— Если хочешь говорить со мной о деле — говори... Спрашивай, что нужно...

Нина какое-то время молчала, потом с плохо скрытой болью в душе спросила:

— Скажи, Халима, что тебя заставило стать нашим врагом?

Халима недовольно поморщился.

— У него спроси (кивнул на Лесницкого) — он про все расскажет. Я уже говорил ему...

В комнате установилась тишина. Все глухо молчали. Наконец Халима не выдержал.

— Ну, что еще?

— Еще... Что еще... Да, да... Мне, конечно, тяжело спрашивать — не уверена я в твоей искренности. Если хочешь и можешь, ответь — это будет мой последний вопрос: любил ли

ты меня когда-нибудь, было ли у тебя ко мне настоящее большое чувство?

Халима вначале долго и угрюмо молчал, потом ответил вопросом:

— Ребенок жив?

Нина оживилась.

— А ты любил бы его, если б он был жив?

— С радостью задушил бы... чтоб не жил без меня, чтоб не стал... угодливым и послушным...

Нина резко прервала его:

— Беспокоиться не придется... Сын наш умер... Во имя общего дела, во имя революции...

Халима при этих словах весь судорожно передернулся, уставился на Нину широко открытыми тревожными глазами, видно, хотел получить объяснение, но вдруг снова ушел в себя, замкнулся в своей леденящей угрюмости.

— Ну, больше ничего?

— Ты не ответишь на мой вопрос?

Халима молчал. Тогда Нина заговорила с какой-то напряженной поспешностью, словно боялась, что он, не выслушав до конца, уйдет.

— Вот еще что... Я обязательно должна тебе сказать об этом... Я давно хотела, чтобы ты знал... Собственно я и пришла сюда только ради этого... Я хотела сказать, что я тебя ненавижу. Ты — мой враг, ты мне противен, гадок... Я ненавижу с того самого дня, когда ты впервые изменил нам... Я каюсь — слышишь? — каюсь, что была твоей женой... Это мой позор — ты меня осквернил... Был бы жив наш сын, я научила бы и его презирать тебя. Твое имя было бы для него символом всего самого отвратительного и гнусного... Вот что... Вот что я собиралась тебе сказать... А сейчас все... Уходи!..

Халима какой-то миг еще сидел неподвижно, низко опустив голову, затем грузно поднялся и молча зашагал к выходу...

На дворе стоял легкий приятный морозец — он начисто иссушил многочисленные лужицы и кое-где уже укрыл землю белым пушистым инеем. На западе багрянилась узкая ровная полоска — след ушедшего за горизонт солнца. Хотелось часто и глубоко вдыхать чистый прохладный воздух, хотелось идти в студеную даль, туда, где медленно угасали последние лучи заката.

Нина сказала, что ей не хочется домой, и они направились в сторону городской окраины, затем повернули на притихший в вечерней тишине большак и вышли в синее застывшее поле. Шли молча. После того, что они пережили там, в камере, трудно было начинать разговор. Но это молчание не было тягостным и мучительным для обоих. Они шли не спеша, нога в ногу, и любовались окружающими просторами,

чистыми красками поздней осени. Каждый был поглощен своими мыслями. Наконец они вышли к небольшой рощице, вплотную подступавшей к дороге. Молодые, стройные березки, посеребренные изморозью, словно замерли в ожидании ясной холодной ночи. Повсюду уже ложились серые тени, они росли, ширились, надежно прикрывая собой оголенные кусты, безмолвную дорогу, пустынные поля... Нина тихим ласковым голосом сказала:

— Вернемся, что ли?.. Ведь нам придется шагать не меньше как три версты...

Эти слова Нины положили конец их долгому молчанию. Говорили обо всем — о красоте осенней природы, о деревенской жизни, о закатных вечерах на Днепре... И только ни словом не обмолвились о Халиме. Заговорили о нем лишь в городе да и то как-то случайно, как бы невзначай. Начала Нина.

— Знаете что, Лесницкий... Я-таки, видно, излишне много наговорила ему патетичного, горячего... Мне просто жаль его... Думаю сейчас о нем, как о больном человеке, как о калеке... Он и в самом деле калека. Только на первый взгляд кажется, что это цельная, сильная натура... Ерунда... Изломанный и потерянный для общества человек... Я боялась его, Лесницкий. Не говорила вам об этом, но боялась... Не была уверена в своей силе, опасалась, что сломает он меня — жалостью или еще чем... нашим, бабским... Я не была до конца уверена, что не люблю его... Теперь же я — свободная, вольная, как птица...

Потом она еще говорила, уже не в силах скрыть своего волнения:

— Ужасно видеть, как на глазах погибает человек, как теряет он место в жизни. Это самое страшное. Потерял почву под ногами — тут ему и конец... Что бы он ни делал, как бы ни бился, все равно спасенья не найдет. Как лист, оторванный от ветки...

К дому Нины подошли около десяти часов вечера. Обоим не хотелось расходиться — было тяжело и неприятно уносить с собой горькие впечатления прошедшего дня. Поэтому Лесницкий охотно согласился провести вечер у Нины.

Андрей с Мокриной ушли на вечеринку, и они остались в квартире одни. Тишина и уют располагали к непринужденной и дружеской беседе. В этот вечер Лесницкий впервые открыл Нине все свои сокровенные тайники — рассказал обо всем, что пережил за эти бурные, тревожные годы и что так упорно скрывал в глубине души...

Спустя неделю по приговору революционного трибунала был расстрелян Халима. А на следующий день (удивительное совпадение) по городу распространилось страшное известие, вызвавшее целый вихрь всевозможных предположений и до-

мыслов: покончили с собой, выпив раствор цианистого калия, Карл Иванович Шемпель и его племянница Раиса. На столе у них нашли лаконичную записку:

«В нашей смерти мы виноваты сами».

А при дальнейшем расследовании этого дела в маленькой перламутровой коробочке была обнаружена еще одна записка, написанная нетвердой рукой Раисы и адресованная отцу. Вот ее содержание:

«Дорогой отец!

Мне тяжело умирать, зная, что я оставляю тебя совсем одиноким в такое страшное время. Лишь одно меня утешает при этой ужасной мысли — то, что я при своем полном бессилии, при своей физической и духовной болезни все равно не смогла бы ничем помочь тебе. Да, дорогой папа, я очень больная, немощная, изломанная. Мне стыдно писать тебе, потому что чувствую себя глубоко виноватой перед тобой: я ни разу не обратилась к тебе, как к отцу, чтоб рассказать о своей трагедии и попросить помощи. Ты и не догадывался, что рядом с тобой погибает родная дочь, умирает медленной и ужасной смертью.

Я теперь расскажу тебе обо всем, потому что перед смертью нельзя таиться... Я любила своего родного дядю — любила какой-то дикой, безумной любовью. Это и было причиной моей гибели. Но он, папа, не виноват, он был честным и искренним. Он сам предупреждал меня, что у него эта ужасная болезнь. Я сознательно пошла на гибель, я испытывала необыкновенное счастье при мысли, что жертвую своей жизнью ради любви... Я уже тогда знала, что погибну, и с безотчетной страстью ринулась в пропасть. За эту сладостную боль, за бесконечно-острое ощущение самопожертвования и заплатила жизнью.

Папочка, дорогой! Прости меня, что все это я скрывала от тебя. Да только зачем надо было еще и тебе портить жизнь? Довольно одной... Я пробовала лечиться, но потом бросила,— чтобы вылечиться, нужно было или разойтись с ним, или вместе лечиться. Разойтись я не могла,— он занимал в моей жизни слишком большое место, я только им и жила. Ему же лечиться, как он сказал, поздно уже...

И вот мы подошли к обрыву... Возможно, если б не эта буря, мы жили б еще, как-то доживали свой век. Но буря эта ускорила наш конец. Дядя теперь скрывается, его разыскивают, чтобы расстрелять, чтобы рассчитаться еще с одним врагом. И разыщут, обязательно разыщут... Так уж лучше не ждать... лучше самим...

Когда к тебе придет это письмо, я уже буду покоиться где-нибудь на общественном кладбище. Могилы моей не

ищи... И не обижайся, милый папочка, на свою непутевую дочь... На него тоже не обижайся... он не виноват. Я умираю по своей воле... Это моя последняя радость — умереть вместе с ним. Прости нам обоим. Прощай...»

Батальон опять перебрасывали на новое место. Лесницкий выехал из города за три дня до общей отправки, чтобы воспользоваться удобным случаем и заехать на денек-другой к себе в Зеленичи. Он не был там с весны 1918 года, и сейчас какая-то неодолимая сила влекла его в родные места.

В то время железные дороги со своей напорно-торопливой, запутанной сутолокой и неразберихой как бы вобрали в себя в наиболее концентрированной форме нервное напряжение эпохи. Окунувшись в это пестрое скопище людей, мешков, винтовок, споров, нецензурной брани и крика, Лесницкий почувствовал хорошо знакомое приподнятое настроение, которое приятно щекотало нутро и вызывало щемяще-радостное желание мчаться вперед, в свежую лазурную даль. Лесницкому доставляла огромное удовольствие мысль о том, что в этой стремительной суете он замечает глубоко скрытый смысл и порядок. Это было похоже на талант шахматиста видеть смысл и строгий порядок там, где на первый взгляд всего только — хаотичный набор фигур.

Оживление на железной дороге как-то сразу заслонило от Лесницкого все, что он пережил в городе,— яркие воспоминания об этих, полных тревожного волнения днях быстро поблекли, стали туманными, невыразительными. Хорошо, во всех деталях, стояла в глазах лишь картина отъезда.

Его провожали до вокзала Андрей, Мокрина и Нина. Это напомнило Лесницкому тот далекий день, когда они в последний раз ехали из школы с Халимой и Славиным. В ту минуту с ними не было только Мокрины. Андрей, как и тогда, мягко улыбался своей загадочно-тонкой улыбкой; Мокрина нежно жалась к его плечу, а Нина... кто его знает, может, это только показалось Лесницкому, а может и на самом деле ее серые глаза весело и многозначительно поблескивали чем-то недосказанным и светлым.

Уже на посадочной платформе вокзала Лесницкий отвел в сторону Андрея и со смущенным видом спросил:

— Скажи мне, Андрей... сейчас ведь все равно... дело прошлое... что у тебя было с этой... Яновой? Помнишь, вы как-то встретились там... на станции... А потом ты предостерегал меня... помнишь?

Андрей рассмеялся.

— Помню, как же... Чепуха... Я потом думал об этом, хотел рассказать тебе, да просто забыл... Понимаешь, иногда бывают же такие случаи... Одним словом — мы с нею одно время встречались у доктора по венерическим болезням... Что

касается меня, так здесь произошло обычное недоразумение: кто-то ляпнул, не подумав, что мой отец в молодости болел сифилисом. Я перепугался и побежал к доктору... Наведывался к нему раза три и всегда встречал ее там... Вот и все...

Рассказ Андрея развеял последние тени глухого недоразумения, которое столько времени тяжело угнетало Лесницкого и имело непосредственное отношение к Раисе.

На свою станцию Лесницкий приехал в первом часу пополудни. Оттуда до села, как обычно, пришлось идти пешком. Но на этот раз он был даже доволен — хотелось пройтись по знакомой дороге, полюбоваться окружающими полями и перелесками, вспомнить далекие и беззаботные дни детства, тревожной юности. Шагая по большаку, он все время переносился мысленно в прошлое — и образы этого прошлого вставали перед ним в какой-то особой привлекательности, доставляли щемяще-сладостную радость.

...Вот здесь их ждала Мокрина, когда они с Андреем спешили к поезду... А вот здесь он лежал, забившись в густой ельник, и переживал беспокойные минуты своей душевной бури... Вот здесь Андрей, как сказочный пророк, говорил о приближении большого испепеляющего пожара. А вот и луг, через который они шли в самую пору сенокоса (солнце, море цветов, звон кос, тревожные крики чибисов, неумолчное пение жаворонков)... За лугом — седой, суровый Днепр...

Переправлял на другой берег тот самый хромой дед Савка. Он сгорбился еще больше и напоминал теперь почерневший от воды днепровский корч. Савка не узнал Лесницкого и смотрел на него с настороженно-холодным почтением. Лесницкий весело крикнул ему:

— Дедуня! Что ж это вы внука своего не признаете?

Старик вздрогнул, внимательно присмотрелся к Лесницкому, потом как-то растерянно ухватился за перила, наклонил голову, сморщился весь и зашипел. Со стороны и понять его было невозможно — плакал он или смеялся. Говорить же стал не раньше как минуты через три. Но и тогда нельзя было разобрать, спрашивает он о чем, проявляет свою радость или хочет что-то рассказать. Лесницкий наугад стал отвечать, откуда и как он приехал, долго ли собирается пробыть дома.

Когда уже выехали на середину Днепра (в воде холодной синевой отражалась ясность прозрачной осени), Лесницкий вдруг вспомнил мудреную сказку, которую когда-то дед рассказывал ему здесь, на пароме. Ему захотелось напомнить о ней и спросить у Савки, все ли так получилось в жизни, как говорилось в сказке. Дед вначале как бы ничего не понимал, потом, вспомнив про сказку, захохотал своим странным шипящим смехом — понял, наконец, о чем говорит Лесницкий. Опять весь сморщился, состроил хитрую мину и ответил:

— Кто ж его знает, милый... Замешать замешали... А вот что испечется, никто пока толком и не скажет... Так-то оно...

Не будем раньше времени гадать... Посмотрим, послушаем...

Помолчал немного и, смущенно улыбнувшись (странно ему, что речь идет о сказке), добавил:

— Говорят люди, еще и сейчас гоняются за Иваньковой дудкой, размахивают саблями, стреляют... А так кто знает, что будет...

Лесницкий сошел с парома и, поблагодарив старика, подался в сторону Зеленич. Но вскоре услышал за собою чьи-то шаги. Повернулся, видит — Савка ковыляет. Лесницкий остановился, спросил:

— Куда вы, дедуня, собрались?

Старик не спеша подошел к Лесницкому, подумал немного и серьезно ответил:

— Пойду послушаю, что молодежь говорит... Когда тебя-то увижу в следующий раз...

— А как же паром?

— А, кто-нибудь перевезет...

Дальше пошагали вместе. Когда вошли в село, Савка отстал — завернул по какому-то делу к себе в хату, и Лесницкий пошел домой один. Многие его не узнали — это было видно по удивленно-любопытствующим и серьезным лицам, повсюду мелькавшим в окнах. Лесницкий был рад, что его не узнают, так было легче и смелее пройти через все село.

Дома тоже не сразу узнали. Петра не было,— тот бы наверняка узнал. Отец же сначала с полным спокойствием ответил на приветствие и только потом искоса стал приглядываться к нежданному гостю. Лесницкий не выдержал и громко захохотал. Вот тут и началась суета желанной встречи. Будто специально приглашенные, тотчас появились и мать с Петром. Мать стала тихо плакать, а Петр несмело принялся рассматривать на поясе у брата наган. Отец спокойным и добродушным тоном перебирал бесконечную цепь суждений, по которым все выходило так, что сын поступил очень правильно, вернувшись домой. Когда же Лесницкий сказал, что приехал только на два дня, старик сразу умолк и в растерянности не знал, что дальше и говорить. Его заменила мать. Со слезами на глазах она стала роптать на лихую войну, которая не дает спокойно пожить «ребенку» в родной хате. Отец постоял немного в раздумье, затем с какой-то злой решимостью прервал старуху:

— Тихо ты! Завела уже музыку... Давно не слышали, перестань сейчас же...

И с рассудительной серьезностью спросил у сына:

— Значит, опять в армию?

— В армию.

Старик опять задумался...

— Да... Кто его знает... Может и армия нужна... Землицы вот немного прихватили у панов... Землицу, того и гляди,

оборонять доведется... Трудно поверить, чтоб они примирились... ой, трудно... Ну, а у вас что слыхать? Как там?..

Лесницкий стал объяснять отцу, где и что «слыхать», да только не пришлось вести долгую беседу. Не успел он и перекусить с дороги, как стал собираться народ (уже все село знало, что он приехал),— явился дядюшка Левон, приковылял безногий Аксент (председатель сельсовета), дед Савка пришел и многие другие. Лесницкий искал глазами еще одного — бывшего дезертира Рыгора, но его все не было. Наконец он спросил у Аксента и тот объяснил, что Рыгор уже два года как добровольцем ушел в Красную гвардию и что с того времени о нем село ничего не слыхало,— видно, погиб где-нибудь. Лесницкий мысленно представил Рыгора — его рыжее, резкое, с саркастической улыбкой лицо, его вечно торопливую, злую непоседливость. Почему-то стало обидно, что так и не узнал как следует этого человека.

У Лесницкого в хате развернулась настоящая сходка. Дошло до того, что Аксенту пришлось проявить весь свой организаторский талант, чтобы навести хоть какой-то порядок. Лесницкого засыпали градом вопросов, от него с настойчивым правом требовали ответов и объяснений и, надо сказать, ему верили. Он старался говорить и рассказывать не о том, что где-то слышал или вычитал в книгах, а выкладывал то, что сам пережил и выстрадал. Очевидно, поэтому и росла, крепла между ним и сельчанами душевная близость, очевидно, поэтому они и верили ему. Лесницкий хорошо чувствовал эту располагающую близость крестьян, и его сердце наполнялось радостью,— ушла и навсегда забылась прежняя затаенная враждебность; для всех он сейчас свой, дорогой и желанный гость.

Его задушевная, искренняя беседа с односельчанами продолжалась добрых часа три. После всего Лесницкий еще долго говорил с Аксентом. Тот рассказывал ему про разные деревенские дела и заботы.

— Они верят, крестьяне,— неважно, что иногда болтают лишнее... У них, братец, главное — земля. Земля, милый, для мужика — основа всему... Сейчас, конечно, трудновато... Но наступят и лучшие времена... А молоть языком, на это они мастера...

Во второй половине дня, ближе к вечеру, Лесницкий пошел прогуляться к Днепру. Хотелось побыть одному, собраться с мыслями, привести в какой-то порядок свежие впечатления.

Тихо шептались своей золотистой листвой могучие богатыри-дубы, хранили вокруг торжественный осенний покой. На широкой груди их ласково грелось холодное вечернее солнце, и листья пылали закатной радостью; казалось, это не мертвенный блеск уходящего лета, а яркая, пламенеющая

кровь жизни, дающая лесным красавцам силы для нового расцвета.

Лесницкий сел у самого края высокой днепровской кручи. Перед глазами расстилалась бескрайняя водная гладь, пышно переливавшаяся всеми цветами радуги. Там, где погружалось в волны Днепра уставшее вечернее солнце, широкой багровой полосой пламенел закат; только далеко-далеко на горизонте, справа и слева, на воду ложились синие тени. С каждой минутой синева становилась гуще, темнее...

На том, дальнем берегу, на чистом и безлюдном лугу табунком ходили кони; с громким криком перелетали с места на место кем-то потревоженные грачи. Там было много простора, заманчивых далей и умиротворяющих вечерних звуков.

Странное настроение охватило Лесницкого. На душе стало вдруг светло, радостно, просторно, как и в этом искристом осеннем вечере. Глаза легко улавливали каждое движение, каждый миг настороженной тишины. Лесницкому казалось, будто он смотрел в какую-то бесконечно-прозрачную глубину и видел, слышал в ней свою собственную жизнь — ее звучные всплески и тихие, едва заметные переливы. В эти короткие мгновения он полностью уходил в себя и с земной высоты обозревал пеструю вереницу ушедших в вечность лет. И увидел он, как простерлись вдали перепутанной сеткой глухие стежки-дорожки, как переплелись заклятыми петлями — и нету у них, кажется, ни конца, ни начала, и неизвестно, как распутать их мудреный узел, как разорвать их заколдованный круг. По этим стежкам-дорожкам он долго блуждал и в конце концов все ж вырвался на широкую ровную дорогу. На этой дороге его еще будет подстерегать много зловещих опасностей и невзгод, но идти по ней радостно и приятно, потому что шагаешь не один, а всем миром, огромным дружным коллективом.

Лесницкий сидел в глубокой задумчивости и перебирал в памяти дни своей жизни, проверял ее сложные, извилистые пути. Когда же на землю пал липкий вечерний мрак и Днепр угрюмо притаился в черной таинственной бездне, когда из дальнего села долетел сюда задорный девичий хохот,— в сердце Лесницкого откуда-то проникла щемящая тоска, пробудив вереницу туманно-прекрасных образов. Потом он почувствовал, как по всему телу стало медленно разливаться тепло розовой ласки и наполнять душу трепетными желаниями...

Эта странная тоска, эти сладостные надежды и желания не покидали Лесницкого весь вечер. Возможно, они и явились причиной того, что Лесницкий до глубокой ночи не ложился спать и все что-то писал при тусклом свете крохотной коптилки. Написав, внимательно прочел раз, другой, потом снова о чем-то думал, морщился, рвал исписанный листок, опять брался за перо. Только когда уже не осталось чистой бумаги,

он оторвал голову от стола, вложил письмо в конверт и стал его заклеивать.

Вот что он написал:

«Дорогая товарищ Нина!

Как-то очень нехорошо, что мне приходится писать Вам об этом, а не говорить. Виноват в этом исключительно сегодняшний день, который я провел в своем родном селе. Этот день принес мне немало радостей. Меня сельчане очень хорошо встретили и поверили в то, что я им рассказывал. Я беседовал с ними часа три. Их отношение ко мне особенно приятно потому, что (помните, я рассказывал Вам?) между мной и селом до этого стояла глухая стена враждебности. А теперь я уже свой здесь, совсем свой... Правда, все это не имеет непосредственного отношения к тому, о чем я пишу Вам.

Сегодня вечером я ходил на берег Днепра. У меня было какое-то странное настроение,— я ясно представил всю свою жизнь и рассматривал ее так, как будто она лежала у меня на ладони. Мысленно оглянулся назад и увидел там много путаного, мрачного. Впереди же расстилалась широкая ровная дорога, по которой идти легко и радостно. Я представил это себе и мне стало вдруг так хорошо и приятно, что, казалось, жизнь моя сейчас будет прекрасной.

Но потом какая-то неожиданная тоска напомнила, что мне чего-то не хватает. Толком не знаю, может быть, это от пребывания на реке, от чудесного тихого вечера... Я вспомнил, как Вы меня провожали на вокзал. В Ваших чистых светлых глазах («милых» тщательно зачеркнуто) светилось напоминание о чем-то недосказанном и нужном. Может, я ошибаюсь?

И вот еще что, Нина. Иногда очень нужен в жизни близкий товарищ, который был бы лучше всех остальных, совсем близкий, родной, любимый... Видно, по такому товарищу, другу и я затосковал... Вы, наверное, заметили, Нина, что постепенно у нас с Вами завязалась искренняя товарищеская близость? Эта близость и дает мне право говорить Вам обо всем этом. Конечно, можно было бы пока и промолчать и поговорить при встрече, но виноват в этом сегодняшний день... и еще Ваши серые глаза... там, на вокзале... Поэтому я и пишу Вам отсюда и предлагаю договориться о том, чтобы нашей дружбе и близости придать более конкретные и серьезные формы... Нас впереди ждет большая борьба и работа. Может случиться, что где-то и поскользнешься... На самом деле, Нина, нам куда лучше будет, если мы пойдем вперед вместе, рядом и будем друг друга поддерживать... Как Вы считаете?

Напишите мне на адрес батальона.

Ваш В. Лесницкий».

Заклеив конверт, Лесницкий какое-то время еще сидел в глубоком раздумье, потом встал и тихо прошептал:

— Так будет легче и мне и ей...

ВДОХНОВЕННЫЙ ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

Издание романа Михася Зарецкого «Стежки-дорожки» на русском языке является весьма знаменательным фактом, хотя мы уже и привыкли к тому, что произведения белорусских мастеров слова давно выходят в свет массовыми тиражами на многих языках народов Советского Союза и зарубежных стран. Этот, казалось бы, ординарный случай на самом деле вовсе необычный, потому что литературная судьба произведения, как, впрочем, и самого автора, очень сложная.

Чтобы это предстало перед читателем более живо и наглядно, скажем несколько слов о писателе и его романе.

Михась Зарецкий (Михаил Ефимович Косенков) родился 20 ноября 1901 г. в с. Высокий Городец Сенненского уезда Могилевской губ. (ныне Сенненский район Витебской обл.). Сын сельского дьяка, будущий писатель готовился к духовной карьере, но не по призванию сердца, а потому что на большее он не мог рассчитывать: родители были многодетные и имели ничтожный заработок. Так Михаил Ефимович стал учеником Оршанского духовного училища, а затем Могилевской духовной семинарии. Однако жизнь сложилась совсем по-иному, и ему пришлось носить не крест и поповскую рясу, а мундир политработника Красной Армии, проповедовать не слово божье, а высокие принципы и идеи Октябрьской революции, быть одним из зачинателей белорусской советской литературы.

Отроческие и юношеские годы его прошли в Могилеве, который волею исторических обстоятельств стал на какое-то время важным центром всероссийского значения: здесь в годы империалистической войны находилась Ставка верховного командования, и многие события, происходившие в этом небольшом губернском городе, имели далеко не местное значение.

Молодым людям в те бурные дни было не до учебы, тем более в затхлой духовной бурсе. Кругом все клокотало, звало и манило величием подвигов и необыкновенной романтикой будущего. Оставил семинарию и шестнадцатилетний М. Е. Косенков, решив искать самостоятельный заработок и свое место в жизни. Работал писарем в какой-то полувоенной части, затем с нею уехал в Орловскую губернию и пробыл там около полугода. Когда часть расформировалась, вернулся домой и некоторое время был церковным сторожем, так как в условиях немецкой оккупации только такая неприметная должность давала возможность поддерживать широкие связи с населением.

После изгнания из Белоруссии кайзеровских полчищ и восстановления Советской власти начинается активная трудовая и общественная деятельность М. Зарецкого. В феврале 1919 г. его назначают учителем. Правда, в школе не пришлось долго работать,— вскоре его избирают заведующим волостным отделом народного образования. Через год Михаил Ефимович уже в Могилеве — постоянный член правления союза работников просвещения, участ-

ник 2-го Всероссийского съезда этого союза, кандидат в члены его ЦК.

В конце 1920 г. М. Зарецкий призывается в Красную Армию. Шестилетняя военная служба явилась для него прекрасной школой социально-политического образования. Она обогатила его неисчерпаемым запасом жизненных впечатлений, помогла понять и осмыслить идеи и задачи революции, навсегда связать свою жизнь и судьбу с Коммунистической партией и, наконец, стать признанным художником слова.

Первый опыт поэтического творчества М. Зарецкого относится к концу 1921 г. С того же времени молодой красноармейский политработник становится постоянным сотрудником газет и журналов, членом литературного объединения «Молодняк» (с 1924 г.). Из печати один за другим выходят сборники его рассказов, повести, романы, пьесы, очерки, которыми зачитывается молодежь. Имя писателя становится широко известным и популярным не только в Белоруссии, но и далеко за ее пределами; творчество многих наших прозаиков, начавших писать в 20-е годы, развивалось под его сильным влиянием.

Все это объясняется многими причинами, но прежде всего актуальностью и большой исторической значимостью произведений М. Зарецкого, новаторством их формы. Герой и современность, точнее, человек и революция — вот главная тема, глубоко волновавшая писателя и нашедшая художественное воплощение в ярких поэтических образах. Он показывает всеобщую радость раскрепощенных тружеников, прославляет мужество борцов за великое народное дело. Его герои — это люди, поднятые революцией к активной и сознательной общественной жизни («Тишка-бобыль», «Как Аннушка комсомолкой стала»). Они не страшатся смерти и смело становятся в ряды отважных народных мстителей («Батька», «Липа»), ведут непримиримую борьбу против врагов революции («42 документа»).

М. Зарецкий чутко улавливал новые веяния и тотчас отзывался на них как художник. Он старался отобразить не только и не столько сами события, сколько раскрыть их глубокий исторический смысл, показать, как революция проходит через сознание человека, возвышая и облагораживая его, превращая рядового рабочего, крестьянина, интеллигента в активного гражданина свободной отчизны.

Весьма значительное место в творческой биографии М. Зарецкого занимает его роман «Стежки-дорожки» (1927 г.). Эта книга явилась большим событием в литературной жизни республики того времени и вызвала восторженные отзывы критики.

«Стежки-дорожки» — первое художественное произведение о революции в Белоруссии. Однако этим вовсе не исчерпывается его значение. Это роман о судьбе народа на крутом историческом перевале, о сложных и подчас мучительных поисках интеллигенцией собственного пути в бурном водовороте жизни.

Автор дает широкую панораму событий, происходивших после крушения самодержавия. Перед глазами читателя, словно на экране, проходят незабываемые картины истории: митинги и демонстрации трудящихся, начало и бесславный конец корниловского путча, деятельность большевистской партии, победа Октябрьской революции, организация красногвардейских отрядов, всенародная борьба против белопольских легионов Довбар-Мусницкого и не-

мецких захватчиков, окончательная победа Советской власти в Белоруссии.

Таков общий фон, на котором автор романа показывает исторические судьбы народа, рисует художественный образ нового литературного героя, борца за победу революции и строителя новой жизни. Это важное эстетическое открытие писателя. Такого героя не знала наша предшествующая литература.

В центре внимания художника жизнь и «хождения по мукам» молодого человека. Крестьянский сын семинарист Василь Лесницкий, как и его однокашники Славин и Халима, плохо разбирается в происходящих событиях. Он часто посещает квартиру социалиста-народника Матрунина и увлекается его беседами, но позже, под влиянием рабочего-коммуниста Андрея и, главным образом, суровых уроков жизни, преодолевает сомнения и колебания. И если первое время Андрей пугал Лесницкого своей прямолинейностью и решительностью, то позже Лесницкий становится его единомышленником, выполняет ответственные поручения большевистской партии по борьбе с немецкими захватчиками. Колеблющийся семинарист, пройдя через горнило революции, обретает поистине богатырскую силу в единении с народом, в служении великой идее строительства нового общества.

Писатель не только не упрощает социально-политические и моральные противоречия описываемого периода, а, наоборот, показывает всю их сложность и остроту. Своими особыми путями приходят в революцию Славин, Нина, Мокрина; бывший же приятель Лесницкого — Халима, склонный к анархическому беспорядку, стал помощником главаря антисоветской банды. Не пошел с революцией и бывший социалист Матрунин.

Знакомясь сейчас с романом «Стежки-дорожки», нам кое-что может показаться несовершенным, надуманным, искусственно-книжным. И это вполне понятно. Ведь путь первопроходцев всегда сложен и труден. «Стежки-дорожки» М. Зарецкого, подобно «Железному потоку», «Разгрому», «Чапаеву» и другим замечательным произведениям советской литературы, важны и дороги для нас как первый опыт художественного освоения революции. В этом их непреходящая историческая ценность. И каких бы успехов ни достигла наша проза, мы всегда будем оглядываться назад, в двадцатые годы, чтобы посмотреть, с чего она начала свой разбег. А разбег этот был поистине прекрасным.

Писатель много путешествовал по республике. Принимал участие в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. В итоге этих поездок им были написаны художественные очерки: «Путешествие на новую землю», «Письма от знакомого», «Весна 1930 года», а также роман «Вязьмо» (1932), который исследователи творчества М. Зарецкого не без оснований сравнивают с «Поднятой целиной» М. Шолохова.

Само собой разумеется, всякие сравнения и параллели страдают неточностью. Однако бесспорно одно: М. Зарецкий обогатил белорусскую литературу рядом больших, значительных произведений, выдержавших суровое испытание временем и по сей день не потерявших своей идейно-художественной ценности.

Юл. Пширков,
доктор филологических наук

Зарецкий М.

Стежки-дорожки. Роман. Мн., «Беларусь», 1971. 320 с. 100 000 экз. 76 к.

Роман «Стежки-дорожки» — одно из первых крупных произведений молодой белорусской прозы. Посвященный революции, росту самосознания крестьянства, становлению новых отношений в деревне, он рассказывает о времени трудном и суровом, когда в жестокой борьбе рождался мир социальной справедливости.

Роман остро драматичен по сюжету, насыщен философскими раздумьями, яркими психологическими характеристиками.

7-3-3 / 177-71 Бел2 З 34

Михась Зарецкий
(Михаил Ефимович Косенков)
Стежки-дорожки

Издательство «Беларусь» Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по печати. Минск, Ленинский проспект, 79.

Редактор Ал. Шлег. Художник Л. Чурко. Художественный редактор Л. Прагин. Технический редактор З. Сень. Корректор Р. Метелица.

Сдано в набор 22/III 1971. Подп. к печати 13/VII 1971. Тираж 100 000 экз. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 21,62. Зак. 681. Цена 76 коп.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по печати. Минск, Красная, 23.



76 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕЛАРУСЬ»
МИНСК 1971

Михась Зарецкий **Стежки-дорожки**